

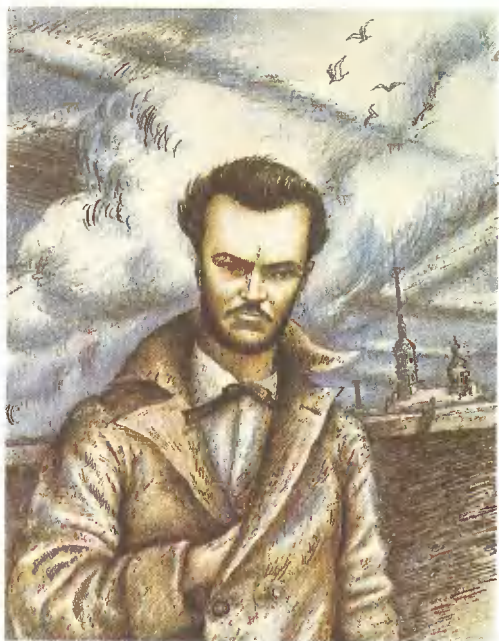


МАРГАРИТА ДАЛЫЦЕВА

СЧАСТЛИВЫЙ  
КНИГ

462-108





МАГДАЛИНА ДАЛЬЦЕВА

**СЧАСТЛИВЫЙ  
КИТ**

Повесть  
о Сергее Степняке-Кравчинском

*Издание второе*

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
1989

В книги М. Дальцевой «Чудаки», «Сестра Конкордии», «Хорошие знакомые», вышедшие в издательстве «Советский писатель», вошли повести и рассказы, посвященные жизни наших современников. Герои этих произведений люди самых разнообразных профессий: сормовские рабочие, актеры, туркменские нефтяники, библиотекари, журналисты, спортсмены. Все они по-своему решают житейские конфликты и нравственные проблемы.

К жанру исторической повести писательница обратилась в последний период жизни. В серии «Пламенные революционеры» издана повесть о Джузенне Гарибальди «Опоясан мечом», на-

писанная ею совместно с П. Атаровым.

Повесть «Счастливейший Кит» охватывает последние годы жизни известного русского революционера и писателя С. М. Степняка-Кравчинского. Находясь в лондонской эмиграции, лишенный возможности принимать непосредственное участие в революционной борьбе в России, он неустанно воздействовал на общественное мнение Европы и Америки, вскрывая истинную суть деятельности народовольцев против тиранического режима царской России. Но и за рубежом он жил в постоянной опасности, находясь под неусыпным наблюдением агентов русской охранки.

Выходит вторым изданием.

Д  $\frac{0503020000-247}{079(02)-89}$  КБ-1-3-89

## ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ...

Россия была далеко. Россия была давно, но, бог весть почему, этот квадратный низкий лондонский зал показался ему старосветской московской, фамусовской что ли, гостиной. Верно, напомнили серо-голубые стены с белыми лепными медальонами и бронзовые канделябры, непривычные в этом городе газовых рожков, а может, и вислоусый поляк в зеленой венгерке, задремавший в дальнем углу. Он и сам уселся в другом конце зала, за рядами расставленных полукругом кресел, чтобы не сразу заметили друзья и знакомые, чтобы подольше сохранить в себе горькую усладу воспоминаний. И ничто не мешало. Даже стук молотков, которыми наспех приколачивали доски самодельной эстрады.

Весь день он метался по городу, с кем-то совещался, кого-то уговаривал написать статью, кому-то сам обещал писать, спорил, смеялся, забежал в собор святого Павла с кем-то почти незнакомым и смотрел, как тот наскоро молится, потом снова спешил в какую-то контору, где-то пытался получить аванс, опоздал, зашел в трактир и обедал среди кэбменов и кучеров дилижансов, вдыхая удушливую вонь бараньей похлебки. Выпил полпинты пива, приятно отяжелел и, поняв, что не успеет зайти домой до начала концерта, пришел в этот странный зал раньше других.

Немного кружилась голова. Предстоящий концерт вызывал любопытство и некоторое беспокойство. Ученики бывшей оперной певицы Линевой будут исполнять народные русские песни перед англичанами. Поди знай, что у них там получится. Хор собирали с бору по сосенке — девицы из эмигрантских семейств, молодые поляки да еще престарелые балалаечники из давным-давно распавшегося крепостного оркестра беспутного князя Голицына. Велико ли дело — концерт для камерной космополитской аудитории, а все что-то тревожит, не хочется, чтобы свои ударили лицом в грязь. А тут еще над огромными перьями шляпок нарядных дам, задержавшихся в дверях, вспыхнула огненная шевелюра музыкального критика Бернарда Шоу. Всем известно, что он человек сумасбродный, эксцентрический, готовый разгромить даже любую знаменитость. Рассказывали, что устроители концертов уже стали ему отказывать в бесплатных билетах, какие обычно рассылают рецензентам. Линева, конечно, об этом не подозревает. Да Шоу и все равно не пропустил бы такой необычный концерт. Говорят, он даже мимо шарманщиков не проходит, однажды в чужом дворе прослушал до конца бродячего скрипача, а когда тот пошел по кругу со шляпой, он и не подумал раскрыть кошелек, а только вежливо сообщил: «Пресса».

Во всех его чудачествах есть обаяние озорства и независимости, и хотя знакомство не слишком давнее, их сближает взаимная симпатия. Вот и сейчас эта долговязая, костлявая фигура направляется прямо на него. Болтовня неизбежна.

— Очень рад вас видеть, мистер Степняк. Не подозревал, что вы тоже меломан.

— А я так был уверен, что мы с вами здесь встретимся.

— Нет, я оказался здесь случайно. Знакомый студент затащил. Удивительно нудное существо. Всю дорогу рас-

сказывал, как он решился бросить медицину, чтобы стать писателем. Считает, что теперь принесет больше пользы человечеству. И требовал одобрения, просил совета. Ну я ему и сказал...

— Что именно?

— Что он уже принес огромную пользу человечеству бросив медицину. К чему же лишние усилия? Это расточительство.

Степняк рассмеялся.

Шоу посмотрел на него прищурившись:

— Вы смеетесь, как младенец, а пишете, как мастер. Я недавно прочитал вашу «Подпольную Россию» в английском издании и понял одну очень важную для себя вещь. Секрет героизма в том, чтобы не позволять страху смерти руководить нашей жизнью.

Только-то? Не очень оригинален этот признанный острослов. По-русски это звучит гораздо короче: «Однажды живем!» Жаль, что невозможно перевести.

Шоу продолжал:

— Ваши товарищи — прекрасные, чистые, возвышенные натуры. Но мне не совсем ясно, чего они хотят.

— Блага народа. Власти народа. Революции...

— Революции еще никогда не облегчали бремени тирании. Они только перекладывали его с одних плеч на другие.

И, не дожидаясь ответа, поспешно удалился, очень довольный собой.

Интересно, он в самом деле так думает или сболтнул для красного словца? Затеять сейчас спор не хотелось. Голова все еще кружилась. От усталости, верно, не от пива же? Зал постепенно наполнялся. Свечи горели тускло, но он различил в толпе угловатую, стремительную Элеонору Маркс-Эвелинг и не поспевавшую за ней тщедушную фигурку мужа, доктора Эвелинга. Мелькнула юная Лилиан Буль в клетчатом платье с белым ворот-



ничком — не то пансионерка, не то Золушка, не успевшая принарядиться для бала. Добрые английские друзья! Но как не хотелось сейчас даже словом перемолвиться на чужом языке! Так бы и сидеть, закрыв глаза, предаваясь ощущению уюта, нахлынувшего от этих стен. Представить себя где-нибудь у отца Кропоткина на Староконюшенинском или в аксаковском гнезде. В домах, где он никогда не бывал и не мечтал бывать, но которые так ясно чудились в эти минуты. Слушать, как глухо пробили за стеной семь раз куранты, как мерно ударяют капли дождя о наличники. Во всем мире одинаково ударяют капли дождя. В сербской деревушке, в Милане, на Сивцевом Вражке...

— Сергей! — окликнули его. — Что ты забился в дальний угол? Ты же близорукий...

Он открыл глаза. Феликс Волховский, как всегда озабоченный, сутуловатый, буднично-подталкивающий к нему кудрявого молодого человека, с бравой офицерской выправкой, в мутно-зеленом жилете с красными мушками.

— Знакомьтесь. Владимир Семенович Гуденко, о котором нам столько писали из Нью-Йорка. А это Сергей Михайлович Степняк... — он зашушукался. Видно, хотел назвать настоящую фамилию.

Странно как-то показалось. Седоволосый, изможденный Волховский, будто навсегда сохранивший следы пребывания в Петропавловском узилище, держался свободно, с непринужденным изяществом, а его щеголеватый, с иголочки, спутник мрачно тупился, и в самой выправке его было что-то напряженное, будто его свинцом палили, как ваньку-встаньку. Застенчив, наверно. А заговорил неестественно, приятным баском:

— Я слышал, устроительница — бывшая оперная певица?

— Женя Линева пела в Большом театре, — сказал Степняк. — И с большим успехом. Ей предсказывали блестящую артистическую карьеру. К тому же ее знали и

московские этнографы как собирательницу русских народных песен. Но муж должен был покинуть Россию, и она бросила театр.

— Русские женщины... — вздохнул Волховский.

— Мария Осиповна умерла в Италии? — спросил Гуденко.

Стенняк искоса поглядел на Феликса. Жена Волховского Мария после неудачной попытки устроить мужу побег из тюрьмы тяжело заболела и умерла в Италии, почти что на руках у сопровождавшего ее Стенняка. Осведомленность, которую поторопился проявить малознакомый человек, показалась бестактной. Есть незаживающие раны. Гуденке не ответили, и все трое надолго замолчали.

Тем временем на самодельный дощатый помост выбежали девушки в косоклинных сарафанах, в расшитых бусами кокошниках. Пышные белые рукава при каждом движении взлетали, как крылья. Не зря называют русских красавиц лебедушками. За ними выстроились парни в кумачовых косоворотках, седенькие балалаечники тащили стулья.

Последние томительные минуты ожидания, и хор грянул «По улице мостовой». Сильно, широко зазвучали молодые голоса под низкими сводами. Хотелось подпевать. Стенняк шептал про себя: «Шла девица за водой, за холодной ключевой...» Потихоньку притопывал ногой. Подумалось, что просторная, торжественная эта мелодия будто создана для национального русского гимна, и удивительно, что Глинке, великому Глинке, это в голову не пришло. Тут и ширь русских стеней, и неторопливое достоинство русского простолюдина, и величаяя поступь той, что «коня на скаку остановит», и озорные отголоски «Камаринской».

А чистый протяжный альт затянул совсем другое — «Как задумал сын жениться». Щемящую песню о том, как

«отец сыну не поверил, что на свете есть любовь». Вся российская покорность, бесправность, от татарских ханов до пьяного урядника, трепетала и ныла в этих звуках. Смогут ли понять ее безысходность англичане, собравшиеся тут? Ведь сын-то «взял он шашку, взял он острую и зарезал сам себя». Это же не Вертер, не мадам Бовари, по-ихнему — совершенный дикарь, да и по сути — ледащий парнишка из какой-нибудь «Неурожайки тож».

Он поглядел вокруг. Публика как в англиканской церкви. Сидят с приличным случаю скорбно-достойным видом. Даже Шоу слушает с непроницаемым лицом, закинув голову, распушив веером рыжую бороду. А и поняли бы они, что толку? Глеб Иванович Успенский, переведенный на английский, глухо прошел. Скучным показался.

Аплодисменты раздались, однако, довольно дружные. Это, конечно, еще не значит, что поняли и поправилось. Публика собралась либеральная, готовая поддержать любое филантропическое начинание. Сбор от концерта предназначался в Фонд вольной русской прессы. Нельзя не оценить такую поддержку, а все вспоминается, как недавно высказался Бернард Шоу: «Филантропы — это паразиты, живущие нищетой».

Но все посторонние соображения, воспоминания, рассуждения мгновенно выветрились, забылись, когда глубокий, низкий женский голос не то пропел, не то сказал: «Матушка, что во поле пыльно?» Он никогда не слышал раньше эту отчаянно грустную свадебную песню. Да и сейчас не вслушивался в ее слова, а только в звуки густого, виолончельного, и тревожного, и покорного голоса. И с каждой минутой, как это всегда с ним бывало, когда искусство казалось совершенным, хотя бы и говорило о самом трагическом, в нем парастала непобедимая, буйная радость жизни. Неудержимое желание спешить, мчаться, действовать.

Видно, не одного его взволновала эта неведомая певица. Зал грохотал от аплодисментов. Задвигались кресла, многие вскакивали с мест и хлопали стоя.

А когда старенький балалаечник в шелковой блестящей рубахе, выпущенной из-под жилетки, широким взмахом руки отбросил свой инструмент, вышел на авансцену и не по годам сильным голосом затянул «Вдоль по Питерской...», Стенняк почувствовал, что больше невозможно сидеть тут безучастным, недвижимым слушателем. Надо что-то делать, делать, не то задохнешься от избытка сил, закричишь от восторга...

Он встал и начал тихонько пробираться к выходу. Остановившись в дверях, оглянулся, увидел, как Гуденко потянулся было за ним, но Феликс удержал его, положив руку на колено.

По узкой безлюдной улице он быстро шагал, не разбирая дороги. Дождь недавно перестал, и после душного зала промозглая лондонская сырость показалась восхитительной. И черные шары дыма из множества каминных труб, низко клубившиеся над крышами, тоже были приятными, пушистыми, хоть рукой их гладь. Даже почернелые кирпичные стены домов, сейчас будто размытые легким туманом, виделись не такими уж угрюмыми, как днем. «По Тверской-Ямской, Тверской-Ямской...» — напевал он, немного задыхаясь на ходу, а дальше-то слова забылись. Понять невозможно, почему он мог шпарить наизусть «Кому на Руси жить хорошо», главами пересказывать Библию, страницами цитировать из «Капитала» и не помнил слов ни одной песни. Пел, повторяя слова за другими. Митяй Рогачев — вот кто знал все слова...

...Митяй Рогачев — тулупчик нараспашку, шапка на затылке, русые космы падают на лоб, косой ворот рубахи расстегнут, болтается на груди. Огромный, медвежева-

тый — вся статья былинного богатыря. А лицо российского мужичка-страстотерпца. Скуластое, в реденькой бородачке. В глазах непреходящая душевная боль.

Чтобы идти в народ, сеять в деревне разумное, доброе, лучшего товарища не найти. Пусть не речист он, не расторопен, ни в агитаторы, ни в организаторы не вышел. Скорее, он проповедник. Была в его речах неожиданная нотка задушевной поучительности. Не поповской, не учительской, а как бы раздумье вслух человека, побывавшего в житейских передрягах.

Сто лет назад, а вернее, лет восемнадцать тому, еще в питерском кружке чайковцев, было принято решение ехать с Рогачевым в тверскую деревню Алексейково. Зима в том году была ранняя. Еще в конце сентября, когда на толкучке приценивались к подержанным тулунчикам, продавец сказал: «Кажись, Покров-то встретим на снегу». Сказал, как строчку из песни пропел. Запомнилось. И угадал. В середине ноября, когда отправились к знакомому крестьянину Петру Соболеву, с месяц как установился санный путь.

Петру Соболеву надлежало обучить их нехитрой науке бревна пилить. Потом предполагали пойти пильщиками по окрестным деревням. Зима — сезон пропаганды. Зимой у мужиков больше досуга, новое слово скорее дойдет до ума.

Есть ли что-нибудь грустнее хватающей за душу грусти ноябрьской русской деревни? За окном искривившийся черный ствол голой ветлы, обвисшее кружево тонких ветвей березы. Мутное зеркало застывшей лужи посреди улицы. Гуси, тяжело переваливаясь, боязливо ступают на лед. Ватное серое небо. Ватные валики оседающего снега в клинописи галочьих следов на перильцах крыльца. Тишина. Редко-редко проскрипят санки с хворостом по сухому снегу да вдалеке взвизгнет колодец... Увидеть бы, услышать еще раз в жизни...

Тогда, кажется, ничего этого не замечали. Днем до жгучего пота нилили, тесали, помогали Петру ставить пятистенку для старшего сына. Запах сосновых опилок острый, колючий. Запах только что выпавшего снега, запах только что вымытых полов, кислых щей в обед...

Работа, казалось, спорилась не потому, что так ловки были, просто счастливое ожидание примиряло и с неудачами, и с усталостью.

По вечерам при свете пятилинейки в чистой горнице с иван-чаем на подсленоватых окошках разговоры по душам.

Рогачев не умел уставать и к ночи становился возбужденным, словоохотливым, откровенным. До бесстыдства, как ему самому казалось. Рассказывал, что после первой встречи с питерскими рабочими в кружке Низовкина будто кожей почувствовал, что такое произвол, бесправие, власть хозяина. Вышел на улицу опалелый, кипящий жаждой справедливости, жаждой незамедлительного героического поступка. И лучше ничего не нашел, как дать по уху первому встречному в форменной чиновничьей фуражке. Тот ни слова не сказал, молча подобрал ее из сугроба и пошел своей дорогой. А ведь все могло быть. Мог это быть какой-нибудь Акакий Акакиевич или Макар Деушкин. Хуже нет горячиться. Стыдно до сих пор.

О своей любви к народу говорил жарко и застенчиво, как говорят о любви к недоступной женщине. О жене — растерянно, разводя руками, не понимая, как это случилось. Женился фиктивным браком на орловской нигилисточке, чтобы избавить ее от родительского гнета. Так, по его мнению, надлежало поступать каждому порядочному человеку. Женился, не заметив, какие у нее волосы, какие глаза, а потом влюбился без памяти, по-прежнему не замечая, какие у нее волосы, какие глаза, охваченный безумной жалостью и умилением перед этим слабым, без-

защитным существом со свирепыми якобинскими речами. Вроде котенка, который ощетинивается, горбится, шипит, увидев огромную собаку. И вдруг, поддавшись детской застенчивости, круто менял разговор. Вспоминал артиллерийское училище, где они не так уж давно вместе учились. В те годы юнкера считали Кравчинского гордецом, честолюбцем, этаким Наполеончиком или, на худой конец, генералом Скобелевым. Был он тогда молчалив, не расставался с книжками, даже переходя из комнаты в комнату, читал на ходу. Рогачев в те поры думал о нем так же, как и другие, — побаивался и стеснялся. И теперь, в этой деревенской тиши, в безлюдье, винился в своих прежних мыслях. И вдруг на полуслове обрывал. Ладонь под щеку — и засыпал, как младенец.

А за окном такой покой, такая тишь, снег сверкает. Чистый, не городской снег. Черные ветки ольхи не шелхнутся, вычерчивают свой узор на сером небе.

А сам он в этом благодатном покое сельской ночи спал тревожно, то просыпаясь, то проваливаясь в кошмары, полубред. Снился высокий питерский дом. Дворник в грязном фартуке тащил женщину из окна подвала, и волосы ее цеплялись за медную бляху на его груди. Кричал грудной ребенок на каменных ступенях дома на набережной, и женщина бежала к парапету, зажав руками уши...

Он просыпался. Было такое или в газете прочитал? Верно, было. Все было. И нары в вонючих рабочих казармах на Выборгской, и студент, избитый жандармскими дубинками, в чугунных кровоподтеках, в крови, совсем еще мальчик, тоже был. Они с Кропоткиным втащили его тогда в чужую адвокатскую квартиру, обмывали, бинтовали, а он стонал: «Няня... няня...» Не мама, а няня. И Кропоткин сказал: «Я бы тоже так кричал в предсмертную минуту. Няня! Она всех ближе была. Она и брат». Все было. И Каракозова пытали в крепости. Неделю не давали спать. К виселице под руки вели. Шатало. И девочку,

четырнадцатилетнюю гимназистку, схватили в Одессе, сослали в Сибирь за то, что пришла на демонстрацию.

Но не студенты, не гимназистки, не тупое многострадальное мещанство городское будет менять, перепахивать эту страшную жизнь. Это сделают те, кто спит сейчас тут, в Алексейкове, в Переслегине, в Костромках, в Андриюшине. Те, кто всю жизнь спят в вековой тьме и невежестве, очнутся и поймут, что народ — сила.

Терпение, спокойствие... Изю дня в день разъяснять, уговаривать, растолковывать вот здесь, на Тверщине, на Смоленщине, под Одессой, на Волге. Ведь русский крестьянин веками инстинктом своим ощущал, что тот, кто обрабатывает землю, тот и есть ее владелец. Только бы заставить понять, что за это право надо бороться. И, может быть, пройдут не десятилетия, а только года...

Так думалось тогда, в ту ночь, в те дни.

Терпение, уговаривал он себя ночью. А наутро, позабыв о благоразумной медлительности, двинулись с Митяем по окрестным деревням. И все заторопилось по-городскому, замелькало, как в бурю. Вначале казалось, что в Андриюшине, в Переслегине никто и не догадывается, что пильщики эти в старых дубленых полушубках — бывшие офицеры, белая кость, что не ради копейки переходят они со двора во двор. Не до того было. Впервые в жизни немолодые, иной раз полвека прожившие бородачи, отцы семейств узнавали, что где-то есть другая жизнь. Что, как в писании сказано, последние будут первыми, но случиться это должно не на том, а на этом свете.

Пусть все это и многое другое так чудно перемешивалось в головах, что выводы возникали неожиданные, воображение разыгрывалось безудержно, но мысль оживала, билась.

Старики рассудили, что царь отберет землю у помещиков, отдаст крестьянам, а помещиков, чтобы не так обидно было, возьмет на жалованье. Неожиданные были



выводы. В Переслегине в одной избе, прослушав с большим вниманием беседу о закабалении крестьян, пыльщиков от души благодарили и чистосердечно каялись:

— Как в воду глядели. Все верно. Сами во всем виноваты. Водку жрем и бога забыли.

Молодые схватывали новое лучше. Ими тоже владело нетерпение. Они стали смелее держаться со старостами и урядниками, с помещиками, грозились, что скоро кончится их черед мужиками верховодить. И слава пыльщиков докатилась до станового.

Когда их повели под конвоем в волость, в Переслегине был храмовой праздник. Гульба шла с утра. Мужики кричали:

— Эй, кто такие? Арестанты? Все едино! Валяй веди в избу! На всех хватит!..

Сотский от приглашения не отказался, но арестантов запер в пустой избе.

Рогачев был молчалив и спокоен. Тут весь его характер сказался, пассивный, но упрямый. Его готовность пострадать за убеждения, даже некоторое удовлетворение, что наступило это время. Всегда готовился к самому худшему. А сам он не мог разделить такой покорности судьбе. Метался по избе из угла в угол и только повторял:

— Так скоро! Так скоро!

Рушились наивные юношеские мечты о планомерной, идиллической просветительской работе. Можно ли было предположить, что не пройдет и двух недель, как они окажутся под арестом, что теперь навсегда к ним будет приклеен ярлык «опасных пропагаторов», как пишут в малограмотных жандармских донесениях. Впереди тюрьма, может быть, ссылка. А сделано-то с гулькин нос. Вернее сказать, ничего не сделано.

Товарищи в питерском кружке чайковцев считали, что он родился под счастливой звездой — неуязвим для шпигов и соглядатаев. Посмеивался — поменьше преду-

смотрительности, побольше самоуважения. Опасность надо отбрасывать, как камешек на дороге, носком сапога. А вышло-то — молодец против овец, а против молодца и сам овца... Вся эта похвальба хороша для Питера с его проходными дворами и переправами через Неву. В деревне все как на ладони, и для здешнего урядника оба они белые вороны. Шила в мешке не утаишь. Прежнее мальчишеское резонерство, а по сути, бахвальство, пришла пора забыть. Надо искать выход.

И выход нашелся. В этом не было его заслуги. Перелегинский мальчик-подросток — обидно, что имя его забылось, — мальчик, который вместе со стариками слушал беседы пильщиков, прокрался в избу поздно вечером и сказал, что вытащил из двери засов.

Удивительный мальчик был. Даже не мальчик, слишком бедное, будничное слово. Отрок. Стриженный в скобку, русоволосый, голубоокий отрок, сошедший с лубочной картинки к Четьям-Минеям. Он не сказал ни одного лишнего слова, только глаза, казалось, светились благодарностью и сочувствием! Как свойственна русскому человеку застенчивость! Рогачев застенчив, как этот мальчик. Исповедь прорывается у него, как созревший нарыв. Когда уже деваться некуда. Он боялся слов. «Мысль изреченная есть ложь». Не та ложь, что обман, а ложь — несовпадение слов с чувством.

А самому было радостно, что ошибся. Все-таки что-то сделано. Хоть одно зерно упало на благодатную почву.

Ночью они вышли из избы. Ни одна душа их не увидела. Ни один пес не залаял, не выскочил из подворотни. Конвоиры — сотский и десятский, как видно, где-то спали счастливым пьяным сном.

По деревне бежали рысью, а когда вышли на лесную дорогу, ведущую к полустанку, он остановился, обнял Рогачева:

— Теперь — все. Теперь — вне закона.

Рогачев облапил его могучими ручищами и стеснительно, как-то невпопад поцеловал не то в скулу, не то в шапку и повлек вперед мимо черных елей, проваливаясь в снегу по ненаезженной дороге. Долго шли молча, обнявшись, спотыкаясь. Задыхались от счастья, от впервые оцененного чувства свободы. И вдруг, широко распахнув руки, Рогачев глубоко вздохнул и во весь голос зашел: — Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской...

Блаженная минута. В ту глухую ночь они сами себя торжественно посвятили в клан пожизненных борцов за свободу, скрепили присягу печатью — братским поцелуем.

Как разделила их жизнь! Не угадать судьбы, не угадать и смертного часа. В ту ночь счастливого избавления столько веры в будущее, столько сил бурлило. Немыслимо было представить, что он ударит кинжалом жандармского генерала, не испытывая ни негодования, ни жалости, движимый лишь чувством справедливости и долга, а потом будет вынужден покинуть родину. А Рогачев в тридцать три года умрет на Карийской каторге. Умрет обычной, а потому самой обидной, бесславной смертью. От простуды. В мороз возьмется босой мыть пол в бараке и через три дня скончается.

Кто его вспомнит? Что знают о нем люди?

Надо писать о Рогачеве. Расширять «Подпольную Россию». Китайским свитком в полверсты должен быть мартиролог этих героев.

Герои! Как-то убого и грубо понимает публика это слово, почитая за героев лишь тех, кто совершит подвиг, прогремевший в газетах, или окажется жертвой произвола, чудовищностью своей выходящей вон из ряда обычного. А те, кто в глубоком подполье готовили этот великий подвиг, те, кто были сами готовы совершить его, но не выпал жребий или не успели, скованные кандалами, замурованные в казематы? Разве они не герои?

Больше уважать себя. В своей работе не оглядываться

на публику, на издателей, на всех продавцов славы. Они всегда хотят знать о самых знаменитых, самых главных. Публика слетается на популярность, как мухи на мед!

О, если бы удалось прославить тех, кто бесславно и незаметно изо дня в день отдавал свои силы революционной борьбе. Наборщиков, годами не выходивших из склепов конспиративных типографий, транспортировщиков, ежедневно рискующих жизнью, переправляя на родину вольное слово невольных изгнанников, девочек, поплатившихся ссылкой за участие в демонстрациях. Неизвестных, безымянных, незаметных...

Кажется, он начал разговаривать вслух. Опомнился, умолк и вдруг махнул рукой, сдвинул шляпу на затылок и во весь голос запел:

— Вдоль по Питерской...

Неторопливый кэбмен, с баками, в низком цилиндре, сюртуке с пелеринками, свесился с козел и флегматично заметил:

— Потише, приятель, полисмен за углом.

## НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Бар «Робин Гуд», куда для делового разговора после концерта пригласил Гуденко Волховского, в сущности, был не бар, а второразрядное кабаре с маленькой эстрадой в глубине зала. По-видимому, он должен был представлять собой нечто вроде знаменитого парижского «Мулен-Ружа». Как во многих копиях, в нем легко повторялись все недостатки оригинала и были недостижимы его достоинства. Здесь не было ни парижской беспечной богемы, ни французского легкомыслия и непринужденности, объединяющей публику, хотя под пеной общего веселья таилось то же желание забыться, нахлебаться, тот же разврат.

На стенах намалеваны скачущие во весь опор жокеи, пригнувшиеся к шеям лошадей. Высоко под потолком изображен распятый на кресте Дизраэли, окруженный канканирующими девками, — дань рискованному вольномыслию. Fin de siècle — конец века. Через несколько лет наступит тот загадочный, и обнадеживающий, и угрожающий, — двадцатый.

В волнах табачного дыма покачивались над столиками сине-зеленые китайские зонтики — абажуры. Затененные лампы бросали мертвенные отсветы на лица. Мужчины, с пышными выхоленными усами, по-хозяйски невозмутимые, немногословные, похожи скорее на акционеров, собирающихся выслушать финансовый отчет, чем на прожигателей жизни. Женщины, чье ремесло не вызывало сомнений, с мечтательным видом курили длинные сигаретки, болтали, хихикали, подталкивали локтями своих вялых спутников, чтобы привлечь к себе внимание. Но за суетливым оживлением чувствовался привычный автоматизм.

Гуденко с видом завсегдатая направился к столику у стены около эстрады. Волховский знал, что он в Лондоне впервые, прибыл лишь два дня назад, и с некоторой горечью подумал, что богатые всюду чувствуют себя как дома. Грех сказать, что он и сам не посещал низкопробных злачных мест. Он бывал в одесских харчевнях, московских извозчичьих чайных, питерских трактирах, канадских салунах, всюду, куда его забрасывала необходимость конспиративных встреч или нищета. Он не брезговал ни обстановкой, ни едой, ни окружающим сбродом. Просто не замечал их. Но эти претенциозно размалеванные стены, эти фальшиво резвящиеся дамы повергли его в необъяснимое уныние.

И пока Гуденко заказывал официанту ужин, Волховский с обреченным видом смотрел на сцену.

Старенький фокусник раскланивался с публикой и, сняв цилиндр, с торжествующим видом вынул оттуда три

яйца, — откуда же он вытащил их и не разбил? Дамы за столиками аплодировали. Потом вышел конференсье с низким лбом и мордой громалы. Он объявил следующий номер — гастроль парижской дивы мадемуазель Гулю.

На помосте появилась змеевидная женщина в длинных черных перчатках, в фригийском колпаке. Она вскинула ногу выше головы и, держась за носок туфли, выкрикнула:

— Vive les militaires! <sup>1</sup>

— Тулуз-Лотрек нынче в моде, — заметил Гуденко.

— К чему вы это?

— А как же! Шансонетка-то прямо с его плаката. Париж с ума сходит...

Грянули фанфары. Взвыл оркестрик, и, не меняя позы, хриплым голосом Гулю запела «Марсельезу».

— Экая похабщина, — сказал Гуденко, — а ведь патриотизм воспевают.

Вот так так! Волховский даже откинулся на стуле. Какая же нелегкая несла его сюда? Зачем понадобилось затевать деловой разговор в этом кабаке, когда можно бы провести остаток вечера дома, за чашкой чая? Конспиративные соображения ни при чем. В Англии, как известно, у себя дома — как в крепости. Может, его потащила сюда la nostalgie de la bouche — тоска по грязи. Должно быть, как и всех этих бонвиванов, собравшихся в баре. Кажется, в какой-то пьесе Островского ошалевшая от сытости купчиха тоскует по ситничку с деготьком. Но ежели он просто бонвиван, зачем же понадобилось тратить время и деньги на помощь русским революционерам? В самой внешности этого Гуденки какая-то невнятица, сумбур. Грудь колесом, шарнирные движения. Фигура полковника Скалозуба, а личико херувима в белокурых колечках кудрей, с широко расставленными голубыми глазами, такими простодушными, что хочется, как дитяти,

---

<sup>1</sup> Да здравствуют солдаты! (франц.)

рассказывать ему всякие небылицы. Странно, что этого простачка рекомендовал Кеннан. Упрямый Кеннан, дважды побывавший в Сибири, написавший книгу о сибирской каторге и ссылке, не побоявшийся помочь бежать из сибирского ада самому Волховскому.

И можно ли пренебречь письмом Лазаря Гольденберга, старого товарища, который уже несколько лет занимался транспортировкой нелегальной литературы в Россию? Для него Гуденко — человек энергичный и полезный, не раз переправлявший на родину тюки с брошюрами. Он пишет, что этот чудак располагает средствами и связями, чтобы помочь Фонду вольной русской прессы. А на все его завиральные идеи обращать внимания не следует. Меценаты, покровительствующие русскому революционному движению, сами оставаясь в стороне, встречались и прежде. Стоит вспомнить только некоего Бахметева, томимого отвращением к покинутой родине, удалившегося на Маркизовы острова, предварительно пожертвовав Герцену на его издания двадцать тысяч фунтов стерлингов.

Волховский снова глянул на Гуденку, и лицо его показалось симпатичным. Разумеется, такие меценаты нужны лондонской эмиграции. Особенно сейчас, когда создается Фонд вольной русской прессы и средства для него собираются по крохам, подобным выручке от сегодняшнего концерта.

— Надолго думаете обосноваться в Лондоне? — спросил Волховский, когда Гуденко отпустил официанта.

— Думаю, что навсегда. Жена осталась в Америке. В России только дальние родственники, седьмая вода на киселе, с которыми я никогда не был близок. Так что можно считать, что я освободился от всех пут и связей.

— А жена? — вырвалось у Волховского.

— Жена — немка. Раз в неделю меня кормили селедочным супом с вишнями и каждый день яйцом со шпинатом. Вы не можете себе представить, какое это рвотное.

— И эти гастрономические огорчения были причиной семейного разлада? — рассмеялся Волховский.

— Не только. Я — либерал, она — верноподданная, законопослушная, без лести преданная и черт его знает что еще. Прибалтийская немка. Сами небось знаете, как чухна лицемерно раболепствует при одном имени самодержца. А что мне династия Романовых? Дед мой, Скурлатов-Заборовский, записан в Шестой книге. Это со стороны матери. А в роду отца, там литовской крови много. От Гедиминовичей. С какой стати я должен благоговеть перед Романовыми? — Он осушил бокальчик с шотландским элем, не закусывая, крепко вытер салфеткой губы и продолжал: — К тому же в Питере нас постоянно посещал кузен жены, близкий к высшим сферам, и она чуть что не коленопреклоненно выслушивала придворные сплетни. Я тоже от него наслушался. Грязь. Фальшь. Мещанские интриги. Обрыдло. Вы давно из России?

Не было охоты рассказывать о своем побеге из Сибири, и Волховский вяло пробормотал:

— Уже порядочно.

— Ну так я могу вам сообщить последние чиновничьи новости. Директор департамента полиции Дурново стал сенатором. Неплохо? Все кругом возмущены. Сенаторы говорят, что к ним за какие-то загадочные заслуги сажают только прохвостов и шпииков. Но оказалось-то не за заслуги, а за провинности. Дурново жил с женой жандармского полковника Миньчукова, а она путалась с бразильским атташе. Дурново догадался об измене, гикнул своим агентам, и они в два счета выкрали письма у бразильца. Неплохо? Но обернулось-то куда как нехорошо. Бразильский посол пожаловался через английского посланника государю. Дурново, извольте радоваться, полетел с коня долой. Обер-полицмейстерский пост покинут. Взамен — почетная синекура в сенате и жалованье в двадцать тысяч. Вот как у нас карают за воровство.



— Вас это удивляет?

— Возмущает. А Дурново еще жалуется. Ходит по Петербургу, плачется: «Поразительная страна! Я девять лет заведовал департаментом полиции, хранил государственные тайны. А какой-то бразильский секретаришка набрехал — и нет меня. Девка оклеветала государственного деятеля, а его и не спросили! Я не о себе толкую, но что это за страна? В двадцать четыре часа коленкой под зад из-за паршивого иностранца!»

— К чему это вы? — нетерпеливо спросил Волховский.

Его уже давно раздражал этот бессмысленный разговор, и сами стены этого кабака, и зеленоватые лица вокруг под колеблющимися китайскими абажурами. «Как в морге», — подумал он.

— А к тому, — проглотив устрицу, ответил Гуденко, — что в России нет правящего класса. Нет аристократии. Сначала Петр окружил себя немчурой, всяким мещанским сбродом. При Екатерине певчие в ход пошли, выбирала жеребцов повыносливее. При Александре — Нессельроде, Каподистрия, маркиз де Траверсе. Что для них Россия? А истинные русские аристократы по деревням, в имениях, в навозе. Они до власти и рукой не дотянутся. «Местов нет». Как в дилижансе.

Его херувимское личико покраснелось, голубые глазки требовательно искали у Волховского сочувствия. Он уже опрокинул бокальчика три шотландского эля и, казалось, был готов по-гусарски колобродить всю ночь. Деловой разговор явно не получался.

— Какой же вы вольнодумец! — улыбнулся Волховский. — Славянофил. Махровый славянофил. А я что-то среди них вольнодумцев не помню. Законопослушные.

— Ну это вы пальцем в небо. А впрочем, называйте как хотите. Но я поклонник английской конституции и твердой руки. Я знаю, что никакие реформочки, будь хоть лорисо-меликовские, будь хоть какие другие, Россию не

спасут. Будем метаться из огня да в полымя, от конституции до полиции, пока не превратимся в немецкую колонию. Надо расшатывать этот порядок. Расшатывать любой ценой.

Что только он плетет! Английская конституция и твердая рука! Нарочно не придумаешь. А говорит веско и убежденно, как говорят русские помещики из военных в какой-нибудь оренбургской или вологодской глухомани. И широко раскрытые детские глаза смотрят с такой мольбой, как будто от него, Волховского, зависит будущее России. Это смущает, мешает говорить так резко, как хотелось бы. Хотя он знает, что резко говорить не следует, да и мирно спорить не стоит. У этого костромского тори такая каша в голове, что любой разговор надо начинать с азов. И все-таки не удержался, сказал:

— А вы не боитесь, что, когда порядок будет расшатан, все равно не вырастет идеальное здание английской конституции?

— А что же?

— Республика, например. Или крестьянская община возьмет верх и...

— Э, нет. Не пугайте. Пугачевская вольница — это не надолго. Через полгода царя-батюшку запросят мужички, потому как ничего другого не знают. Я мужичков не боюсь и вашего брата нигилистов не боюсь. А потому предлагаю — шатайте! Расшатывайте, а пожинать плоды будем мы. Аристократы. Могу предложить средства и переправить помощь. Ваш, так сказать, товар.

Неожиданно прорвавшийся темперамент сумбурного этого человека, его торгашеский лексикон против воли заразили Волховского, и в тон ему он спросил:

— Так сколько же ваша милость нам пожалует? Вы определили сумму?

— За kota в мешке? Скажите-ка лучше, что думаете издавать?

— Для начала хотя бы «Подпольную Россию» Степняка. Она еще не выходила на русском языке.

— Есть русские наборщики?

— Найдутся. Но вы, я смотрю, хотите вкорениться в самое дело? Не только помогать? Стоит ли? Не рано ли? При наших идейных разногласиях...

— Будьте покойны. Я слишком ленив, чтобы взваливать на свою шею ваши заботы. Просто хочется проверить, не маниловские ли мечтания этот самый Вольный фонд? Хоть и руки в крови, а все ж таки нигилисты идеалисты. Это-то мы понимаем.

Бесцеремонность Гуденки задевала. Трудно было не вспылить, но Волховский сдержался, предпочел промолчать. Сделал вид, что разглядывает публику.

За соседним столиком сидела очень молодая, сильно нарумяненная девица в оранжевом платье с глубоким вырезом. Пожилой джентльмен с кирпичным набрякшим лицом серьезно и сосредоточенно щекотал веточкой вереска прогалинку между ее грудями, стараясь проникнуть как можно глубже. Девица хихикала и ежилась. От резкого движения платье сползло с плеча. Волховский увидел маленькую, грушевидную, но уже обвислую грудь. В синеватом отсвете китайского абажура она показалась посиневшей, как на морозе. Мгновенное воспоминание пронзило его. Вот так же под Томском в свирепый ветреный осенний день арестантка, должно быть уголовница, копала канаву. Халат распахнулся, и обнажились посиневшие от холода жалкие груди. Ничего не случилось тогда. Никто ее не оскорбил, кажется, и надсмотрщика не было поблизости. Но его потрясло не чудовищное уродство каторжной жизни, не безысходная скудость серой земли, а убожество этой плоти, она могла бы быть ослепительной, прекрасной... И тогда первый и единственный раз в жизни он подумал, что, может, к лучшему что жена, Мария, умерла. Единомышленице и другу

не миновать ей было повторить судьбу этой женщины. На Каре, в Якутии, под Тобольском...

Оркестр играл что-то бравурное. Гуденко подпевал: «Матчиш — прелестный танец, шальной и жгучий. Его привез испанец...» Резко оборвал, спросил:

— А кто у вас за главного? Степняк?

— Сергей не должен брать на себя организационные дела. Он писатель. И, конечно, он вдохновитель нашего нового предприятия. Но мы не можем отрывать его от работы ради забот хозяйственных.

— Держится он тихо, а на лбу будто написано, что он тут главный.— И, помолчав, пробормотал: — Удивительная голова... Мыслителя какого-то... Трибуна вождя. Он у вас за философа считается?

Волховский рассмеялся:

— Нет, он совсем не теоретик и ничуть не претендует на роль вождя. Он... Если хотите знать, он — магнит. Это чувствуют все наши эмигранты-старожила. Очень верно сказал Кропоткин, что Кравчинский за недолгий срок стал центром, который оказал влияние на всю английскую интеллектуальную жизнь.

— Так-таки на всю?

— Если говорить о прогрессивных кругах наверно, на всю. Точно не подсчитаешь. Но посудите сами, его ближайшие друзья — Эдуард Пиз, известный профсоюзный деятель, знаменитый Вильям Моррис — художник, поэт, искусствовед, который всю жизнь эстетствовал, занимался пропагандой декоративного искусства, а в пятьдесят лет стал социалистом. И недавно публично на большом митинге признался, что этот перелом в нем произошел под влиянием книг Степняка. А Пирсон?

— А это что еще за персона?

— Карл Пирсон — ученый, философ, профессор математики. Сергей произвел на него такое сильное впечатление что дело чуть не дошло до семейной драмы. Мать

почтенного профессора, аристократка, хранительница старозаветных устоев и традиций, испугалась, что русский нигилист увлечет ее сына на баррикады, что ли. Умоляла Карла не встречаться с ним. Она уверена, что Сергей хочет опрокинуть существующий в мире порядок и даже, кажется, не сомневается, что ему это удастся, но только не желает, чтобы ее сын принимал участие в этом непристойном акте.

— Выходит, что Степняк — профессиональный шармёр? Только очаровывает не прекрасных дам, а почтенных ученых. И успевает делать что-нибудь еще?

— Зря вы пытаетесь иронизировать. За годы, прожитые в эмиграции, Степняк написал несколько книг, в том числе роман «Карьера нигилиста», «Подпольную Россию», сотни статей о России для английских и других зарубежных газет и журналов. Писал предисловия к переводам Короленко, Тургенева. Сам переводил. А постоянные выступления на митингах, чтение лекций...

— Н-да, недаром он со лба лысеет, — перебил Гуденко, — от такой жизни не развеселишься.

— Вот тут уж теперь вы пальцем в небо. Я не знаю более жизнерадостного человека. Счастливого. Везучего. Ведь даже в Питере, когда на Большой Итальянской... — он смешался, но тут же нашелся и со смехом закончил: — Сергей, как колобок, — «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...»

— У этой сказки печальный конец. Помните? «А лиса его ам — и съела». — Он улыбнулся ангельской улыбкой и добавил: — А насчет Большой Итальянской, это вы напрасно смущаетесь. Я тогда еще в кадетском учился, как сейчас помню газетные заголовки: «Террористический акт в сердце столицы!», «Убийство шефа жандармов Мезенцева». Кто был исполнителем? Не знаю, как в Петербурге, а в Нью-Йорке кое-кому известно. Кеннан мне рассказывал.

Волховский помрачнел. В Англии никого не преследуют за политические убеждения, но если доказать, что человек совершил уголовное деяние... Он начал наливать вино в стакан, рука задрожала, пролил на скатерть и, смутившись, стал вытирать лужицу салфеткой.

Гуденко остановил его, взяв за локоть.

— Да вы не огорчайтесь, беда невелика, секрет полишинеля, — приговаривал он. — Доносить не побегу. Думаю, настолько-то заслужил доверия у вашей братии? Я бы и сам пристрелил его как собаку. Ненавижу полицейскую сволочь.

Он отвернулся, затуманенным взглядом стал рассматривать размалеванные стены и, переведя взгляд на Волховского, спросил неожиданно:

— Смотрю на вас и думаю: почему вы вначале жили в Лондоне под чужой фамилией?

— Откуда вы об этом узнали?

— От Кеннана.

Волховский кивнул и пробурчал:

— Значит, была причина.

— И еще один вопрос. Стали бы вы в России болтать с первым встречным о друзьях-приятелях Степняка?

— Вы не первый встречный. Вы друг Кеннана. А Джордж мой друг. Он помог мне оказаться на свободе.

Теперь Волховский смотрел на Гуденку с каким-то новым интересом. Ишь куда гнет! Действительно, хорошо бы он был, если бы начал рассказывать случайному человеку о дружеских связях Степняка где-нибудь на Лиговке! Но он не в России. Здесь не скрывают своих убеждений, высказываются в печати, на митингах... Зря этот предусмотрительный субъект осторожничает. Не разболтался он сейчас с первым встречным, а доказывает этому денежному мешку, что его средства в надежных руках. Не у прожектеров, не у карасей-идеалистов.

Видя, что Волховский задумался, Гуденко, будто спохватившись, оживленно заговорил:

— Да что же мы с вами все в сторону да в сторону. Лирические отступления. Я разболтался, а вы терпеливо слушаете. А если ближе к делу — часть суммы я могу внести хоть завтра. На почин.

Гуденко вернулся домой за полночь. Заспанная пансионская служанка открыла дверь и сухо напомнила, что жильцы должны возвращаться не позже одиннадцати. В комнате было сыровато и неуютно. Газовый фонарь за окном горел неровно, один язычок пламени рвался вверх и как-то неприятно подмигивал. Он задернул штору, снял сюртук, накинул халат и бросился в кресло с ощущением человека, завершившего тяжкий физический труд. Несколько минут просидел неподвижно с закрытыми глазами, потом, позевывая, пересел к столу, достал бумагу и начал писать.

«Париж.  
Русское посольство  
Его превосходительству  
Петру Ивановичу Леонову

По полученным сведениям, новое издательство преступных русских эмигрантов, так называемый Фонд вольной русской прессы, находится в самом зачаточном состоянии, что, с одной стороны, облегчает контроль за его деятельностью, но, с другой, требует вложения дополнительно больших средств в еще несуществующее предприятие. По моему скромному мнению, этого не следует бояться, как не следует опасаться парадоксального положения, при котором заграничная агентура департамента полиции становится как бы пайщиком издательства нелегальной литературы. Будем надеяться, что с божьей и нашей помощью литература эта не дойдет до адресатов.

Вынужден напомнить, что помимо суммы, которую я внесу на организацию их дела, я должен представлять в их глазах более чем обеспеченного человека, и потому прошу кроме причитающегося мне жалованья перевести...»

Он отвалился к спинке кресла, перечитал письмо, надолго задумался, потом перечеркнул его накрест двумя твердыми линиями. Написано слишком фамильярно. Этак может себе позволить какой-нибудь высокий полицейский чин, имеющий право консультировать начальство. Завтра с утра на свежую голову переписать. И потом — мало фактов. Все эти начальнички любят имена, фамилии, клички, даты, адреса. Общие соображения рядовые агенты могут оставлять при себе. Суди не выше сапога.

Он вынул из стола маленькую записную книжку и вписал по алфавиту:

Моррис Вильям — художник, поэт, социалист.

Пиз Эдуард — профсоюзный деятель.

Пирсон Карл — профессор математики.

Шоу Бернارد — музыкальный критик, драматург, фансианец.

Завтра он перечислит этих лиц в письме к Леонову, который вовсе даже не Леонов, а по петербургским спискам Петр Иванович Рачковский, начальник заграничной полицейской агентуры. Пусть возьмет на заметку всех, связанных с лондонской эмиграцией.

Хотелось спать и лень было подняться с места. Он закрыл глаза, потянулся, и вдруг ясно представилось лицо Степняка, с высоким выпуклым лбом, крылатыми бровями, задумчивым взглядом узких глаз. Очнулся. Вспомнил, что Рачковский иногда требует визуальные портреты лиц, находящихся под наблюдением, развернул записную книжку и на обороте обложки записал:

«Толстый человек, с круглым лицом, головой, наклоненной всегда вниз, толстыми красными губами. Взгляд



исподлобья, искоса. Общий вид торговца вином обнаруживает одновременно изменчивую душу и ограниченный ум».

Начальству надо говорить не то, что есть, а то, что оно хочет услышать. Такой портрет должен понравиться.

## ДЕНЬ КАК ДЕНЬ

Во сне он смеялся. И проснулся смеясь. Никак не мог вспомнить почему, только знал, что смеялся от счастья. Что-то случилось вчера. Неожиданная удача? Счастливая находка? Попытался вспомнить, но вспоминать было решительно нечего, кроме долгой прогулки по городу, да еще в ушах звучал этот низкий, густой, медовый голос — «Матушка, что во поле пыльно?..»

Задумался. Чего-то не хватало в его жизни. Покоя? Нет. Сосредоточенности. Он слишком мало бывал наедине с собой. О нет, бывал часами, когда писал, правил, переводил, отвечал на письма. Но в эти часы его всегда подталкивал, торопил неумолимый погонщик, запрещающий остановиться. Вечная спешка, и нельзя предаться радости созерцания или хотя бы, как вчера, оглянуться назад. И сегодня опять день начинается — надо бежать в редакцию «Свободной России» передать статью о Цебриковой. Надо отнести издателю предисловие к рассказам Гаршина. Написать письмо Энгельсу, поблагодарить за статью...

Никуда не денешься — надо. Ведь так живут все — крестьяне, рабочие, клерки, нотариусы, министры, лавочники. Все, кто работает. Но работа писателя — это и созерцание, и раздумье, и воспоминание, а карусель поденщины мешает делать то, что хочешь. Рассказывали, что Толстой однажды обмолвился: «Если хочешь делать то, что хочешь, не делай того, что делаешь». Такими афоризмами хорошо бросаться с Олимпа или хотя бы из

Ясной Поляны. Пока что надо делать то, что делаешь. Предисловие к Гаршину уже написано, издатель торопит, а нет там чего-то, о чем нельзя умолчать, но что еще не превратилось из ощущения в мысль.

Он вышел в столовую, на столе остывал чай. Фанни уже позавтракала, сидела напротив, прилаживала кружевце к своей единственной нарядной белой кофточке. Нищета! Почему эта красивая, добрая, мужественная женщина должна считать копейки, краснеть перед лавочниками-кредиторами, ковыряться иголкой в полусгнивших тряпках? Его не покидало чувство вины, оттого что не мог создать ей более спокойной жизни. Она никогда не упрекала его, а лучше бы уж жаловалась.

— Вот погоди, — сказал он вслух, — кончу роман — полегчает!

Фанни подняла брови:

— К чему это ты? Не торопись. Только пока что очень прошу, я знаю, как тебе трудно удержаться, но когда получишь деньги за статью в газете, не покупай мне ни духов, ни перчаток, ничего. У нас долги.

— Постараюсь удержаться, — ответил он, разбирая почту, лежавшую на столе.

Не одна Фанни, все друзья и близкие знали, что, как только у него появлялись деньги, он начинал сорить направо и налево. Дарил подряд ножички, шкатулочки, блокнотики, фонарики. Вещи совершенно ненужные и восхитительные своей бесполезностью. С этим он не хотел бороться.

— Что нового на белом свете? — спросила Фанни.

Он разорвал конверт. Писала Констанция Гарнет, переводчица Гончарова, переведшая недавно запрещенную в России работу Толстого «Царство божие внутри нас». Теперь она собиралась заняться Тургеневым и сообщала, что издатель Хейнеман согласен выпустить собрание его сочинений и предлагает к каждому тому дать предисло-

вие Степняка. Сама же она думает ехать в Россию, чтобы лучше ознакомиться с языком и бытом страны, и просит рекомендательное письмо к Короленке.

— Удивительный народ эти англичанки, — сказал Степняк. — Констанция собирается за тридевять земель в Россию, а у самой грудной ребенок. И она его спокойно оставляет. — И, устыдившись осуждения, невольно вырвавшегося, добавил: — Поразительная добросовестность в работе.

Лицо Фанни окаменело.

— Я бы никогда так не сделала.

Двенадцать лет назад, в Швейцарии, вскоре после рождения, умерла их девочка. С тех пор по временам, в минуты задумчивости или, наоборот, волнения, лицо Фанни как-то странно мертвело, становилось как гипсовая маска. И глядя на ее прекрасные античные черты под копной пышных дегтярных волос, он тоже испытывал чувство вины, хотя тут уж ее и вовсе не было. Врачи говорили, что виноваты преждевременные роды. Фанни слишком перевозновалась и намучилась, перебираясь нелегально через границу во время беременности.

Он попытался перевести разговор:

— А вот еще письмо. Хейли торопит с предисловием к Гаршину. У меня готово, хоть сейчас неси, а все что-то не нравится. Мадригал какой-то получился.

Фанни, не слушая его, вышла из комнаты.

Он знал, что в такие минуты лучше оставлять ее в покое, и все-таки рванулся вслед. Звонок в дверь остановил его.

Вильям Моррис несколько смущенно замешкался в передней:

— Простите меня за столь раннее посещение, но я опасался, что позже не застаю вас дома.

Они прошли наверх, в кабинет, и Моррис, не присаживаясь, стал объяснять, что Эдуард Пиз просил Степ-

няка принять участие в предстоящем вечере в тред-юнионе докеров, что и сам Моррис будет там выступать и горячо присоединяется к этой просьбе.

— Поймите меня,— говорил он,— в такой аудитории я не очень уверен в себе. Я привык говорить о красоте, об искусстве. Мои слова могут заинтересовать, но едва ли взволнуют. А вы расскажите о бесконечных страданиях вашего народа, и, я знаю по себе, это никого не может оставить холодным. И накал эмоций...

Степняк согласно кивал головой, не слишком вникая в его слова. Каждый раз, встречаясь с Моррисом — художником, поэтом, искусствоведем, он восхищался цельностью его облика. Нет, он совсем не совпадал с выношенным еще в юности представлением об артисте — длинные кудри, тонкое лицо, мечтательный взгляд, устремленная ввысь фигура, бархатная блуза, яркий шейный платок. Романтический персонаж середины века. Этаким Райский из «Обрыва». А Моррис одевался с той небрежной элегантностью, какой отличаются истинные лондонские денди, не дающие труда привлекать своим видом внимание, не торопящиеся опережать моду. И лицо его, с большими серыми глазами, с темными, будто сепией обведенными веками, порывистая живость, с какой он откликался на слова собеседника, искренность, с какой высказывался, именно это отсутствие погони за внешним и выдавало натуру артистичную, отметную.

— Так вы согласны? — спросил Моррис.

— Разумеется. Мне бы только хотелось, чтобы вы сейчас сели и перестали беспокоиться об этом вечере.

— Благодарю, но сначала я хочу посмотреть сверху на эту унылую улицу. Негодование надо копить в своем сердце, как и доброту. — Он подошел к окну. — Исчезает Лондон. Города слишком разрослись, чтобы суметь сохранить свое архитектурное лицо, как Рим, как Нюрнберг, да и сам Лондон начала царствования Виктории.

— А мне он и сейчас кажется красивым и цельным, — сказал Степняк. — Только...

— Чужим? — догадался Моррис. — Разная бывает ностальгия. Тоска по родине и тоска по прошлому. Я не считаю себя большим поэтом, но лет двадцать назад написал пророческую строфу. Лет двадцать, когда казалось, что еще нечего было опасаться:

*Забудь тех графств удушливый угар,  
Машинный грохот и свистящий пар,  
Растущий город с хаосом домов,  
Но помни лошадь, путь среди холмов,  
И Лондон, еще светлый, безмятежный,  
И Темзу, зеленью одетую прибрежной...*

Они помолчали.

— Ностальгия мне очень знакома, — сказал наконец Степняк. — И я никогда не думал, что с годами будет мучить все сильнее. А еще говорят, что человек ко всему привыкает. Слава богу, хоть времени не хватает предаваться тоске.

Моррис, подхватив его слова, толковал все о своем:

— Можно ли привыкнуть к уродству? Миллионы горожан оторваны от природы. Дети воспитываются в коридорах однообразных улиц, где нет ни одного деревца. Когда-то промышленная цивилизация наполняла гордостью их отцов. И никто не понимал, что если даже у людей станет лучше пища и одежда, если даже умножатся их знания о земле и вселенной, то все равно неизбежно уменьшится сила их воображения, начнет постепенно стираться своеобразие человеческой личности. Стереотипы. Во всем стереотипы.

Степняк слушал его, низко опустив голову, не сразу откликнулся:

— Время беспощадно. Говорят, можно вернуться в родные края, но невозможно вернуться назад. Но это неправда. Вернуться назад, и надолго, можно силой воображения.

— Невеселый мы с вами ведем разговор в это солнечное утро, — сказал Моррис, пристально поглядев на Степняка. — А Шоу говорил мне, что вы самый жизнерадостный человек и к тому же баловень судьбы.

— Как это пришло ему в голову? Когда-то меня, действительно, называли баловнем судьбы. Друзья юности в одном революционном кружке в Питере.

Моррис стал прощаться, взяв с хозяина еще раз обещание прийти на вечер к докерам.

Проводив его, Степняк снова поднялся наверх. Фанни стояла у окна с маленькой лейкой в руках, возилась с комнатными цветами, такая же угрюмая и молчаливая, как полчаса назад. По всему видно, что заговаривать с ней не следует.

Он вытащил из ящика письменного стола рукопись предисловия к Гаршину. Оттуда выпал толстый конверт — письмо из Вены. Второпях он засунул его вчера в стол, чтобы прочитать на досуге, но не успел.

Письмо старого друга-чайковца Дмитрия Клеменца было адресовано не ему, а какому-то неизвестному товарищу. Об этом сообщила в коротенькой записке Анна Эпштейн, жена Клеменца. Она писала, что нашла письмо среди своих бумаг, — может, копия? А пересылает Сергею, потому что он пишет о России и это свидетельство давних лет, глядишь, и пригодится. В постскриптуме сообщалось, что Дмитрий в якутской ссылке с увлечением занимается этнографическими изысканиями.

— Фанни! — крикнул Степняк. — Иди сюда! Письмо от Анки!

— Что пишет? «Ша, мальчики»? — вдруг повеселев, спросила Фанни, входя в комнату.

— Прислала длинное старое письмо Клеменца о нашей поездке по деревням. Как это похоже на Анку! Всегда помнит о том, что может пригодиться друзьям.

Он не мог вспоминать без улыбки ее лаконичный

призыв к конспирации — «Ша, мальчики!» В среде чайковцев это была фигура почти гротесковая. Цыганские серьги кольцами, шляпка со страусовым пером, юбка, обшитая стеклярусом и часто, по погоде, до колен забрызганная грязью. Особенно хороша она была рядом с Перовской, по-монашески аккуратной, в темных платьях с белоснежными воротничками и манжетками.

Анку любили все. Дочь еврея-контрабандиста, она с детства постигла все тонкости отцовского ремесла и занималась переправкой нелегальщины и людей через границу. Относилась к этому делу с неистовой преданностью и отвагой. Если кто-нибудь высказывал опасения, она беспечно отвечала чуть ли не библейским изречением, что-то вроде: «Ас гот вил, шист а бейзем», что в переводе на русский означало: «если бог захочет, и метла выстрелит». И метла действительно стреляла без промаха. Кажется, ни одного провала не было. Его всегда удивляло, что опасная эта работа не была для нее, как для остальных, «служением обездоленному русскому народу». Не знала она никакого народа, кроме еврейской бедноты. Но всякая чужая боль становилась ее болью. И позже, после разгрома «Народной воли», в восьмидесятых, она целиком отдалась заботам об эмигрантских семьях, появляясь всюду, где нуждались в помощи. Лечила, утешала, спасала. Как говорил Клеменц, «сдирала с себя шкуру, чтобы сшить другому шубу».

— Хочешь прочту, что писал Дмитрий? — спросил Кравчинский. — Садись. Письмо длинное. О временах, когда мы с тобой еще не знали друг друга. Вот слушай:

— «Я все еще торчу в Москве, дружище Николай Алексеевич! Впрочем, слово «торчу» означает неподвижное пребывание на месте, а ко мне это не подходит, так как я недавно, всего вчера только, вернулся из шлянья по Тульской губернии и намереваюсь сообщить тебе бегло свои впечатления. Шатался я вместе с Кравчинским.

До Серпухова добрались мы по чугунке (говорят, по Московской губернии нашему брату шататься больно опасно), перебрались за Оку и тронулись по Московско-Тульскому шоссе. Идти по шоссе очень ловко и приятно, так что двигались мы петербургским шагом...» Как ты думаешь, мог бы я сейчас пройти этот путь? — спросил он Фанни. — Ведь проходили десятки верст в день, а отдыхали по полчаса в кустах, в придорожных трактирах. И что-то не помнится, чтобы изнемогали от усталости. А нынче?

— Ты у нас и сейчас орел.

— Разве что чучело орла, — он грустно улыбнулся. — Отяжелел, в сорок с небольшим, от сидячей жизни. — И, помолчав, стал читать дальше: «Судя по постройкам, наполовину развалившимся, ты видишь, что когда-то была здесь жизнь, было большое движение, но чугунка отбила доход у каменки — так зовут здесь шоссе. Тульская губерния гораздо более Тверской напоминает мне родину. Здесь местность почти чисто земледельческая, хозяйство много напоминает собою степное». Может, хозяйство-то и напоминало степное, но дорога-то вся шла лесом. Ельник да березняк.

— Почему-то тут, в Англии, ели мне кажутся деревом готическим, под стать островерхим крышам в маленьких городках. Поглядеть бы сейчас на русские ели... — мечтательно сказала Фанни.

— У нас они широколапые, разлапистые, раскидистые, — из нянькиных сказок о медведях и лисицах. И молодой осинник, и березки, и заросли орешника... Сейчас тут Моррис все тосковал о деревцах, мол, цивилизация убивает воображение. Интересно, что бы он сказал о воображении нашего мужика, увидев русские леса?

Фанни с некоторым беспокойством посмотрела на него. В последнее время, вспоминая Россию, он как-то шалел, волновался из-за любого пустяка.



— Хватит, хватит резонерствовать, — сказала она. —  
Читай.

— «Здесь, кажется, был настоящий притон мелкопоместного дворянства. Всюду встречаешь массу отставных дворовых — «эй, Иванов!!», — шатающихся без хлеба. Крепостничество досталось так солоно тулякам, что они до сих пор еще не опамятовались от грез 19 февраля... А живет им скверно, — где ни спрашивали хлеба, нигде своего не хватает — жрут плохо. Несмотря на близость больших городов и чугунку, народ мало развит сравнительно с тверитянами. От всех 90 верст до Тулы получается впечатление чего-то серого, неопределенно-бесцветного...» Ну, это он зря! Помнится, в трактире гулял ямщик в расстегнутой поддевке, розовой рубашке, угощал встречных и поперечных, плясал впрысядку под гармошку, покрикивал: «Деньги — голуби! Прилетят и улетят!» Плохо ли, хорошо ли, но этот размах молодецкий не назовешь бесцветностью.

— Неужели ты это помнишь? И какая у него рубашка?

— Иногда мне кажется, что я помню все. Все, что было там. — Он перевернул страницу. — «Рассказывают, что царь велел забирать молодых девушек-крестьянок для отсылки их в Англию. — «Видишь, братец ты мой, — говорил мне один тульский самоварщик, — этот самый принц английский и говорит царю: «Как вы нам теперича батенька стали, так вы нам поспособствуйте, — девок у нас нет, — на семь мужиков одна девка. Прикажите из Рассеи вашей предоставить нам». Ну, царь и согласился. — «Да неужели же можно от семьи оторвать дитя и увезти ее за тридевять земель?» — «Парней в солдаты берут — отчего же девок нельзя брать на службу? Ведь они в Англии-то будут христианскую веру разводить».

Этот слух преследовал нас по всему тульскому шоссе...» Подумать только, что я об этом никогда не расска-

зывает! Как мог позабыть? А катковские подпевалы до сих пор толкуют о домострое, о незыблемой патриархальности русского крестьянина. Девочек на службу! Да еще с миссионерскими обязанностями. И, представь, не один чудак наболтал, вся губерния гудела о женской повинности, не страшась и не удивляясь.

— Воображаю, как вы хохотали,— сказала Фанни.

— Да, смеху было много, а теперь, если вникнуть, так и тут все та же вековая покорность любому произволу.

— Читай, читай дальше,— просила Фанни.— И дым отечества нам сладок, и чувств отечества... Читай...

— «...Из Тулы мы тронулись на Венев. На дороге попался нам довольно неглупый мужик, как оказалось потом — староста. Мой пылкий товарищ запропагандировал его до положения риз, вцепился в него всеми клещами своей аргументации, но староста остался верен своему начальству и на все наши пикантности отвечал только: «Закону такого нет — и все тут»...» Верно! Был такой староста. Рябоватый, с седой бороденкой, покладистый с виду, но себе на уме. Он и еще один афоризм повторял: «Блоха не от радости скачет...»

— И это ты помнишь! — умилилась Фанни. — Ой, — вскрикнула она, — у меня борщ на огне! — и убежала вниз.

Последние строки письма Степняк дочитывал в одиночестве. Клеменц писал:

«...Сам город Венев — глушь непростительная. Здесь встречаются такие типы, которые лишь и возможны в каком-нибудь Пудоже или Верхоянске. Мне попался, например, общий местный философ в трактире, рассуждающий о том... с кем лучше быть знакомым, с дураком или мошенником...»

Из Венева двинули мы в Зарайск Рязанской губернии: прошли мы в сутки с лишком шестьдесят пять верст,

чтобы поспеть к поезду, и поспели. Теперь скоро пушуся в дальний путь на восток».

Степняк уронил письмо.

Если бы сейчас испытать то чувство, с каким топали по булыжному проселку! Молодость, буйная молодость захлестывала, торопила, гнала... Не на поезд боялись они тогда опоздать. Не успеть к делу, пропустить что-то, что можно изменить сию минуту. Теперь торопишься по-другому, обдуманно и редко, редко вспыхивает торопливый восторг перед самой жизнью, хотя бы как во время вчерашнего концерта.

Знать бы, что теперь думает об этом в якутской ссылке Дмитрий Клеменц. Да и думается ли там?

Несколько страничек, и стоит он перед глазами, как живой, узкоглазый, с плоским, будто вдавленным носом. Черемис? Калмык? Скептический балагур в ситцевой кофеворотке, синей в белый горошек, выпущенной из-под засаленной жилетки. Ни в лаптях, ни в чуйке никогда он не казался ряженым. Настоящий мужичонка.

Из Зарайска приехали в Москву, и было лето Безумное счастливое, предгрозовое предарестное лето.

...Как цвела сирень в саду на Божедомке! Персидская, крупная, темно-лиловая. И в тяжких гроздьях среди темной зелени было тоже что-то волнующее, предгрозовое. Он жил тогда с чужим паспортом студента Михайлова. Жил во флигельке во дворе у мирового судьи Лебедева. Жена его Вера Дмитриевна и сестра Таня были в московском кружке чайковцев.

Качели между двумя старыми липами. Выводок девушек, красивых и некрасивых, но все равно прелестных в своем бескорыстном стремлении к добру и справедливости. Стриженная, как нигилистка старого толка, Таня Лебедева; подобно кариатиде возвышавшаяся над всеми

Наташа Армфельдт, кудрявая, как эльф, художница Шура Малиновская и Катя Дубенская с двумя белокурыми косами, перекинутыми на грудь. Гретхен называл ее Коля Морозов. Трудно сейчас вспомнить, знали ли они тогда настоящую фамилию студента Михайлова.

Медленно раскачивались качели, темная тень от них ползла по желтому песку, а он читал вслух романы Жорж Занд и французской писательницы-социалистки Андре Лео. Как простодушно ратовала она за эмансипацию женщин! Что-то вроде: «Если принцип абсолютизма нехорош в государстве, то не лучше он и в браке. Где произвол, там и злоупотребления». И каждая из девиц воображала себя то ли Луизой Мишель, то ли жорж-зандовской Лелией, и, кажется, каждая была немного влюблена в него. А он влюбился в Катю Дубенскую. И очень скоро ее комната в Замоскворечье на Татарской стала явочной квартирой для уцелевших после питерского разгрома чайковцев.

В том, 74-м, полиция неистовствовала. В Петербурге в главном штабе чайковцев уже были арестованы Перовская и Кропоткин. Оставшиеся на свободе развивали бурную деятельность в Москве. Нужно вербовать новых членов организации — и он выступал на сходках, на студенческих собраниях по квартирам. Синий табачный дым под низкими потолками мезонинов, сине-зеленые студенческие тужурки навалом на неприбранных кроватях, на столе растерзанные булки, а то и коврига черного хлеба, колбаса на бумажке, стаканы недопитого жидкого чая. Вокруг полудетские, но уже бородатые лица, склонившиеся над истрепанными брошюрами. Приглушенные голоса, распеваящие «Гаудеамус» и любимую: «Коперник целый век трудился, чтоб доказать земли вращенье. Дурак! Зачем он не напился, тогда бы не было сомненья»... А под окном уже бродит некто в гороховом пальто. Замеченный, он вынужден долго слушать гитарные переборы, хоровое пение. Заскучав, удаляется, и тогда снова споры споры

Еще не разочаровались в хождении в народ, еще не приходила в голову мысль о терроре. Споры шли только о методах пропаганды. Помнится, тогда он додумался до своего метода, которым гордился, и любил повторять:

— Наполеон говорил: для того, чтобы сделать из солдата хорошего стрелка, надо истратить на него равное ему по весу количество пороха. Я думаю, чтобы сделать из рабочего хорошего социалиста, надо истратить равное его весу количество литературы.

Споры, споры...

Многие думали, что нельзя заниматься пропагандой наездами, гастролировать по деревням. Надо дать себе труд мастерски овладеть каким-нибудь ремеслом, а потом укорениться в деревенской глуши не на месяц, а на годы и там обстоятельно и неотступно вести работу. Таких мыслей придерживался Войнаральский, человек дикой энергии, не так давно приехавший из заволжской глуши. Сорокатысячное свое состояние он целиком тратил на помощь революционным кружкам, организацию мастерских, подпольных типографий. В ту пору и в Москве он открыл башмачную мастерскую. Там хозяйничал латыш Пельконен, пьяница, весельчак, великий мастер своего дела. В мастерскую эту, уютившуюся в горбатом переулочке вблизи Самотечной площади, ходили многие будущие деятели русского революционного движения — Лукашевич, Аитов, Исаак Львов.

В небольшой невзрачной комнатенке на стене висела сумка, в ней лежали пятьсот рублей, и каждый нуждающийся мог бесконтрольно пользоваться этими деньгами. И не было случая, чтобы кто-нибудь злоупотребил доверием Войнаральского и взял деньги для кутежа. Разве что Пельконен заимствовался на лишний полуштоф. На верстаках, на подоконниках валялось по несколько экземпляров запрещенной литературы — «Отщепенцы» Николая Соколова, «История одного французского крестья-

нина», номера газеты «Вперед». Клеменц называл эту лачугу, где не прекращались все те же споры, «Салон мадам Рекамье».

Не слишком соглашаясь с пользой подобного обучения, сам одно время усердно учился у Пелькопена. Толку от обучения было чуть. Смастерил козловые сапожки для Кати Дубенской.

В то безумное лето не было у него постоянного пристанища. С узелком, где лежала смена белья, первый том «Капитала» и еще небольшая, часто обновлявшаяся библиотечка революционных брошюр, он ночевал то на Божедомке у Лебедевых, то на Моховой у Олимпиады Алексеевой. И была какая-то прелесть в том, что из спартанской комнаты во флигельке, где стояла только жесткая кушетка, столик да свеча в позеленевшем медном подсвечнике, он перемещался в роскошные апартаменты Алексеевой, с мягкими креслами, хрустальными люстрами, штофными шторами на огромных венецианских окнах. А денька через два — снова во флигель.

Муж Олимпиады, тамбовский помещик, давно и безнадежно страдал маниакальной депрессией и пребывал в лечебнице для душевнобольных. Молодая, красивая, богатая, она могла бы наслаждаться жизнью, подобно многим дамам своего круга. Но романтическая ее натура стремилась к подвигам и опасностям. Она примкнула к московскому кружку чайковцев, и там ее считали преданным и полезным работником. Лишенный ханжеских догм еще смолоду, он подозревал, не осуждая, что Олимпиада шла в революцию не из любви к народу, а в поисках бурь и опасностей. А может, и ошибался. Она была свободна от родительских оков, ей не надо было порывать с семьей, как Перовской или Кропоткину; уйдя из дому, те вели образ жизни нищих разночинцев. Но, связанная заботами о больном муже, она не могла порвать ни с его родней, ни с его кругом. В Олимпиаду был пылко влюблен

юный Коля Морозов, кажется, не совсем безнадежно. И не удивительно. В ту пору она казалась всем царственно-великолепной. Такая женщина имела право не походить в своих привычках на всех остальных. Трудно было понять, не могла она или не хотела отказаться от роскоши. А теперь кажется, хорошо, что не хотела. По крайней мере в воспоминаниях о той трудной, напряженной жизни сохранились и поэтические картины вечеров в малиновой гостиной. Кровавый закат бьет в ослепительно блестящие стекла огромных окон. Олимпиада за роялем поет низким сильным голосом Шуберта: «Бурный поток! Чаща лесов! Вот мой приют...» Ее красная блуза пылает в лучах заходящего солнца, она встряхивает головой — шпильки на пол, водопад темно-русых волос по плечам. А Катя Дубенская, склонив головку, перебирает кончик белокурой косы, взглядывает на Сергея исподлобья. А Коля Морозов в упор смотрит на Олимпиаду, снимая и протирая очки. Сам же он испытывает такую полноту счастья, что вприору кричать: «Остановись, мгновенье!..»

На рассвете он шел провожать Катю в Замоскворечье. Розовели стены Кремля, скрипучие телеги с овощами громыхали по пути на Болото. Рота солдат, по-утреннему бодро стуча сапогами по булыжнику, шла из Крутицких казарм на плац к Чудову монастырю: «Ать, два! Ать, два! Горе — не беда! Канареечка, пташечка...» Катя останавливалась на Каменном мосту, смотрела на оживающий рынок. Помнится, как-то сказала: «И подумать, что здесь, на Болоте, казнили Пугачева!» И тогда ему впервые пришла в голову такая тривиальная, такая очевидная мысль: какие бы подвиги ни совершали, как бы самоотверженно ни погибали Дантон, Жанна д'Арк, Ян Гус, люди все так же будут пить чай из самоваров, ссориться, напиваться, деревья все так же будут расти. Детская мысль, а очень обидно показалось. Может, потому, что втайне, не сознаваясь себе, сам мечтал быть Дантоном или Наполеоном.

Но правы были не те товарищи из артиллерийского, которые угадывали его мечты, в тысячу раз более правы те, кто, не догадываясь ни о чем, просто примером своего бескорыстия подавляли в нем честолюбие, пока не задавили его совсем.

И пока он шел с Катей по Полянкам, Ордынкам, по Старо-Мопетным, Казачьим переулкам, еще пустынным и чистым, солнце поднималось, золотило маковки старинных церквушек, заливало розовым светом купеческие особнячки за низкими заборами. По-деревенски пели петухи и перелаивались цепные собаки.

Они были молчаливы в этих утренних прогулках. Бог знает о чем думала Катя, а он, как всегда в минуты затишья, был погружен в ожидание новых дел, новых поездок, новой, непохожей жизни. Он ее перевернет, взбудоражит, перебулгачит, повлечет по новому пути. И в то же время с какой-то яростью испытывал восторг перед прелестью этой минуты, прелестью самого существования, раннего утра, солнца, петушьего пения, колыхания царственной густой листвы.

Все счастливые дни длятся недолго, может, потому и помнятся всю жизнь. Шквал арестов налетел и на Москву. За решеткой очутились и Катя, и Вера Дмитриевна, и Таня Лебедева, младший брат Кати Митя, даже приятель Митин, студент Шапошников. Но главные действующие лица, которых искали, из-за них-то, может, и загорелся весь сыр-бор, — сумевшие ускользнуть из Петербурга, беспаспортные, бездомные Клеменц и Кравчинский.

Все переменилось в один день. Его терзали угрызения совести. Казалось, Катя взяла на себя его вину. В чем она виновата? Прочитала несколько запрещенных книг? Их даже не нашли у нее. Но она была близка к нелегальным, отверженным, отринутым... Ей грозила ссылка, а то и годы заключения за то, что она знала его. Нет ничего страшнее, когда невинный страдает за твою вину...



Устроить побег? Но тогда она сама станет нелегальной, будет всю жизнь скитаться под чужим именем, искать пристанища под чужим кровом. Какая огромная сила убежденности нужна, чтобы вести такую жизнь. Едва ли она готова к ней.

Клеменц надоумил подкупить двух жандармов, они стали носить записочки. Катя писала, что следователи обманывали ее, говорили, что он сидит в тюрьме и будет сослан в Сибирь. А за ленточкой ее шляпки, свернутая в трубочку, лежала записка от него, переданная час назад. Однажды в приступе безумного раскаяния заставил жандармов вызвать Катю на тайное свидание. На грязной тюремной лестнице целовал ее руки, кажется, плакал...

Осенью Катю выпустили на поруки, а он уехал в Одессу готовить побег Волховскому.

А потом — как ножом отрезало то безумное московское лето. Побег Волховского не удался. Отчаяние. Снова Питер, повальные аресты. Товарищи по партии опасались, что и его схватят, решили отправить в Италию сопровождать безнадежно больную Марию Волховскую. А там — крутой поворот: знакомство с итальянскими революционерами-анархистами Малатестой и Кафиеро, неудачное беневентское восстание — и тюрьма

Пропадало утро. Приход Морриса, обида Фанни, письмо. А предисловие к Гаршину — ни с места. Он привык быть точным в сроках, но хотел быть точным и в мыслях, чего-то не хватало в его оценке этого талантливой, рано погибшего писателя. Расслабляют воспоминания о молодости. Надо бороться с собой. Собрать волю. Думать о сегодняшнем дне и сегодняшних делах. Жорж Плеханов, будь он в таком настроении, процитировал бы себе: «Свобода — это осознанная необходимость». В сущности, в

этой формуле в четырех словах заключен закон нравственного поведения и человеческого достоинства.

— Достоинства... — повторил он вслух.

Так об этом же и речь!

Он перелистал рукопись и твердой рукой вписал, что в рассказах Гаршина «обнаруживается и незрелость его таланта, и та чисто восточная неспособность некоторых русских понять, что любовь и сострадание еще далеко не все и что мыслям о чести и человеческом достоинстве тоже должно быть уделено место при создании человеческого характера».

## ДВА АГЕНТА

На столе — голубой конверт с отчетливо оттиснутой печаткой: круглая башня наподобие шахматной туры и два перекрещенных флага. На кровати — мутно-зеленый жилет с красными крапинками, коричневый сюртук и черный фрак. Гуденко в глубоком раздумье стоял посреди комнаты, переводя взгляд то на стол, то на разложенные на кровати предметы туалета. Приглашение некоей высокопоставленной дамы поставило его в тупик. Звали на пять часов. Час как будто обеденный. На званый обед приходят во фраке. Но с чего бы приглашать его на обед?

Он присел к столу, вынул из лаковой коробочки козду карт, разложил пасьянс. Если выйдет — значит, фрак.

Служба секретного агента заграничной русской разведки оказалась не столь легкой и привлекательной, как представлялось вначале. Добро бы еще иметь дело с любезными и доверчивыми террористами вроде Степняка. Однажды после разговора с этим веселым и добродушным подопечным он чуть вслух не сказал: «Побольше бы

таких убийц». Он не испытывал негодования по поводу расправы над жандармскими чинами. Они и самому ему не нравились. Иное дело, если бы закололи кавалерийского генерала! Остатки этой офицерской амбиции противились в нем и второму поручению Рачковского. Оно-то и было связано с предстоящим визитом.

В том, что он рассказал о себе Волховскому, правда перепуталась с выдумкой. Он действительно был женат, и жена его в самом деле была немка. Она и вправду осталась в Америке у своих родственников, немцев-эмигрантов из Лифляндии. В России жили его мать и сестра. О них он давно оставил попечение. Существовал даже и кузен жены. И он впрямь посещал питерский дом Гуденки раз в неделю. Только высшие сферы, в которых он вращался, были не придворные, а полицейские. Посещая кузину, он отводил душу, хвастаясь своим участием в самых загадочных и запутанных делах. Она ничего не понимала, но слушала почтительно, разинув рот. И о подробностях события на Большой Итальянской узнал Гуденко не от Кеннана, а от того же тщеславного кузена. Много месяцев в департаменте полиции царила светлая неразбериха в поисках виновника убийства шефа жандармов Мезенцева. Долго самые опытные ищайки плутали по ложному следу, сбитые с толку анонимными письмами, полученными самим царем. Об этом Гуденко знал гораздо больше, чем Кравчинский и даже те его товарищи, какие оставались в России. Он знал очень много, но отгонял эти воспоминания, чтобы не выдать себя в подпитии или в минуту неудержимого приступа вспыльчивости. Кузен был неосторожен. Если на наперсницу свою он мог положиться, то наперсника выбрал неудачно. Поступки Гуденки были непредсказуемы.

Судьба, какую устроил он сам себе, шла криво и косо. Сын богатого беспечного псковского помещика, вко-

нец разорившегося через несколько лет после крестьянской реформы, он еще учился в кадетском корпусе, когда умер его отец. Образование свое он продолжал на казенный счет, и после выпуска по большой протекции был зачислен в Фанагорийский гусарский полк. Пустился кутить напропалую, состязался с товарищами из богатых аристократических семей, залез в долги, начал играть, проигрался, не смог расплатиться и был вынужден уйти из полка, не прослужив и двух лет.

Дальше все шло под откос. Служил секретарем у известного адвоката, но был изгнан за нерадивость. Работал агентом берлинской фирмы по продаже и воспитанию породистых собак, но комиссионные давали такой грошовый доход, что не было смысла сапоги трепать. Он бросил работу, стал пить и в короткий срок опустился бы до полного нищенства, если б в него не влюбилась квартирная хозяйка, восторженная немка, лет на десять старше его. Она держала мастерскую по изготовлению «предметов женского туалета», попросту корсетов и бандажей для беременных.

После свадьбы наступило блаженное время. Он целыми днями валялся на диване, читал исторические романы Салиаса и Всеволода Соловьева. Перед обедом заходил в портерную на Четвертую линию Васильевского острова. Праздное воображение разыгрывалось. Он мнил себя русским аристократом, жертвой засилья разночинной бюрократии. Она засела в правительстве и была слишком либеральна, на его вкус. Подписался на «Московские ведомости» Каткова, стал брать уроки английского языка у хорошенькой барышни из обедневшего дворянского семейства. Тем временем дела восторженной и не слишком оборотистой немки пришли в упадок. Она и в самом деле стала кормить его три раза в день яйцом со шпинатом, рыдала по пустякам, особенно в дни уроков английского. И когда из Америки пришло письмо

от тетки с предложением приехать, с радостью ухватилась за надежду открыть свое дело в Новом Свете. Гуденко не противоречил. Он уже изнемог от сцен ревности, истосковался по перемене жизни. Правда, он несколько опасался, что среди предприимчивых американских эмигрантов неудобно будет сутками валяться на диване. Но тут выручил все тот же кузен. Нашел родственнику, как ему казалось, синекуру. Пристроил на должность заграничного секретного агента. Начальство далеко, службишка бесконтрольная.

В Нью-Йорке он вошел в доверие к Лазарю Гольденбергу. Дважды переправил тюки с нелегальной литературой в Россию. В то же время послал в Париж обстоятельные досье на американских политических эмигрантов и их русских корреспондентов и заслужил одобрение Рачковского.

Вскоре из Парижа пришло письмо с предложением переместиться в Лондон. По мнению Рачковского, там слишком решительно действовали наиболее опасные враги самодержавия. Он с радостью согласился уехать в Европу и без промедления покинул опостылевшую жену.

Поощрение начальника заграничной агентуры вновь пробудило угаснувшее было воображение. Ему представлялось, что новое назначение сулит блестящие перспективы. Вспоминался феерический взлет Судейкина — жандармский поручик стал правой рукой самого Плеве, должен был быть представлен государю императору. Что Судейкина убили, как-то ускользало из памяти, а если и всплывало иной раз, все думалось — пронесет... Ведь и Трепов в живых остался. Семейная беспечность брала верх над возможной опасностью. Наконец-то он нашел свое призвание! С детства он любил актерствовать, изображать совсем не то, чем был на самом деле. И теперь ему нравилась и даже льстила роль разочарованного богатого барина, скорбящего об упадке своей родины. Он гор-

дился, что придумал себе такую необычную маску. Все агенты по шаблону выдавали себя за единомышленников, сочувствующих революционному движению.

Он очень высоко заносился в мечтах. Иногда его тревожила мимолетная мысль, что бывшие товарищи по полку даже руки не подали бы полицейскому шпику, но тут же утешался: одно дело тайный агент, другое — крупный жандармский чин.

Прозрение наступило в кабинете Рачковского, когда тот, доверительно улыбаясь, приступил к обстоятельным инструкциям.

— Вы никогда не собирались поступить на дипломатическую службу? — спросил Рачковский, рассеянно поглядывая в окно, как бы не придавая никакого значения неожиданному вопросу.

Стараясь угадать, какой ответ может понравиться начальнику, Гуденко быстро соврал:

— Подумывал, но как-то не пришлось.

— Так вот в Лондоне вам впервые удастся выступить в роли дипломатического курьера. — Он протянул Гуденке конверт. — Вы передадите это письмо одной особе. Очень высокопоставленной даме. Она крестница его величества государя императора Николая Первого. Более того. Всех ее братьев крестил государь.

Гуденко попытался выразить на своем лице приличное случаю благоговейное выражение, но Рачковский, не обращая внимания на его усилия, по-прежнему устремив затуманенный взор в окно, продолжал:

— Это Новикова, урожденная Киреева. Древний род. Блестящая, оригинальная личность. Сам Дизраэли, лорд Биконсфильд, назвал ее депутатом от России, хотя и терпеть ее не может. Зато Гладстон пребывает с ней в деятельной переписке. Некоторые его письма она опубликовала в одном парижском журнале.

— Но ведь он еще жив! — вырвалось у Гуденко...

Рачковский снисходительно улыбнулся:

— Да-с, не умер. Но опровержений не последовало. Правда, радикальные английские газеты намекали, и довольно недвусмысленно, на их интимную связь, но, кажется, переписка продолжается. Не всякому слуху верь... Во время балканской войны Ольга Алексеевна играла большую роль в борьбе русофила Гладстона с покровителем турок Дизраэли. Бешеная энергия — землю рыла. Тогда она была в зените славы. Теперь ее звезда в Англии, можно считать, закатилась, хотя она еще печатает свои статьи в консервативной «Пэл-Мэл газетт», а еще чаще в «Московских ведомостях».

— Пишет статьи в газетах? Крестница государя? С чего бы?

— Не с чего, а почему, — наставительно сказал Рачковский и осекся. Потом добавил, загадочно улыбаясь: — Обладает талантом.

Все это Гуденко выслушал со вниманием, не находя для себя ничего зазорного в таком поручении. Но затем Рачковский с улыбкой полусмущенной, полуиронической, покручивая длинный стрельчатый прусский ус, стал подробно объяснять, как надо себя вести с великосветской дамой:

— Прежде всего не следует упоминать о своих занятиях. Она прекрасно поймет, с кем имеет дело. Но даже в этом письме я обошел деликатный вопрос, а просто назвал вас человеком полезным. Не надо упоминать и моего имени. Дама, вращающаяся в таких заоблачных сферах, не должна чувствовать себя связанной с полицией. Даже при разговоре с глазу на глаз. Даже наедине с самой собой.

Слушая это откровенное объяснение, Гуденко впервые с трезвой беспощадностью понял всю глубину своего падения. Как все легкомысленные и слабые люди, и в Петербурге, и в Нью-Йорке он предпочитал страусовую

политику и гнал от себя мысли о том, что должность секретного агента несовместима с честью дворянина. Утешался тем, что хотя и скрывал свое ремесло от людей, но это было условием игры. Он таился от тех, за кем следил, как охотник таится от зверя. Иначе и нельзя охотиться. Но ведь эта «оригинальная личность», по-видимому, тоже агент. Черт ее знает, платный или бесплатный, пусть даже сверхсекретный, но ведь свой брат! И она будет им брезговать! Не только им, но и самим Рачковским. Видите ли, «даже наедине с самой собой»...

Весь гусарский гонор, казалось давно улетучившийся, возмутился в нем. Кровь ударила в виски. Он встал, щелкнул каблуками и откланялся, не сказав ни слова.

В Лондоне его негодование поостыло. Сработал инстинкт самосохранения — Рачковского нельзя слушаться, служба есть служба. Он оставил свою визитную карточку и письмо начальника заграничной агентуры у Новиковой, а через несколько дней получил приглашение посетить ее салон.

Теперь, готовясь к этому посещению, он раскладывал любимый пасьянс своей матушки под плебейским названием «Мусорщик». Подбадривал себя, напевал модную шансонетку: «Так и быть, так и быть — надо это проглотить...»

Карты сошлись. Значит, надо облачаться во фрак.

С досадой и некоторой робостью он прошел в назначенный час по аллее старых вязов к двухэтажному дому в георгианском стиле в глубине небольшого парка. Величественный швейцар, сверкающий сединой и позументами, указал ему на зимний сад, ведущий в гостиную. Что-то зловещее почудилось в широколапых колючих растениях, затемнявших узкий проход. Гостиная удивила его гулом русской речи. Он не знал, что раз в месяц хозяйка принимает русских путешественников и обосно-



вавшихся в Англии соотечественников. На еженедельных вторниках у нее собирались англичане и кое-кто из русского посольства. Пораженный великолепием обстановки, не знал он также, что Новикова живет в доме своего друга лорда Сэвиджа, уехавшего в Индию.

Не без удовольствия он отметил, что хозяйке перевалило за пятьдесят и вряд ли она еще пригодна для любовных утех. Но отчего бы и не переписываться с ней набожному Гладстону? Дамы подобного рода к старости впадают в ханжество, начинают замаливать грехи. С таким же злорадством он убедился, что Новикова совсем непохожа на экзотическую шемаханскую царицу, соблазнившую царя Додопа, какая рисовалась его воображению. Скорее она походила на изрядно пожухлую красавицу с портретов Брюллова — волоокая, с соболиными бровями, роскошными плечами. Былая красота угадывалась во всех статях. Когда она вставала, в ее несколько коротконогой фигуре, в походке вперевалочку было что-то вульгарное, но и в этом бывший гусар находил неизменную привлекательность. К тому же глаза ее молодо блестели, говорила она громко и самоуверенно.

Когда Гуденко представился ей, она успела только поприветствовать его рассеянной улыбкой. Ее увлек розвощекий седенький генерал для конфиденциального разговора.

В смущении он неразборчиво устроился в первом попавшемся кресле, позади двух фарфорово-миловидных старушек, с упоением обсуждавших придворные сплетни.

—...и наследник написал Кшесинской...— услышал он.

— Говорят, она хочет принять православие,— перебила другая.— Рассчитывает на морганатический брак на манер княгини Юрьевской.

— Так вот он написал, что посылает ей три тысячи рублей. Больше пока у него нет. И чтобы она сняла

квартирку за пять тысяч, и тогда «мы заживем, как генералы». Каково?

— Хорошенькое у него представление о генералах!

— Говорят, он выпросил у отца позволение не жениться еще два года.

— Не знаю. Он возмужал, отпустил бородку, но по-прежнему маленький. Во всех отношениях маленький.

Затем разговор зашел о болезни какой-то княгини. Поэтому она не может переехать в Лондон из солнечной Италии. Гуденко перестал слушать.

Ольга Алексеевна вывела на середину комнаты кудлатого низкорослого человечка с длинными, как у обезьяны, руками, объяснила, что он лучший ученик Антона Рубинштейна, и усадила за рояль.

— Чайковский, «Времена года», — раскатисто картавя, объявил пианист и с размаху ударил по клавишам.

Он сидел, несколько отодвинувшись от инструмента, весь подавшись вперед, как будто собирался взять рояль приступом, волосы над низко склоненной головой бурно курчавились на лбу. Гуденке он напоминал черного пуделя, стриженного под льва. За время работы агентом немецкой фирмы по продаже породистых собак он научился разбираться не только в собачьих экстерьерах, но и в их куафюрах. Сейчас, теряясь в догадках, зачем его пригласили в этот многолюдный салон, он пытался отвлечь себя от бесплодных размышлений, прикидывая, с какими породами можно сравнить собравшихся гостей.

Милovidные старушки, сидевшие перед ним, взбитыми седыми прическами и миниатюрностью напоминали болонок, высокий кавалерийский офицер, будто влитой в свою военную форму, — настоящий дог, красивая дама в страусовом боа — шотландская овчарка. У нее и личико удлиненное, и ушки остренькие, как у этих декоративных собак. А самый породистый, самый ценный экземпляр, хоть сейчас на золотую медаль, это, конечно, вели-

чественный швейцар, открывший ему дверь. Настоящий ньюфаундленд. Но всех под эту категорию не подведешь. Огромный старик с расчесанной надвое серебристой бородой похож скорее на белого медведя...

В невинных этих размышлениях он и не заметил, как музыкант кончил свой номер, и опомнился только, когда раздались аплодисменты. Гости окружили пианиста, за сучав сидеть на месте. Гуденко только теперь заметил, что он один был во фраке. Значит, это не обед? Но зачем же все-таки его пригласили сюда?

Он покинул свое место, присоединился к солидным пожилым мужчинам, окружившим огромного старика. Тот разглагольствовал неторопливо:

— Говорят, Чайковский — русский гений. Не берусь судить. Но что такое гений без мецената? Он должен кончить под забором. Моцарта хоронили в общей могиле. Помните? — обратился он к даме в страусовом боа.

— В восемнадцатом веке еще не родилась моя бабушка, — со смехом откликнулась дама в боа. — Воля ваша, но я не Мафусаил.

Все засмеялись, но старик отмахнулся:

— Я не об этом. У Чайковского есть меценат. Госпожа фон Мекк. Вдова железнодорожного магната. А давно ли искусствам покровительствовал Юсупов? В Архангельском бывали и Пушкин, и Александр Первый.

— Вы бы еще вспомнили Лоренцо Медичи, — перебил щупленький господин в пенсне. — Да, действительно, Юсупов был давно и Александр Первый давно. Двадцатый век на пороге. У нас есть еще надежда его увидеть!

— Так я ж о том и толкую! Абрамцевым, гнездом Аксаковых, завладел купец Мамонтов, окружил себя художниками, певцами. Это вы верно заметили про Лоренцо Медичи. Его нынче копируют в Гостином дворе.

Его уже устали слушать, и маленький розовощекий генерал таинственно объяснял господину в пенсне:

Витте долго не удержится. Он ковром стелется перед великим князем Михаилом Николаевичем, ухаживает за Воронцовым-Данковым и воображает, что они опора ему. Но люди этого ранга привыкли: все, что им делают, все по праву. Все так и должно. Благодарности не дождется. Вот увидите.

Лакей разносил почти черный чай в веджвудовских чашках с белыми пастушками на синем фоне, пtifуры в плетеных фарфоровых корзиночках. Это был пятичасовой чай, как тут принято. Гуденко окончательно убедился, что обеда не будет. Нет ли по крайней мере в этой комнате чего-нибудь спиртного? И верно, на круглом столике в углу кучно сбились графинчики с ромом и коньячные бутылки. Он подошел и не глядя, из первой попавшейся бутылки, налил в бокальчик, опрокинул, вытер губы платком и победоносно оглянулся. Теперь он рассматривал не гостей, а самую обстановку этого дома.

Как всегда, когда он оказывался среди роскоши и благополучия, его пугало ощущение собственного ничтожества, и в то же время возникало плебейское желание очернить, осудить все, что его окружало. Мраморные статуи со светильниками в руках по обе стороны двери напомнили ему солдат в кордегардиях у ворот кадетского корпуса. Огромная люстра, переливавшаяся в лучах закатного солнца, неприятно слепила глаза. Темные портреты в благородно-тусклых бронзовых рамах казались ненужными заплатами на затянутых зеленым штофом стенах. Несколько успокоив себя тем, что хотя бы мысленно унизил это обиталище, где чувствовал себя так принужденно, он сообразил, что оставаться около бутылок неудобно. Быстро налил еще рюмку, глотнул и, расхрабрившись, отошел поближе к хозяйке.

Там вели разговор о недавно скончавшемся московском городском голове Алексееве, в которого стрелял некий Андрианов.

— Когда собрали второй консилиум, он простился с семьей, исповедался и причастился, — громко, тоном очевидицы говорила Ольга Алексеевна. — Если боли утихали — шутил. Там вместе с родными не отходил от постели и смотритель московского водопровода. Алексеев ему сказал: «У нас трубы были с трещиной, а теперь и голова с трещиной».

Молодой офицер, похожий на дога, вменялся:

— Государь проездом в Ливадию выразил сожаление об Алексееве и сказал: «А сплетники в Петербурге говорят, что Андрианов мстил за обманутую и брошенную сестру».

— Никакой сестры у Андрианова не было, — возразил старик с раздвоенной бородой, — в тюрьму приехал прокурор, а он спросил: «Ну как, Москва ликует?» «Плачет Москва», — говорит прокурор. Андрианов удивился: «Как странно. А я думал, услугу оказал Москве. Ведь «Русские ведомости» бранили Алексеева». Вон как рассудил, а еще говорят, что террористы уничтожены.

— Полноте, — сказала Новикова, — какой он террорист? Просто маньяк и, как все сумасшедшие, очень хитер. Захотел отличиться. Стать героем. Нынче террористы все переместились в Европу, хотят и здесь всех привлечь на свою сторону. И ведь удастся! В либеральных газетах то и дело статьи всех этих Степняков, Кропоткиных о невыносимой тирании нашего правительства. И все валят в одну кучу — и Пугачева, и царевубийцу Желябова, Разина, Каракозова. Видите ли, именно они жертвы произвола. Великие гуманисты с бомбой под мышкой.

— Самое удивительное, что многие из этих извергов из хороших семей воспитывались в лицах, — сказала одна из фарфоровых старушек.

— Что стоит образование, когда люди утратили бога? — отозвалась Новикова. — Недавно я получила пись-

мо от одного своего протеже, раскаявшегося грешника, автора книжки «Почему я перестал быть революционером». Он-то как раз не из родовитой семьи, из духовного звания. Но, видно, кровь деда взяла свое, вернула на путь истинный. Я попросила его описать эту клоаку, где он пребывал многие годы. Дать портреты этих, с позволения сказать, людей. Надо знать лицо врага. Получила очень интересный ответ. Могу сказать, перо острое. Он не щадит своих бывших единомышленников.

Гуденке показалось, что она говорит, обращаясь именно к нему. Уж не хотят ли его послать обратно в Россию, на помощь Тихомирову, облавливать уцелевших народовольцев?

Господин в пенсне, видимо, очень заинтересовался рассказом Ольги Алексеевны и попросил:

— Но что же он пишет? Показания раскаявшихся грешников самые правдивые. А ведь в радикальных кругах его называют ренегатом...

Ольга Алексеевна посмотрела на него строго:

— Апостола Петра тоже считали ренегатом, а Христос простил. А что до писем, пересказывать долго и скучно. Они так забавны, что лучше почитать кое-какие кусочки.

Она придвинула к себе мозаичную шкатулку, вынула оттуда пачку сложенных пополам листиков, что-то отбросила, что-то отобрала и сказала:

— Он пишет о Лаврове. Об этом властителе дум нескольких поколений заблудших овец. Вот слушайте: «Главным центром был, конечно, Петр Лаврович Лавров. Со смертью Карла Маркса он был самым старым и известным социалистом Европы, тем более что он по своему эклектизму и постоянному заигрыванию со всеми фракциями, мало-мальски получившими успех, был известен всем народностям и всем партиям. Но знаменитость Лаврова была не очень завидной... Маркс сказал о

нем: «Лавров слишком мало читал, чтобы что-нибудь знать». — Ольга Алексеевна победоносно оглядела гостей, как бы приглашая их восхититься эрудицией своего протеже, и добавила: — Не буду вас затруднять чтением всего письма. Вот только еще прочту забавные стишки. Их сочинили его же выкормыши-друзья — якобинцы-ткачевцы:

*Лавр и мирт,  
Говорит,  
Сочетал,  
Говорит,  
Квас и спирт...*

Никто не засмеялся — видно, не поняли соли, но молодой кавалерийский офицер после паузы вдруг заржал громко, и Гуденко понял, что он больше, чем на дога, похож на лошадь.

Ольга Алексеевна продолжала:

— А вот еще забавный эпизод: «Его способность сбиваться в трудные минуты доходила до смешного. Уже будучи знаменитостью, он должен был стать во главе делегации к Гамбетте для протеста против угрожавшей тогда выдачи Гартмана. Понятно, все остальные были мальчишки, нельзя было выставить никого вперед, кроме Лаврова, да и сам бы Лавров оскорбился, если бы не ему поручили речь. Приходят. Гамбетта приказал принять. Отрекомендовав свои звания и представителей эмиграции, Лавров начал свою заранее приготовленную и заученную речь. (К экспромтам он не был способен.) Но речь Гамбетте не понравилась. В ней через пять-шесть слов стояло выражение, что honneur de France — чести Франции — угрожает опасность из-за намерения правительства выдать Гартмана». Как только Лавров произнес honneur de France, Гамбетта с живостью прервал его: «Потрудитесь сказать, что вам угодно»... Перерыв смутил Лаврова так, что депутатам стало просто

совестно. Оратор, помолчав секунду, не нашел ничего лучшего, как начать речь сначала в тех же выражениях и через несколько секунд опять дошел до роковых слов «honneur de France», но тут уж Гамбетта рассердился: «Оставьте honneur de France — честь Франции находится в хороших руках, и вы можете о ней не беспокоиться». Скандал был полный. Не выяснив ничего, делегация удалилась».

Покуда Новикова со странно торжествующим видом читала письмо, в Гуденке закипало негодование. Он знал Лаврова. Не знаменитость революционных кружков, не тупицу-эрудита, каким изобразил его Тихомиров, а соседа по имению, богатого барина, о котором ему, тогда еще маленькому мальчику, с благоговением рассказывал отец: «Ученый человек, фи-ло-зо́ф». Это сказанное по слогам «фи-ло-зо́ф» навсегда врезалось в память, да еще — как великодушно Лавров похерил довольно крупный долг покойного отца, когда мать пришла просить только об отсрочке.

Наскоро выпитый коньяк бросился в голову, и когда Ольга Алексеевна кончила читать, он почти прокричал:

— Все это ложь! Пасквиль! Лавров ученый человек, профессор, фи-ло-зо́ф! — И, испугавшись самого себя, тихо добавил: — И добрый.

Все повернулись к нему, а он боялся поднять глаза. Минутное молчание казалось бесконечным. Потом дама в страусовом боа спросила:

— Вы его знали?

— Сосед по имению, — не глядя на нее, пробормотал Гуденко.

Дама подняла к глазам лорнет и так пронзительно смотрела на него, что, кажется, он впервые понял, что значит выражение «видит насквозь». И вспомнил вдруг, что на его крахмальной рубашке латка под мышкой, заботливо заштопанная женой еще в Нью-Йорке, и снова



мучительно ощутил свое ничтожество. Сбежать бы! Но ноги будто приросли к полу.

А Новикова, совершенно не обращая внимания на его выходку, продолжала то читать, то рассказывать про Лаврова, что он, проживя полжизни в Париже, не заметил, что на улице растут каштаны, что он не умел отличить глупца от умного, собирал библиотеку, где сотни книг так и пролежали неразрезанными.

Улучив минуту, когда она умолкла, Гуденко отклонился и вышел. Он был до отчаяния недоволен собой, и возбужден, и подавлен. В сумерках злоешие растения в зимнем саду, казалось, тянули к нему свои колючие лапы, и когда кто-то тронул его за локоть, он вздрогнул.

Это была Ольга Алексеевна. Она весело улыбалась, играя светлыми очами, и это испугало его еще больше.

— Зачем вы позвали меня сюда... на люди... — хрипло спросил он.

— Я уезжаю завтра в Брайтон, и мне не хотелось, чтобы вы зря теряли время. Вы прекрасно сыграли свою роль. Так смело и неожиданно. Как только вы вышли, меня спросили: «Кто этот нигилист во фраке?» Но ваша осторожность мне кажется излишней. Вы не встретите моих гостей в кругу своих лондонских знакомых. Впрочем, может, я и сама виновата. Вся затея с письмами Тихомирова была устроена специально для вас. Чтобы вы поняли характер подробностей, какие меня интересуют.

Гора с плеч. Гуденко вздохнул и почти спокойно спросил:

— Подробностей? О ком?

— О Степняке. Убийца этот становится слишком популярным в лондонском обществе. Правда, в кругах радикальных, но они-то и умеют создавать моду на своих фаворитов.

Он окончательно овладел собой и сказал:

— Я бы лучше вас понял, если бы мы встретились с глазу на глаз.

Она удивленно подняла брови:

— Меня очень трудно застать дома в одиночестве.

И насмешливо улыбаясь, милостиво поднесла руку к его губам.

## КНИГА ИОВА

Так и сидела она, низко опустив голову. Плоский, приплюснутый профиль, узкий высокий лоб, перерезанный мучительной резкой морщиной. Верочка, Вера. Вера Ивановна Засулич. Старый друг, соотечественница, соратница, скопище воспоминаний, восторгов, негодования, волнений и радостей прожитой жизни. Каждый раз в первые минуты встречи с ней он испытывал состояние возвышенное, душевный подъем. Так было, когда впервые увидел ее в пустой мансарде над лечебницей доктора Веймара, где она скрывалась после покушения на Трепова, уже оправданная судом, но все равно разыскиваемая полицией. Так было и когда Клеменц привез ее в Женеву и она появилась в проеме двери, бледная, с бледной улыбкой на бескровных губах, в черном монашеском плаще с капюшоном. Так и теперь, когда она неожиданно приехала в Лондон, быстро вошла в комнату, бросив на стол старенький, обтрепанный ридикюльчик. Но обыденщина отступила. Он видел героиню. Черная шаль с длинной бахромой сползла с темно-русых, гладко причесанных волос, черная ротонда сброшена с плеч, тяжелыми складками обвисает с кресла. Роденовская статуя. Воплощение скорби, сожаления, отчаяния, может быть, черт его знает чего. И надо же, чтобы именно она сразу, не успев еще кэб отъехать от подъезда, требовала от него решения нудных, ненужных ему сейчас и пото-

му бессмысленных теоретических вопросов по поводу идейных разногласий между освобожденцами и народо-вольцами.

— Ну улыбнитесь, Вера! Стоит ли так огорчаться из-за какого-то абстрактного спора? Вы просто устали. Все мы устали в изгнании. Нельзя же быть такой упрямой. Какой-то умный человек, не помню сейчас уж кто, писал, что отсутствие некоторой доли скептицизма — признак ума ограниченного.

— Лучше уж вы улыбнитесь. Вам привычнее. А то у вас такой вид, будто я полдня перецилировала вас тупой пилой. Но я совсем не хотела... Вы прекрасный, добрый, отзывчивый. Если бы не вы, Жорж давно бы уж был на том свете.

— Подумаешь, подвиг! Помог Жоржу!

— Но это Плеханов, — Вера Ивановна посмотрела на него строго.

Ну и что же? Помог товарищу, когда он умирал от чахотки, когда его надо было перевезти из сырой женевской комнаты в Давос. Вечная эмигрантская нищета. У самого одни долги, у Плеханова еще хуже. Пришлось просить у Пиза, человека изумительно чуткой души, а тот, кажется, добыл еще у кого-то. По частям. Сумма была немалая — восемьдесят фунтов стерлингов. По швейцарскому курсу — две тысячи франков. Но можно ли было поступить иначе?

— О чем вы вспоминаете, Вера? Ставите в заслугу обыкновенный товарищеский поступок, а считаете великим грехом, что я вне всяких групп, программ. Что же, я бездействую, по-вашему?

— Милый Кит, надо знать, чего вы хотите. Вы барахтаетесь в океане эмпирики. Десять романов можно написать, прочитав тысячи лекций. Но это бесприцельная стрельба, если в основе нет теории. Единственной научной теории. Маркс говорит...

Он не дал ей закончить:

— Я носил в узелке первый том «Капитала», когда вы еще под стол пешком ходили. Когда перешел на нелегальное, почевал по чужим квартирам. Смену белья и первый том. Клад вместо думки под голову.

— Побойтесь бога! Мы же почти ровесники. Под стол пешком ходили в одно время, только в разных городах. А что до Маркса... Первый том не помешал вам ударить книжкой Мезенцева.

— А вам стрелять в Трепова.

Губы Веры Ивановны как-то болезненно дернулись. Он пожалел о своих словах. Вспомнилось: Ольга Любатович писала ему, что, когда полуразгромленные народники перешли к террору и начались покушения на министров, жандармских генералов, при каждом таком известии Вера заболела, буквально валилась с ног. Ей казалось, что это она всему виной, она показала дорогу, она вдохновила эту бесплодную борьбу. И самое страшное — она жива, свободна, а десятки ее единомышленников расстреляны, повешены, погибают на каторге. Да и кольнул-то он ее несправедливо. В те поры, когда она стреляла в Трепова, верно, и Маркса-то не читала.

И еще ему было жалко той минуты, когда она молча сидела, как статуя скорби и отчаяния. Такой он представлял ее, пиша портрет для «Подпольной России». Казалось, что услышит сейчас слова простые, вечные, какие можно запечатлеть на камне. А вышло что-то вроде семейной ссоры или прежних полудетских запальчивых споров по поводу очередной прочитанной брошюры.

— А ведь нам за сорок, — сказал он тихо.

— Вот потому-то и пора додуматься до главного. Пока не поздно. Я не говорю, будьте с нами — с Жоржем, Дейчем, Аксельродом. Каждый идет своим путем. Но вы даже не хотите вникнуть, понять, в чем наша правда, какова теперь программа, путь.

Он слушал ее хмурый, по-детски обиженный и вдруг рассмеялся:

— Программа, программа... Куда вы меня хотите затиснуть? Я давно заметил, что прокрустово ложе — любимая мебель догматиков.

Она вскочила с места, ротонда свалилась на пол, и в эту минуту в дверях появилась Фанни, прямо с улицы, в шляпке в каплях дождя, сияющая, розовая, с пакетами в руках.

— Верочка! Вот радость! Надолго в Лондон?

Женщины целовались, разглядывали друг друга. Фанни продолжала расспрашивать:

— Что в Женеве? Как здоровье Жоржа? Что его супруга Розалия Марковна? Все собачки, кошечки? А почему ротонда по полу? А чай? Сережа, о чем ты думаешь? И она повлекла Веру Ивановну в столовую.

Степняк зашагал по кабинету. Не так бы хотелось поговорить после долгой разлуки. А теперь еще позовут чай пить, и инерция неоконченного спора повлечет все туда же. Вера такая настойчивая... Замкнутая, необщительная, сильная и застенчивая. О внешности своей совершенно не заботится, слишком погружена в себя, чтобы заниматься такими пустяками. А что это значит — погружена в себя? Погружена в составление программы группы «Освобождение труда», в заботы о здоровье Жоржа Плеханова, которого считает великим ученым. Ну и, конечно, в свою литературную работу. Пожалуй, не погружена в себя, а бежит от себя? От чего-то глубоко запрятанного, очень печального, о чем не надо думать. Странно, что она так искренне и преданно любит Фанни, такую земную, даже практическую, не чуждую ничего житейского. А может, и не удивительно. Фанни естественна, непосредственна, ни позы, ни кокетства. Вера ненавидит всяческую аффектацию. Полюбите нас черненькими, без прикрас. Вспомнить страшно, как она разнесла

его за свой «профиль» в «Подпольной России». Чего только не нагородила в своем письме! Особенно ее разозлило место, где говорится о ее хандре, как у царя Саула, и что она ночью гуляет в одиночестве по горам. Романтическая дымка казалась ей непереносимой — все это выпренность, фальшь, унижительное прикрашивание. Да и вообще, по ее мнению, про живых людей, к тому же своих приятелей, пишут только бульварные романисты. Настоящие писатели своих друзей, да еще под собственными именами, не выводят. Может, и правда, перехватил он, увлекся — горы, озера... Оссиан какой-то. Но разве автор не имеет права дать волю своему воображению?

Было огорчительно читать ее письмо. Было бы очень обидно и до сих пор, если бы он умел долго обижаться. Но, подавив обиду, он все-таки сразу ответил ей. Со всей мягкостью пытался растолковать, что люди слишком интересуются личностями, принадлежащими истории. Грех писателю ждать смерти своих героев, чтобы дать истинное представление о тех, кто может служить нравственным примером. Можно стараться затушевать частную жизнь героя, но обойти ее нельзя. Тогда нравственная личность общественного деятеля, ставшего уже фигурой исторической, окажется в тумане.

Надо было писать портрет Веры так, как он был написан, или не писать его совсем. В конце письма он не удержался, позволил себе выпретенную фразу: «Этого я не сделал из сострадания к истории».

Убедил ли он ее? Тогда не верилось, что убедил. Но спустя несколько лет ему передавали, как жарко Засулич спорила с теми, кто считал героев «Подпольной России» слишком идеализированными, даже сусальными. Она доказывала, что в его портретах схвачены верные черты. Их мог найти только тонкий и чуткий художник. Но темперамент его заставил озарить лица таким ослепительным светом, что они показались тусклому, прозаич-

ческому взгляду очевидцев преобразенными и даже преувеличенными. «Вините себя за неумение видеть лучшее», — упрекала своих оппонентов Вера.

Хватило же у нее тогда широты и терпимости, чтобы понять его. Куда же все девалось? «Программы», «бесприцельная стрельба», «океан эмпирики», «надо знать, чего хочешь»... Он прекрасно знает, чего хочет, но еще лучше — что может и чего не может.

Он не может вернуться в Россию, где его схватят, как схватили Стефановича, Дейча, Ольгу Любатович. Мало — схватят. Прикончат. За генерала Мезенцева им следовало бы дважды повесить его, если бы это было возможно. Но, оставаясь в Англии, он обязан действовать. Он не может спокойно сидеть и глубокомысленно разрабатывать программы, которые когда-то где-то кому-то помогут. Он пишет, потому что не может здесь действовать иначе. Пишет, чтобы рассеять ложь и клевету официальной русской прессы. Доказать, что народо-вольцы не кровожадные честолюбцы, рвущиеся к власти, а самоотверженные, бескорыстные, чистые люди. Праведники. Народо-вольцы войдут в историю. Никуда не денешься, войдут. И писать эту историю надо по свежим следам. А для истории гораздо важнее знать, что они сделали, а не о чем спорили. Но почему не удастся объяснить это Вере? Какая скука вести все эти отвлеченные разговоры, и раздражаться, и в пылу полемики обижать друг друга. Терпимость — вот чего всем не хватает. Умения понимать, что разные люди разными путями идут к одной цели.

— Сережа! Чай стынет! — крикнула из-за двери Фанни.

Надо идти к дамам. И, как часто бывает с людьми покладистыми, миролюбивыми, если они испытывают слишком сильный напор чужой воли, ему захотелось подразнить Веру, прикинуться дурашливым, легкомысленным, беспечным...

В столовую он вышел, улыбаясь, расправляя пятерней взлохмаченные волосы, спросил:

— О чем же вы тут толкуете?

— Я рассказываю Вере, как тяжело было Энгельсу, когда умерла его домоправительница. Ленхен ухаживала за ним, как за малым ребенком.

И по тому, как Фанни слишком поспешно и обстоятельно ответила, будто по книжке прочла, он понял, что разговор шел о другом. Должно быть, Вера жаловалась на его равнодушие к всяческим программам. И с той же напускной беспечностью продолжал:

— Да, с Ленхен это... тяжелая история. Но у меня сегодня не получается о тяжелом. Все звенит, вертится в ушах веселенький мотивчик. Помните, Вера, как Лядова из «Прекрасной Елены» пела: «Вот, например, моя мамаша...»?

— Я никогда не была в оперетке, — сухо оборвала Вера Ивановна.

— Да и я бывал не часто. Только «когда я был аркадским принцем». И жил по паспорту грузинского князя, носил серебристый цилиндр и платил дворнику такие чаевые, что до сих пор ему завидую. Но как же это дальше-то слова? «Вот, например, моя мамаша, когда к ней лебедь подплывал, который был моим папашей...» Неужели не помните, Вера? Весь Петербург распевал.

— Не помню.

— Экая досада! Такой веселенький мотивчик...

— Как-то странно ты веселишься сегодня, — сказала Фанни. Она уже давно с недоумением смотрела на мужа. — Но вы не верьте ему, Верочка. Он серьезную музыку любит. Сейчас просто влюблен в одного мальчика, вундеркинда-музыканта, Марочку Гамбурга. Письма в стихах ему пишет. Правда, белыми стихами

— «Который был его папаша», — напевал Степняк и вдруг оборвал: — Голос у меня писклявый, как сказал



один рабочий из питерского кружка на допросе. Больше не буду терзать ваши уши. — И тут же запел: — «Который был...»

— Я, пожалуй, пойду. — сказала Вера Ивановна и стала быстро одеваться

Фанни вызвалась ее проводить.

Все так же недовольный собой, Стенняк вернулся в кабинет. Заходящее солнце косо освещало картину на стене, недавно подаренную молодой художницей, кузиной Пиза. Он еще не успел к ней привыкнуть и теперь по-новому увидел ее в этом освещении. Картина была написана в манере условной, чуждой ему, поклоннику передвижников. На фоне угрюмого городского пейзажа, с однообразными кирпичными зданиями, черными фабричными трубами, стояла неправдоподобно высокая женщина с вдохновенно-скорбным лицом, держа за руки двух девочек с печально поникшими головками. Длинная фигура, казалось, освобождалась от земного притяжения, уходила ввысь над домами, над фабричными трубами, хотя на самом деле не была выше их. Так бывает. Засулич среднего роста, а кажется высокой, больше чем высокой, уходящей ввысь. Такими видятся иногда монахини. Она и есть монахиня — в этой шали, в черной ротонде. Что-то монашеское, ладаном и воском отдающее, давнее, русское, упрямое всплывало...

Давным-давно, еще до безумного московского лета, до Кати Дубенской, до Коли Морозова, вскоре после неудачи с хождением в народ с Рогачевым, жил он на окраине Самары в сером бревенчатом доме с резными ставнями, за высоким глухим забором, над которым покачивались серебристые верхушки ракии. Жил у старика старообрядца Алексея Степановича Залогина в ожидании, когда выправят ему фальшивый паспорт. Без него ни в

Питер, ни в Москву, ни даже на Рязанщину к молоканам показаться нельзя. А именно туда, одержимый наивными юношескими надеждами, и располагал он двинуться. Было тогда недолгое поветрие пропагандировать сектантов. Сильно надеялись на их бунтарский дух.

Так и осталось неразгаданным, почему старик Залогин пустил его в свой дом. Пустил поспешно, с большой охотой, не нуждаясь ни в деньгах, не тяготясь одиночеством. Было что-то таинственное в этой поспешности, казалось, старик торопится поселить около себя свидетеля скромной и беспорочной жизни.

Жил он одиноко, без семьи, да и была ли когда она у него, никому неизвестно. Глухонемая стряпуха, как видно тоже единоверка, приходила рано утром и исчезала к полудню. В доме все сияло щегольской чистотой — крашенные полы отливали шоколадным глянцем, свет малиновой лампадки отражался в стеклах горки с посудой. На столе на штофной сапфирово-синей скатерти кучей лежали старинные книги, переписанные вязью, может, еще во времена протопопа Аввакума, захватанных чугунно-серых, с выпуклым орнаментом, переплетах.

Сам старик был так же свеж и опрятен, как и его жильё. Высокий, молодецки стройный, ходил он в синей поддевке, косоворотке вишневого цвета, зеркально блестящих сапогах. Гладкие седые волосы, колючие на вид, как проволока, стриженные не по-крестьянски, не по-купчески, в скобку, а коротко, как у солдата. Жесткие седые усы не скрывали безгубого рта. Ярко-синие глаза, узкие, бесстрашные, обдавали таким холодом, что даже озорные слободские ребятишки разбегались врассыпную, завидев его на улице.

Но под внешним благообразием старика, под торжественной неторопливостью его походки, медлительностью, почти зловещей, его движений таилась отчаянная удаль, еле сдерживаемый размах. Он прорывался в жесте, ка-

ким он сбрасывал на лавку поддевку, швырял без промаха картуз на гвоздь, со стуком переворачивал вверх дном чашку напившись чаю. В однообразной своей бессобытийной жизни весь он был, как натянутая струна — вот-вот оборвется.

В те времена в Заволжье ходили легенды и даже песни слагались о купцах-пароходчиках, все богатство которых началось с разбоев на большой дороге. Глядя на своего хозяина, он не раз думал: «Вот и такой мог бы». Но что делал Залогин в те годы, так и осталось тайной. В доме он иногда не ночевал. Где же пребывал он в эти ночи? Был ли связным между теми старообрядцами, что жили на горах, и теми, что в лесах, торговал ли старыми книгами, — бог весть. Но чудилось почему-то, что тайна его жизни скрыта не в лесных старообрядческих скитах, а на лесных разбойничьих дорогах.

В ту пору и сам он томился тоской бездеятельности. Впереди — тревожная, непривычная жизнь нелегального. Из Петербурга приходили вести, что их с Рогачевым ищет полиция, что был арестован двоюродный брат Рогачева и у него допытывались, зачем его родственник ездил в Тверскую губернию и почему его спутник Кравчинский, прослужив после окончания артиллерийского училища всего лишь год на военной службе, вышел в отставку, поступил в Лесной институт, да и там не продержался больше года? В чем тут заковыка? Что же, эти годы учения понадобились для подготовки к ремеслу пильщика? Несчастный студент, совсем неподготовленный к этому ехидному допросу, выкручивался, кажется, не очень ловко. Все эти сообщения говорили о том, что торопиться в столицу не следует.

В Самаре он почти никого не знал — два-три знакомых студента с уже наклеенными ярлычками неблагонадежных. Показываться в студенческом кругу в его нелегальном положении было не к чему. Он проводил оди-

нокие вечера с затрепанным томиком французского попа расстриги Ламеннэ. Томик этот он штудировал в смутной надежде то ли перевести, то ли переделать его на русский безбожный лад. Если получится, можно напечатать в Женеве и переправить обратно в Россию.

В иные вечера, не каждый раз, но и не однажды, Залогин приглашал его на свою половину чаевничать. Вот тут уже не было ни тайны, ни загадки. В случайном разговоре уверившись, что постоялец знает священное писание не хуже его самого, старик затевал с ним беседу похожую не то на состязание в начетничестве, не то на спор. И особенно запомнился тот вечер, оказавшийся последним, когда разговор кружился вокруг любимой главы Залогина — книги Иова. Самой страшной и беспощадной книги Ветхого завета.

Как всегда, он принес кружку и блюдце из своей комнаты, чтобы не опоганить посуду старовера. Хозяин щедро навалил ему в блюдце малинового варенья, подвинул тарелку с просфорно-белыми мятными пряниками и без лишних предисловий спросил:

— Значит, не веруешь?

Он мотал головой, не отвечая, улыбался дерзкой улыбкой человека, сознающего свою силу и неуязвимость.

Залогин хмурился.

— А помнишь, что бывает с беззаконными? «Днем они встречают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью. Наказания Вседержителя не отвергай».

Притворно-томно он откликнулся:

— Ах, «душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих»

Наваливаясь грудью на стол, Залогин впери в него взгляд ледяных глаз и громко, как дьякон в церкви, стал вычитывать:

— «Надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Спроси скота, и

он научит тебя, спроси птицу — возвестит, побеседуй с землей, и наставит тебя».

Прикидываясь разочарованным и обиженным, с трудом сдерживая улыбку, он отвечал:

— Ах, «я пресыщен унижением... Когда подумаю: утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое, ты страшишь меня снами, и видениями пугаешь меня».

Теряя обычную невозмутимость, старик позвякивал ложкой в пузатой чашке с розанами, безгубый рот кривился. Кравчинскому становилось смешно. Всех-то он старался распропагандировать. Каждого встречного-поперечного. В вагонах, на проселках, в университетских коридорах, в чиновничьих гостиных. Но, как всегда, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В старообрядческой избе сам оказался мишенью пропаганды. К тому же еще лицемерной, потому что было совершенно очевидно, что старик одержим совсем не религиозным чувством, а духом соревнования, в котором последнее слово непременно должно было бы остаться за ним. Все это получалось забавно, и он беззастенчиво рассмеялся вслух. Залогин постучал чашкой по столу:

— «Веселье незаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна».

Но собеседник сразу нашелся. Безудержное веселье овладело им. Прекрасная книга Библия! Можно найти любую реплику для пьесы, какую они, не сговариваясь, решили разыграть. Он спросил:

— «Часто ли угасает светильник у незаконных? В день гибели пощажен бывает злодей».

Старик было опешил, рывком отодвинул от себя чашку, расплескав на скатерть, но, напрягши память, нашел цитату:

— «О, если бы вы только молчали! Это было бы вменено вам в мудрость».

— Сдаюсь! — он поднял руки вверх. — Вот настоящие мудрые слова. Но почему вы так привержены к книге Иова? Книге несправедливой, жестокой, где праведника подвергают испытаниям, каких не заслужил и злодей?

Старик зыркнул холодными глазами, как бритвой полоснул. Ответил не сразу

— Власть всегда жестока. Власть божья жесточе всех. Нет ей границ, нет выше справедливости

— Значит, всю жизнь гни выю? Пощады не будет?

— И согнешь. Ждать-то недолго.

В словах его почудилась угроза. Не пора ли переменить квартиру? Хотя не приходилось слышать, чтобы староверы работали на жандармов, а вдруг?.. Но старик продолжал миролюбиво:

— Жизнь человека в руке божьей. Судьбой его ведет бог. Не нам судить о его доброте. Веруй, и будет тебе облегчение.

— Веруй! Это же костыль безногому. А кто стоит на ногах?

И тут впервые за весь вечер он увидел, как старик улыбнулся. Вернее, оскалил неправдоподобно белые зубы, отвратительные своей белизной на желтоватом стариковском лице. Переспросил:

— Кто стоит на ногах? А тому под дых

Повернулся и вышел из комнаты, видно боясь, что последнее слово останется не за ним.

Поздно вечером пришел незнакомый студент, сообщил, что документ готов и уезжать можно хоть завтра...

Почему так отчетливо, до каждого волоска, запомнился этот старик, не имевший никакого значения в его жизни? Почему он вспомнился сегодня? Ностальгия мучает. Все наплывает, накатывает прошлое, как морская волна, накрывает с головой. Преждевременная старость,

должно быть. Старики, как известно, живут воспоминаниями. Но как проследить закономерность запоминаемого? Найти связь между сегодняшним и давним? Что общего между картиной английской художницы, посещением Веры и самарским стариком? Как разобраться в избирательности памяти, существующей как бы независимо от нас?..

Верую, говорил старик. Верую — значит ставлю нечто выше разума. Верую в бога, говорил он, верую в теорию, говорит Засулич. Многим, очень многим нужен посох культа. Обопрешься — вроде и идти легче. Подперт. Существоешь на иждивении кем-то уже выработанного, выверенного, взвешенного, незыблемого. Но ведь это не только другие. Если покопаться, верно, и сам такой же? И чем гордиться? Воображаешь себя вольной птицей. Рассуждаешь, догма, не догма, а сам всегда, покуда существовала партия, подчинялся партийной дисциплине. С Рогачевым ходил в народ с благословения чайковцев. Уехал с Волховской за границу, потому что послали землевольцы. И потом, после Мезенцева, хоть и упирался, не хотел покидать Россию, а все-таки подчинился товарищам, поверил, что, кроме него, некому производить какие-то эксперименты с динамитом в Швейцарии. А они просто берегли его жизнь. Но и оторвавшись от России, давал обязательства партии, написал письмо в Исполнительный комитет «Народной воли» о том, как будет вести заграничную пропаганду. Дисциплина, догма... Те же наручники? Нет. Запутался. Дисциплина — долг совести. Догма — формализм сознания. Формализм плохо влияет на совесть.

Хватит копать в себе. Голова раскалывается.

«Милый Кит» сказала сегодня Вера. «Счастливый Кит» называли его чайковцы в Петербурге. Счастливый — это, верно, удачливый, довольный собой, бездумный...

Вечером в скучном гостиничном номере, усталая и раздраженная, Вера Ивановна писала при свете тусклой настольной лампы письмо к Плеханову:

«...Вы как-то советовали Кита не забрасывать на том основании, что он животное честное и хорошее. Я совершенно согласна, что честное и хорошее, но о чем с ним говорить? Гинзбург сам молчит, но, по крайности, знаешь, что по его соц.-дем. званию он должен интересоваться всем соц.-демократическим, ну и трещишь, сообразно с этим. А Сергей? Не придумаешь ему темы: а ехать же в такую даль, чтобы помолчать, как-то обидно».

## ХОД КОНЕМ

— Лиха беда начало, лиха беда начало, — бормотал Степняк и улыбался немного смущенно, потому что казалось, что похваливает сам себя.

Как все оптимисты, он всегда верил в успех задуманного дела, считая, что очень нерасчетливо огорчаться в ожидании неудачи и еще раз отчаиваться, когда она и в самом деле постигнет. Более слабый человек мог совсем приунуть, пока тянулись хлопоты, связанные с типографией для изданий Вольного фонда, но теперь все было позади. Помещение арендовано, русский наборщик найден, а Гуденко даже раздобыл кудрявые, затейливые елизаветинские шрифты.

Все нравилось Степняку в этой просторной комнате, заставленной наборными кассами: и зарешеченные мелкими переплетами окна, и каменный пол, залитый несмываемой фиолетовой типографской краской. Он сидел развалясь на зеленой садовой скамейке, неизвестно почему затесавшейся в это сугубо служебное помещение, и благодушно рассуждал с Волховским о преимуществах деятельности эмигрантов в Англии. Гуденко, горделиво



державший на коленях зеленый портфельчик с русскими шрифтами, слушал эту беседу наострив уши.

Друзья вспоминали, как разгромили в Женеве типографию «Народной воли».

— Несомненно, это была работа русской агентуры в Париже, — говорил Волховский. — Хитроумный Рачковский, бдительный и всеведущий, дирижировал операцией. Да и сработано было в русском стиле — раззудись, рука! Шрифты — будто каток по ним проехал. По переулку — смерч из клочков рваной бумаги. Вот уж муниципалитет спасибо не сказал. Европейцы работали бы аккуратнее — небольшой пожар, все залито водой, и концы в воду.

— Ты говоришь «хитроумный Рачковский», — возразил Степняк, — в том-то наше счастье, что хитрости у них хватает, а ума ни на грош. Нет нравственного чутья, воображение отсутствует. Меряют на свой аршин. — И, поймав недоуменный взгляд Гуденки, объяснил: — Они хотели поссорить эмигрантов. К тому времени уже образовалась группа «Освобождение труда», и вскоре должен был выйти их первый сборник. Это предваряли, как водится, дискуссии, разногласия, темпераменты спорщиков... Рачковский вдохновился — разделяй и властвуй! Вали разгром на освободителей! Перегрызутся, авось и нам что-нибудь перепадет. Здорово сообразил, об одном только не догадался, что у людей есть совесть. Вот что я называю отсутствием воображения. И, конечно, никто не подумал, что разгром учинили освободители.

— Даже Тихомиров не поверил, — сказал Волховский.

— Это какой Тихомиров? — спросил Гуденко. — Тот, что написал «Почему я перестал быть революционером»?

Он прекрасно понимал, что речь идет о том самом Тихомирове. Фамилия его запомнилась со дня злосчастного приема у Новиковой. С тех пор и осталось ощущение, что пасквилянт этот оплевал не только Лаврова, но

вместе с ним и его детство, лучшие дни жизни, и отца. Но как ни противен ему был Тихомиров, он все-таки хотел допытаться, не готовят ли в Лондоне какое-нибудь злоумышление против этого протеже Победоносцева.

Степняк охотно подтвердил:

— Тот самый Тихомиров. Ренегат. Ренегат перед своей партией, а перед самим собой? Каким был, таким и остался.

— По-твоему, это лучше или хуже? — несколько раздраженно спросил Волховский. — По-твоему, простиительно?

— Не берусь ни судить, ни наказывать. Трибунал не моя кафедра. Я только хочу сказать, что он о себе правду написал. Не по убеждению, а по инерции пришел в революцию. Обыватель. Когда вспоминаю его лицо с чиновничьими бакенбардами, бритый подбородок, лынялые волосы, скучновато становится. И это вечное его стремление к централизму, к иерархии, тут тоже нечто отталкивающее, бюрократическое. Иерархию выдумали чиновники для комфорта. Чтобы мозгой не шевелить. А вот литературные способности у Тихомирова были...

— Ну уж... — вскипел Гуденко и осекся.

— А вы читали его опусы? — поинтересовался Волховский.

— Ничего я не читал, а просто полагаю, что у низкого человека и таланта быть не может.

— Пожалуй, вы слишком идеализируете законы природы, — рассмеялся Степняк. — Талсйран, например, был безусловно талантлив и не в меньшей степени подл.

Гуденко слушал его с напряженным вниманием. Эх они запросто рассуждают о великих мира сего! И откуда могут быть известны тайные замыслы Рачковского? Обо всем этом надо думать. А думать ничуть не хотелось.

В последнее время Гуденко совсем было пал духом. Мечты и надежды на молниеносную и блистательную карьеру гасли и растворялись в лондонском тумане, как дым. Издательские дела двигались туго, «преступные эмигранты» то ли бездействовали, то ли слишком хорошо скрывали свои замыслы и связи с Россией. К тому же он был ленив и неопытен. Жил в ожидании счастливого случая и почти перестал писать Рачковскому. Он всегда был подвержен внезапным решениям и поступкам, но при малейшем препятствии решительность сменялась апатией и приступами трусости. Свою бездельность он оправдывал осторожностью. Его тревожило поведение Волховского, который был любезен и доверчив, но вдруг позволял себе какой-нибудь намек. Вот и сейчас: зачем ему знать, читал ли он Тихомирова? Не так давно рассказал, как некий незадачливый агент из команды Рачковского разлетелся к Кропоткину. Выдавал себя за состоятельного человека, собирался субсидировать его газету «Révolté». Святая душа, анархист-гуманист Кропоткин оказался не так-то прост, — не откладывая, потребовал денег. Агент попятился, заюлил, сказал, что должен получить аванс за патент на универсальный светильник. Кропоткин захотел посмотреть изобретение, и ему показали дурацкий подсвечник с тремя проволочками, какой даже в кухне стыдно поставить. Предприятие лопнуло. Тут, конечно, и Рачковский виноват, вернее, Петербург. Вечно жмутся с деньгами. Но суть не в этом, а в том, что аналогия полная. Он тоже «богатый человек» и тоже подкидывает средства на нелегальную литературу. Пока что спасают американские рекомендации. Но понять бы все-таки, к чему была рассказана история про агента и Кропоткина?

Он мучился сомнениями, совсем забросил своих подопечных. Подружился с дьяконом из церкви при русском посольстве, запивохой и картежником. Каждый вечер иг-





рал в винт с ним, сварливой мужеподобной дьяконицей и безмолвным шифровальщиком. Вечера проходили незаметно, но временами его приводила в бешенство мысль, что, живя в европейской столице, он пребывает в обществе, в каком мог бы оказаться где-нибудь на Пошехонье или, еще того хуже, в сибирской ссылке.

В последнем письме Рачковский выражал неудовольствие по поводу дела с Вольным фондом. Торопил. Безумный мир! Жандармский генерал торопит выход нелегальной литературы и еще интересуется, достаточно ли он хорошо информирует Новикову, которую назвал в письме «известной особой»

Но служба есть служба, и, сделав над собой огромное усилие, он раздобыл через посольского шифровальщика русские шрифты. Эта удача совпала с тем, что Волховскому удалось арендовать типографию и найти наконец русского наборщика.

Он и появился в это время в комнате, прервав тревожные размышления Гуденки и поразив всех своей внешностью.

Это был странный человек в гарибальдийской шапочке на длинных золотистых седеющих кудрях, с белокурой бородкой, в порыжелом черном плаще. Этаким вылинявший Джузеппе Гарибальди. По-видимому, он привык к тому, что его костюм вызывает недоумение, и почти с первых слов коротко и деловито рассказал свою биографию. Питерский студент, исключенный из университета за участие в демонстрации на Казанской площади, поехал за границу в качестве репетитора и гувернера сыновей некоего просвещенного купца. Года два пропутешествовал по Европе, в Россию вернуться не захотел. Некоторое время мыкался в Лондоне и загорелся вдруг идеей вдохновить своего кумира Гарибальди двинуть в

последний поход в любое место земного шара, лишь бы бороться за республику. Но к тому времени, когда собрал деньги на дорогу, овеянный мировой славой герой скончался на Капрере. С тех пор его уже больше не увлекают романтические мечты. Из Лондона он не выезжает и живет, перебиваясь с хлеба на квас, зарабатывая на жизнь то уроками в русских семьях, задержавшихся за границей, то работая в качестве наборщика в английских типографиях, принимавших мелкие заказы на афишки, визитные карточки, пригласительные билеты. Гуденке он показался человеком неумным, сумасбродным, но опытным. Особенно после того, как сказал, что набирать «летучие листки» и прокламации елизаветинской гарнитурой все равно что Стеньке Разину обращаться к народу по-французски. Это порадовало. Поиски других шрифтов давали повод для более частых встреч с его подопечными. Наборщик оказался полезен. Но все же Гуденко не удержался и спросил:

— А как англичане относятся к вашему маскараду?

— Равнодушно, — отрезал наборщик. И, подумав, добавил: — Воспитанные люди.

Гуденко перенес этот щелчок стоически и промолчал. Но после, когда уже ехали втроем в омнибусе, чтобы обмыть у Степняка начало нового предприятия, он с особым недоброжелательством наблюдал этих «воспитанных» лондонцев. Солнце близилось к закату, весь день стояла жара, и небо было безоблачно, однако юные клерки чопорно шествовали, держа зонтики под мышкой. Мыслимое ли дело представить себе питерского письмоводителя с зонтиком в солнечный день? А тут и военные не брезгают такой предусмотрительностью. В жизни не видел русского офицера с зонтиком! А впрочем... Он оглянулся на Степняка, который сидел позади. Впрочем, когда неизвестный напал на Мезенцева, гулявший с ге-

нералом полковник Макаров замахнулся на злоумышленника... зонтиком. Об этом во всех газетах писали, только осталось загадкой имя преступника. Но он-то его узнал довольно скоро. Кузен-чухонец, издеваясь над тупоумием следователей, рассказывал, какой они там плутовской роман нагородили. Чистый Лесаж! А все из-за пресмыкательства перед царем, который захотел вмешаться в это дело. Но об этом забыть. И не только сейчас, когда он едет к Степняку. Забыть навсегда. Долго ли проговориться под пьяную лавочку? Такую осведомленность не простят.

К Степняку они ввалились в самом беззаботном настроении и застали гостей, приехавших из Ньюкасла. Друзья Эдуарда Пиза давно мечтали познакомиться с хозяином дома. В кресле у окна сидела Лилиан Буль, учительница музыки. Когда-то она сама брала уроки русского языка у Сергея Михайловича, привязалась к нему, стала другом семьи. Впрочем, знакомство началось еще раньше. Она читала статьи Степняка о России, ее восхитила сама личность автора, и она захотела узнать его поближе.

Загремели тарелки, зазвенели стаканы. Фанни и Лили тонкими ломтиками нарезали баранье филе, Волховский побежал с кувшином за пивом в ближайший трактир, и не прошло получаса, как вся компания расположилась за столом. Было тесно, шумно и весело. Гости из Ньюкасла — их было двое, рыжеволосый восторженный банковский клерк и бесцветная застенчивая учительница, хотели без конца слушать о России. Далекая эта страна казалась им загадочной, жуткой и привлекательной. Они учтиво пережидали взрывы смеха и снова расспрашивали.

Постепенно разговор свелся к общим проблемам: оскудению дворянства, обнищанию деревни, грабежу и взяточничеству на строительстве железных дорог. Рус-



ские, собравшиеся за столом, давно покинули родину, и, как ни странно, только англичанка могла поделиться более свежими впечатлениями. Она недавно вернулась из России.

— Я провела там почти два года,— объяснила она гостям из Ньюкасла.

Говорила она по-английски, но иногда не без гордости вставляла русские выражения.

С гладко причесанной головкой, крепко сжатыми губами, она сразу понравилась Гуденке, потому что была похожа на ту питерскую репетиторшу. Но почему-то особая прелесть, в его глазах, заключалась в том, как она лепетала по-русски.

Снова войдя в роль фрондирующего русского барина, Гуденко упомянул о Лаврове. Он даже дерзнул привести эпизод в салоне у Новиковой, конечно, не называя ее имени, и заслужил заступничеством за Лаврова общее одобрение.

Однако что делала эта Лили два года в России? Не может ли она быть связной? И зачем обучалась русскому языку? Он даже пересел к ней и спросил, чем она занята по воскресеньям.

Она рассмеялась:

— О, суета сует. И всяческая суета.

Улыбка Гуденко ее немного обидела. Отвернувшись, она стала рассказывать, как жила в Петербурге у сестры Фанни — Паши Карауловой. Ей даже приходилось носить передачи ее мужу в крепость. Тут Гуденко еще больше насторожился.

— Когда маленького Сережу, сына Карауловых, спросили, где его папа, он ответил: «В клетке»,— задумчиво произнесла Лили.

Степнякам эти подробности были уже знакомы по письмам. Ведь мальчик был племянником Фанни, но они молчали. Пусть послушают приезжие.

— Какое же преступление совершил этот Василий Караулов? В чем его обвиняли? — спросил рыжеволосый.

— Кажется, он еще ничего не успел совершить. У него только было особое мнение.

— Как у нас в парламенте? — пошутила до сих пор молчавшая женщина.

Все за столом умолкли, когда речь зашла о похоронах Салтыкова-Щедрина. Даже Фанни вышла из кухни послушать. Но Степняку пришлось прежде рассказать, кто был для России Салтыков-Щедрин.

— Трудный для перевода писатель, чтобы оценить его, надо знать все причуды и парадоксы русского быта.

— А я перевела несколько его сказок, — вставила Лили.

С помощью Степняка Лили дорисовала эту исключительную фигуру. Вице-губернатор, высокое лицо, важный чиновник, он без всякой пощады обличал нелепые, бессмысленные порядки государства российского в своих сатирах.

— Он был как Свифт. Очень язвительный, — говорила она.

— Его похороны превратились в грандиозную демонстрацию. Об этом писали все газеты, — вставил Степняк.

— Я была на похоронах. Я могу рассказать.

...В тот день улицы Петербурга были наводнены пешими и конными жандармами. Люди спрашивали: где понесут? Им указывали ложные маршруты. Лили побежала к дому, где жил покойный писатель, откуда должны были вынести тело. А там толпа. У кладбищенских ворот народу еще больше — не пускают. Говорят, только с венками. И еще, как бы в насмешку, только с серебряными венками.

— О, река цветов поплыла к могиле. У меня был маленький букетик. Кто-то взял его из рук, и я видела, как мой букетик тоже поплыл, качаясь, над головами...

Гуденко не мог отвести глаз от Лили. Как она все-таки похожа на Елизавету Дмитриевну, ту смоляночку, учившую его английскому!

Он закурил и, отгоняя дым от ее лица, сказал:

— Вы так свободно говорите по-русски. Сергея Михайловича можно поздравить с такой ученицей.

— О, он меня многому научил. Не только языку.

— Чему же еще, если не секрет?

— Быть человеком, например...

— Хотел бы понять, как преподают такие уроки?

Лили помедлила с ответом, подыскивая слова, и наконец нашлась:

— Уроков не нужно. Сам человек и кто вокруг. Его друзья.

— Их так много в Лондоне?

— Они есть всюду. Когда я поехала в Париж, Степняк дал мне письмо к Лаврову, а тот познакомил еще и еще. А сам Лавров, кажется, лучше всех. Он похож на большая медведица, — сказала Лили, несколько запинаясь.

— На целое созвездие?

Лили смутилась:

— О нет. Я ошиблась. Я хотела сказать — на белая медведь. Он такой большой, седой, немножно лохматый...

— Вот, значит, каков он нынче, — медленно проговорил Гуденко.

— А что такое «каков»?

Но сколько ни бился Гуденко, пытаюсь объяснить это загадочное слово, у него ничего не получалось, пока под общий смех не пришел на выручку Степняк.

Заказанная гостями карета приехала точно в срок, к одиннадцати часам. Все высыпали на улицу, распрощались, как старые знакомые.

Издали, с Темзы, дул резкий ветер. Погода изменилась, начинал накрапывать дождь. Карета могла вместить только четырех пассажиров, и ньюкаслцы захватили

с собой мисс Буль и Волховского, с которыми им было по пути. Гуденко пошел было в дом за шляпой, чтобы тоже отправиться к себе, но Степняк остановил его.

— На узкоколейку вы уже опоздали. Последний поезд уходит в одиннадцать десять. Сейчас начнется дождь. Кэба в наших краях скоро не найдешь. Почаевничаем, а там видно будет.

Отказываться не было ни малейшего желания.

Степняк вел себя, как любезный хозяин, угощал.

Фанни Марковна тоже была приветлива и весела, расхваливала Лили, говорила, что она вместила в себя все английские добродетели и ни одного английского порока.

Вдруг распахнулось полузакрытое окно, стукнул о ставни drobный ливень, какой-то поспешной скороговоркой обрушился на наличники, сразу залив подоконник.

— Грозы еще нет, но будет, — сказал Степняк.

— Как хорошо, что вы остались, — как бы продолжая его мысль, проговорила Фанни. — Вымокли бы до костей.

— Никак не ожидал в здешних краях тропических ливней.

Слова Гуденки заглушил отдаленный раскат грома.

— Ну, теперь надолго, — сказал Степняк. — Слышите, надвигается издалека. Ветер с моря. Должно, из Брайтона. Это вам не наша континентальная гроза «как бы резвяся и играя грохочет в небе голубом». Здесь — все-рьез и надолго, — улыбаясь, он посмотрел на Гуденку. — Знаете что? Оставайтесь-ка ночевать. Уложим вас в кабинете, наверху. У нас ведь не так, как здесь положено. Спальня на первом этаже.

Гуденко никак не ожидал такого радушия и пробормотал:

— Но я боюсь стеснить...

— А это совсем напрасно. Если по совести — вы сте-

сните гораздо больше, если мы втроем будем пережидать грозу до рассвета. А под ливень я вас все равно не отпущу. Так что — пошли наверх!

Только оставшись один в кабинете, Гуденко понял, какой открывается для него шанс. В другой раз такое не повторится. И, может, самое забавное, что он не сделал для этого никакого усилия.

Громыхнуло. Гром раскатился где-то над кварталом позади дома. В черноте неба прорезался оранжевый зигзаг, и в свете молнии блеснул массивный ключ в ящике письменного стола. О, простецы, простецы! Кого вы впустили в свое логово? Он испытывал некоторое сочувствие к своей будущей жертве и в то же время ликовал. Какие тайны хранятся в этом неказистом, даже обшарпанном письменном столе? Ведь нельзя представить, что их нет, и нельзя допустить, что они запрятаны где-нибудь под половицей. Если даже и не откроется сейчас некий сенсационный заговор, то все равно найдется материалец, который наведет на еще неизвестные следы, а может, даже и улики.

Сообщать о своих открытиях надо постепенно, так, чтобы у Рачковского создавалось впечатление непрерывной напряженной работы, а там, глядишь, и набежит какое-нибудь открытие.

Он уселся в кресло и игриво поглядывал на ключ в правом нижнем ящике. Открыть свой сезам он не торопился. Хозяева так радушны, того и гляди, заглянут, чтобы узнать, хорошо ли почивает гость. И верно. Минуты не прошло — слышались шаги на лестнице. Вошел Степняк с клетчатым пледом, перекинутым через руку, сказал:

— Тут после грозы иной раз наступает резкое похолодание, а Фанни положила вам летнее одеяло...

— Сколько беспокойства, сколько беспокойства, — бормотал Гуденко, — мне так неловко...

— Да бросьте, пожалуйста, эти церемонии. Захотите почитать на сон грядущий — на столе новая книжка Короленко.

И снова зазвучали шаги по лестнице, а следом зазвенели коготки черной собачонки Параньки, сопровождавшей хозяина.

После ухода Степняка настроение несколько испортилось. Только этого не хватало — плед принес! Вспомнился читанный еще в корпусе роман Гюго, название которого, как всегда, выскочило из головы, но надолго поразили эпизод, где добродетельный кюре догоняет вора, укравшего подсвечник, чтобы подарить второй под пару. Глупости лезут в голову. Не к месту и не ко времени.

Ветер ворвался в раскрытое окно, и с новой силой полил дождь. Струи падали плотно, перед глазами сверкала сплошная водяная стена, и этот разгул, бесчинство природы, снова развеселил его. Пора начинать.

Сердце замирало. Но, пересиливая себя, он методично начал свой обыск с верхнего ящика.

Черновики рукописей, записи на листках блокнота каких-то диалогов, по-видимому из романа, копии расписок, издательские соглашения, визитные карточки. Нельзя сказать, что бумаги лежали в полном порядке, но в каждом беспорядке есть свой порядок. И Гуденко с превеликой тщательностью укладывал обратно бумаги так, как они лежали прежде. В среднем ящике очень аккуратно были сложены газеты и журналы со статьями Степняка, сколотые скрепками гранки, по-видимому, уже напечатанных материалов. Полное разочарование.

И наконец в последнем ящике он нашел папку с письмами и кипу чистой бумаги. Письма, переписка! Это же, по сути, единственное оружие эмигранта, если он хочет руководить событиями на родине. Он принялся судорожно перелистывать листочки, еще не читая, ища только имена корреспондентов Кравчинского, шепотом

чертыхаясь, потому что фамилии были английские, немецкие, французские, какие угодно, только не русские. И, наконец, увидел знакомое имя, остановился и передохнул. И, как бы отмечая его удачу, гром яростно ударил над самым домом, будто кинул на крышу десяток булыжников.

Клеменц! Это имя было ему знакомо еще по Пегербургу, когда он околачивался в коридорах здания у Цепного моста. Клеменц — ученый-этнограф, публицист, участник кружка чайковцев, земледелец. Его приговорили к ссылке в Якутию. Но быть может, он уже бежал оттуда? И какова конспирация! Пишет по-английски, видно, рассчитывает, что перлюстраторы не поймут суть дела. Но что им помешает задержать письмо? Наивно.

Бегло прочитав первые приветственные фразы, он с удивлением продолжал читать:

«...Вы говорите то, что думаете, — я в этом не сомневаюсь, потому что всякий, кто вас видел и читал ваши книги, не может не понять, что вы человек совершенно искренний и прямодушный.

Я прочитал «Подпольную Россию» от начала до конца с глубоким, жгучим интересом. Какое величие души! Я думаю, только жестокий русский деспотизм мог породить таких людей! По доброй воле пойти на жизнь, полную мучений, и в конце концов на смерть только ради блага других — такого мученичества, я думаю, не знала ни одна страна, кроме России. История изобилует мучениками, но, кроме русских, я не знаю таких, которые, отдавая все, совсем ничего не получали бы взамен. Во всех других случаях, которые я могу припомнить, есть намек на сделку. Я не говорю о кратком мученичестве, о внезапном самопожертвовании во имя высокого идеала в минуту восторженного порыва, почти безумия, — я говорю лишь о героизме совсем иного рода: об этом поразительном сверхчеловеческом героизме, что прямо смотрит

вперед, через годы, в ту даль, где на горизонте ждет виселица, — и упрямо идет к ней сквозь адское пламя, не трепеща, не бледнея, не малодушествуя и твердо зная, что на его долю достанется одна только виселица.

Искренно ваш *С. Л. Клеменс*».

На мгновение он задумался. Ему никогда не приходило в голову, что эти отчаянной жизни разбойники-террористы совершенно бескорыстны. Им ничего не надо для себя. Они не ищут лучшей жизни для себя. Что это? Глупость? Донкихотство? Гордыня непомерная? Непостижимо. Он еще раз пробежал письмо. Как все-таки странно написано. Как будто человек впервые узнал о народо-вольцах из книжки Степняка. Нелепость какая-то! И какой торжественный тон... Он схватил конверт — обратный адрес: Хартфорд, фамилия адресата Клеменс, а через дефис — Марк Твен.

Вот так. Опростоволосился. Возликовал. Ухватился за ниточку — и оборвалась.

И снова с тупым упорством он рылся в ящике — два длинных послания Лаврова с малопонятными рассуждениями о судьбах России и сведениями о самочувствии некоей Марьи Николаевны Ошаниной. Предложения выступить с лекциями, приглашения посетить какие-то филантропические общества, опять письма — какой-то букет од и мадригалов. И все подписаны именами известных европейских ученых, писателей, политических деятелей. С таким материалом не то что к Рачковскому, даже к Новиковой не сунешься.

И вдруг он прыснул со смеху. Мгновенная мысль, подобная молнии, блеснувшей за окном, осенила его. Он пошлет эти изъявления восторгов и благодарности Ольге Алексеевне Новиковой. Хотела, матушка, подробностей — получай! Мысль блистательная по наглости и вполне неуязвимая. Попробуй придерись! Присланы копии под-



линных документов. А ежели ни к чему — не его вина. Он потрудился. Нет в жизни лучшей позиции, чем прикинуться добросовестным идиотом.

Уже стихла гроза, из раскрытого окна потянуло холодком и запахом мокрого листа, еще не рассвело, но прозвучал гудок раннего поезда с однокорейки, а он все переписывал, писал разборчивым круглым почерком. Он испытывал приступ несвойственного ему прилежания.

«Мой дорогой друг! Я читал и перечитывал ваши книги с тех пор, как вы были здесь, и мне хотелось бы сделать то небольшое, что в моих силах, чтобы помочь вам. Я трудящийся человек, со многими обязанностями, но я преисполнен желанием сделать хотя бы самое малое. По-сылаю вам мой первый взнос для употребления по вашему благоусмотрению. Я буду вам признателен, если вы сообщите мне, когда и как я могу быть полезен. Я скажу, чтобы принесли ваши книги для продажи их около рабочих и других клубов. Когда буду в Лондоне, постараюсь увидаться с вами и поговорить об этих делах. Ваш труд поистине благороден. Я не разделяю, конечно, многие ваши взгляды, а против некоторых решительно возражаю, но если чаша полна добрым вином, к чему спорить о ее форме.

Глубоко преданный вам *Роб. Спенс Ватсон*».

Интересно получается у этих англичан — не разделяю и возражаю против ваших взглядов, но оспаривать не хочу, потому что они вроде бы хороши. Голова кругом идет от этакой шарады! И это пишет серьезный, можно сказать знаменитый у себя на родине, человек. Председатель английской Национально-либеральной федерации, юрист. Но если взять с другой стороны, может, потому-то здесь и не убивают ни министров, ни генералов, что даже самые высокие чины проникнуты уважением к чужому

мнению? А как можно уважать мнение террористов? Правда, теперь Степняк будто и не держится этих взглядов, но во всех своих писаниях защищает тех, кто проливает кровь невинных людей. Невинных? Ну, во всяком случае безоружных. Не на дуэли же он прикончил Мезенцева? Ничего не поймешь. Плед принес. С собакой играл. Ничего не поймешь, сам черт ногу сломит... Лучше не думать. Помахаем еще красной тряпкой перед бодливой головкой Ольги Алексеевны.

«Мой дорогой Степняк! Позвольте мне написать вам несколько слов благодарности за удовольствие, которое я получил от чтения вашего романа. Посторонний критик, может быть, задал бы праздный вопрос, всегда ли оправдана была столь огромная растрата прекрасной жизни. Но невозможно сомневаться в том, что так убедительно показанные вами чувства абсолютной веры друг в друга и полнейшего самоотречения у заговорщиков представляют великую победу человеческого духа и поднимают мужчин и женщин в их взаимоотношениях на большие высоты, чем люди где-либо достигали во все времена.

Вполне естественно, что сравниваешь «Карьеру нигилиста» с романом «Отцы и дети». Если тургеневский превосходит ваш тонкостью психологии, то вы превосходите Тургенева по силе изображения той особенности нигилизма, которая, мне кажется, представляет собой неоспоримый вклад в развитии человечества, являясь постоянно возрождающейся силой в борьбе за общее дело, за уничтожение барьеров между мужчиной и женщиной и старых социальных предрассудков.

Остаюсь искренно ваш *Карл Пирсон*».

Эк, куда его занесло! В романе женщину вешают, а он о барьерах. Да что с него взять? Философ, профессор математики...

Женщину вешают... Вдруг представилась Лили Буль на невысокой скамейке, с веревкой на белой шее, с упрямым лбом, плотно сжатыми губами. Чушь какая! Для этого ей здесь надо стать по крайней мере детоубийцей. Что только мерещится, если ночь не спать.

А вот и подпись Кеннана — покровителя и рекомендателя. Этаким благородный путешественник! Дважды побывал в Сибири. Первый раз смотрел только то, что ему показывали, слушал, что нажужжали ему в уши губернаторы и коменданты крепостей, и написал северную идиллию, апофеоз гуманности в якутских снегах. Застыдили. Осмеяли. Не пожалел себя — снова поехал, прожил в Сибири два года, исколесил по бездорожью восемь тысяч верст и тут разул глаза. Все изобразил в натуральную величину. Носится теперь с русскими каторжанами, как с писаной торбой. Полюбуйтесь-ка, Ольга Алексеевна.

«...если вы приедете в Соединенные Штаты к концу будущего года, вам едва ли удастся найти человека, кто питал бы симпатии к царю или его министрам, но вы найдете миллионы горячо и активно сочувствующих русским революционерам. За прошедший год здесь произошел резкий перелом в общественном мнении в отношении русских дел, и, я полагаю, мы с вами можем поставить себе это в заслугу. Ваша последняя книга «Русское крестьянство» была переиздана «Харпер энд Брозерс», и, видимо, ее широко читали и высоко оценили; в то же время мои журнальные статьи каждый месяц доходили до 1,5—2 млн человек. Я получаю сотни писем со всех концов Соединенных Штатов с выражением сочувствия к русским революционерам и ненависти и презрения к царскому правительству...

С наилучшими пожеланиями здоровья и всех благ,  
остаюсь искренно ваш *Джордж Кеннан*».

Рядом с американцем надо поставить австрийца — редактора крупной социал-демократической газеты «Арбейтер цейтунг» Виктора Адлера. Он, кстати, и основатель этой самой партии. Пусть мадам Новикову овеет ветерком международного успеха этого преступного Степняка. Она-то выше желтенькой «Пэл-Мэл газетт» еще не поднималась, хоть Николай Первый и был ее крестным отцом.

«... мне доставило большое удовольствие ваше дружеское письмо с предоставлением разрешения на перевод вашей превосходной книги, которая, я уверен, будет чрезвычайно интересна немецкому читателю. Русские писатели как раз теперь снискали всеобщую любовь в Германии и, вместе со скандинавскими, заполнили широкую публику. Ваше изображение экономического положения и особенно главы о раскольниках были для меня и, несомненно, будут для всех других необходимой иллюстрацией, без которой совершенно невозможно понять Толстого, не говоря уже о Достоевском...

Преданный вам д-р *В. Адлер*».

Он чувствовал, что устал, и рука с непривычки занемела, но для полноты картины хотелось еще охарактеризовать Степняка как лектора и трибуна, обращавшегося прямо к народу Англии. Ведь не все же читают книги. Вот тут и пригодится письмо Эдуарда Пиза. Надо думать, что мадам знакомо имя этого популярного профсоюзного деятеля.

«...очень рад, что ваша поездка в Абердин была удачна. В «Уикли кроникл» появился большой отчет о вашей лекции. Без сомнения, тот же, что и в «Дейли». Это широко распространенная газета. В обзоре, между прочим,

говорится: «Известный лектор говорил в продолжение двух часов» и упоминается, что на лекции присутствовала вся социалистическая партия Ньюкасла...

Неизменно ваш *Эд. Р. Пиз*».

Теперь все. Он вздохнул облегченно, вышел из-за стола, выглянул в окно. Светало, и хотя солнце еще не показалось, вывеска зеленой лавки, омытая дождем, сияла оранжевыми, красно-фиолетовыми красками моркови и свеклы, бледной зеленью салатных листьев. К луже посреди мостовой, переваливаясь, подошел селезень и погрузился по шейку в воду. Чем не Елабуга, не Тетюши? В самом доме Степняка, во всем укладе его богемного русского быта было что-то знакомое с детства, притягательно простое. Гуденко не чувствовал угрызений совести по поводу своего ночного обыска. Наоборот, он злорадствовал, что устроит для Новиковой такую «фарсу», как говорил покойный отец, такой ход конем. За ночь он уже успел простить Степняку и разочарование, и крушение надежд на раскрытие заговора. В порыве рвения он вернулся к столу и начал перебирать оставшиеся письма, среди них послания Георга Брандеса и Бернарда Шоу, но они полны деловых предложений, приглашений, обещаний посетить, а ему хотелось еще и еще похвал и восторгов. Эти приветствия кружили ему голову. Он испытывал нечто похожее на гордость старого дворового слуги, как бы сопричастного к успехам своего барчука.

Переписывать письма Шоу и Брандеса он не стал, а решил сразу же написать глупую сопроводительную записку Новиковой, чтобы покончить с делом.

Задумался. Почесал бровь пером и совсем другим, не слишком разборчивым, размашистым почерком набросал на бумаге:

«Глубокоуважаемая Ольга Алексеевна!

Мне понадобилось много усилий и времени, чтобы выполнить ваше поручение. Но я не сетую — результаты превысили мои ожидания. Я не буду затруднять вашего внимания описанием своих трудов, но хочу заверить, что за подлинность документов я ручаюсь. Смеею надеяться, что я дал достаточно полную картину преступной деятельности интересующего вас лица и подробно осветил его связи и образ жизни.

Остаюсь всегда готовый к услугам,  
преданный вам *В. С. Гуденко*»

На часах без четверти пять. Он уложил в ящик стола письма, запрятал свои бумаги в портфель, набитый шрифтами, спокойно разделся и быстро уснул. Сон был бестолковый: Рачковский в голубом мундире и гусарском кивере старого образца шел спиной, размахивая дирижерской палочкой, отступая перед сверкающими, ослепительными трубами духового оркестра.

## МУРАВЬИНАЯ РАБОТА

С утра Кравчинскому хорошо работалось. В доме тишина, тихо и на улице, лишь изредка прозвенят копыта по мостовой да раздастся слабый протяжный гудок с ближней однокорейки. Обычно утренние часы уходили на спешную заказную работу или на неожиданные посещения приезжих гостей, беготню по редакциям и издательствам. Сегодня он решил пренебречь всеми необходимостями и посвятить себя новому роману. Он считал его главным в своей жизни. Верно, именно поэтому на него никогда не хватало времени.

Он не любил писать подряд, трудолюбиво вытягивая сюжет, договаривая до последнего слова свой замысел. Такая работа хотя и дисциплинировала, но быстро наску-

чивала. А хуже нет писать, насилуя себя. Он предпочитал набрасывать эпизоды, сцены то из конца, то из середины, иногда еще не решив твердо, как он начнет новую вещь. Куски потом легко соединялись и, соединяясь, по-новому обогащали мысль, и легко дописывалось начало.

В этот день он записал еще один эпизод. Назвал его «Не сдадимся». Действие происходило в новогоднюю ночь. Накануне был арестован один из членов питерского революционного кружка. Товарищи не сомневались, что арестованный не скажет лишнего, но не знали, что у него нашли при обыске, какие имена и адреса обнаружены. Угроза нависла над каждым. И все-таки они встречают Новый год так, как будто ничего не случилось. Не сговариваясь — ни слова о вчерашнем.

Посреди комнаты стол, на нем суповая чаша с жженкой. Синие огоньки то полыхают, то сникают. Их трепетный свет выхватывает из тьмы суровые, до боли знакомые лица. Прототипы! О, конечно, в романе у них будут другие имена и другие судьбы. Но характеры... От них не уйдешь, не придумаешь лучше тех, кого знал, как самого себя. Вот возникает из мрака лицо Желябова, прекрасное в нетерпеливой отваге, спокойное в твердой решимости. Свет падает на Якимову, румяную сибирячку, лихую хозяйку конспиративных квартир. Она умеет прикинуться и судомойкой, и вальяжной купчихой. Сникающие огоньки уродливо перекашивают рябое лицо Стефановича, раба ложной идеи, переоценившего свои силы, а Коля Морозов, прекраснодушный якобинец в пенсне, вдруг выхватывает из-за пояса кинжал, кладет на чашу, а за ним и отчаянный Саблин, Грачевский, Ширяев. Блеск стали багровеет в вспыхнувших огнях. И без команды раздается могучий, торжественный напев: «Гей, не дивуйтесь, добрые люди, що на Украине повстанье...» А его перебивает другой мотив: «Я видел рабскую Россию: перед святыней алтаря, гремя цепями, склонивши

вую, она молилась за царя». Тут слышался голос Стефановича. Для него, хоть, может, он это и скрывал от самого себя, народ всегда был быдло.

Но вот все разом запели «Марсельезу», а когда хор умолк, кто-то отворил окно. Мокрые снежинки залетели на подоконник. Слякотная питерская новогодняя ночь. Как в Лондоне.

И сразу расхотелось писать. Будто с высоты грохнувшись в свой кабинет, к обшарпанному письменному столу, к картине с высокой скорбной женщиной, к зеленой лавочке напротив дома.

Он встал из-за стола. За окном облетали листья. Ветер срывал их с единственного вяза. Вяз одиноко стоял перед домом, ветер кружил, сбивал их в густое облако и вдруг рассеивал, уносил в сторону. Лишь некоторые с легким жестяным звуком ударялись о стекло. А небо было безоблачно, и ржавые листья на голубом выстраивали прелестный в своей беспорядочности тускловатый гобеленовый узор. Бабье лето. Так бы и глядеть не отрываясь.

Вернулся к столу, отложил рукопись, принялся чинить карандаши. Надобно набросать тезисы. К вечеру предстояло ехать к докерам, как он обещал Моррису. Выступление несколько раз откладывалось, не могли найти помещения, но теперь, кажется, все утряслось, и надо сдержать свое слово. Радости в этом мало. Публичные выступления всегда тяготили его. Он не считал себя хорошим оратором, особенно с тех пор, как оказался на чужбине. Писал по-английски легко, хотя и отдавал править свои романы Пизу и Эвелингам, в разговоре чувствовал себя свободно, но выступать с длинными речами не то чтобы затруднялся, а опасался. И часто среди лекции вдруг подступал страх. Начинало казаться, что его не поймут или, еще хуже, поймут неверно. Минутная растерянность, поиски слова, недовольство собой, и речь становится вялой, бесцветной, чужой.



А в общем-то, заранее смущаться не следует. Не счесть, сколько он прочитал лекций, каждый раз по-новому, — менял план, отдавался безотчетно дару импровизации.

Сегодня ему хотелось рассказать и о поездке в Тульскую губернию, так живо возникшую после письма Клеменца о том, как народники воспитывали у крестьян сознание своих прав, возбуждали чувство собственного достоинства. Хотелось и помянуть, как где-то на пути к Одоеву он уговаривал законопослушного старосту: «Разуй глаза! Разуй глаза!» А как найти подходящую идиому? Порыться в словарях?

Но не успел он дотянуться до книжной полки, как появился Волховский, рассеянный, усталый. Удивил своим появлением, потому что не имел привычки приходить днем без дела. Пожаловался, что спину ломит, что на улице ветрено, сказал:

— Хорошо бы в Италию. Жара, море, виноградники...

Обе пятерни — в седые волосы, локтями уперся в стол, поник. Вот уж, что называется, сам не свой. Всегда бодрый, деловитый, всем своим поведением доказывающий, что ни тюремная одиночка, ни сибирская ссылка, ни смерть самых близких не сломили его, не приучили к жалобам. Верно, спина в самом деле болит нестерпимо. Сырость в этом городе. Даже в самые солнечные дни до костей прохватывает.

Он обнял Волховского, уложил на диван, под голову — подушку, на ноги — плед, спросил:

— Если по совести — что-нибудь случилось?

Тот не ответил. Седая голова торжественно покоилась на подушке, желтое морщинистое лицо горестно-неподвижно, густая борода по-стариковски всклокочена. Не поймешь, слушает ли он тебя или и слушать не желает. Старик, совсем старик, а ведь ему нет и пятидесяти. Измотала судьба.

Он потрепал его по колену:

— Ну, говори, Феликс, говори. Легче будет.

Волховский молчал. Только губы искривились. Зачем-то полез в карман, вынул какую-то кожаную штучку, не то портмоне, не то сигарочницу, только слишком миниатюрную. Стал разглаживать, ощупывать ее дрожащими пальцами, спросил некстати:

— А что, Кропоткин в Лондоне? Я его давно не видел.

— Уехал в Шотландию с лекциями о французских тюрьмах. Зачем он тебе понадобился? Объясни все-таки, что с тобой?

— Ничего. Хандра. Воспоминания...

— Воспоминания? Так это ж и моя болезнь! В каждую минуту затишья наплывают, наплывают... Иногда кажется, что я живу двойной жизнью, — той, что была, и той, что есть. Но привыкаешь и даже нравится, вроде бы жизнь богаче и полнее. Да нет, не в воспоминаниях дело. Я знаю, по себе знаю, что тебя мучает. Непомерная дистанция между нашей непрерывной кропотливой муравьиной работой и ее результатом. Не измеришь его, не вычислишь. Иной раз думаешь — все впустую. Но это неправда. Вспомни-ка, пропаганда в России, разве она сразу отзвук давала? А ведь из наших кружков вырастали потом такие герои, как Обнорский, Петр Алексеев. Но жизненное устройство не менялось, и нас мучило нетерпение — пропаганда бесплодна, и только террор... А приблизил ли он революцию? Отдалил. Если хочешь знать, террор — это род самоутешения. Эгоизм самопожертвования. Существует в жизни и такой парадокс. Я об этом много думал, когда писал «Карьеру нигилиста». Восторг самоотдачи заставляет пренебрегать своей и чужой жизнью. Я имею в виду жизнь тех, кто помогает выполнению террористического акта. Я понятно говорю?

Волховский оживился, приподнялся на локте, подкинул вверх кожаную штучку, показал ее Кравчинскому.

— Понятно, милый, все понятно, только я сейчас не об этом. Видишь эту спичечницу? Когда-то Петр Кропоткин подарил ее своему брату Александру. Александра сослали в Сибирь. Ни за что. Бессрочно. Перед смертью, перед тем как покончить с собой, он подарил ее мне. А я — своей второй жене. Той, которую ты не знал. Она курила. Страшное, безысходное время было тогда в Томске. Местный листок — «Сибирскую газету» — прикрыли, показалась слишком либеральной. Работать я не имел права больше нигде. Мы голодали. Жена давала уроки музыки и шила. Жили с детьми на жалкие гроши. Она брала на себя больше, чем могла вынести, и безнадежно заболела. Чахотка. Лежала, молча глядела в потолок. Ей казалось, что так будет длиться вечно, а она привыкла быть опорой, а не обузой. И застрелилась. Ночью. Она не захотела будить детей. Прикрыла голову подушкой и спустила курок.

Он сделал вид, что вытирает платком сухой лоб, а вытер глаза.

— Зачем ты себя бередишь? — сказал Степняк.

Но Феликс, не слушая, продолжал:

— Когда Кеннан приехал в Томск и стал встречаться с нашим братом ссыльными, мы подружились. Он подарил мне томик стихов Лонгфелло, а я ему — эту спичечницу. Жалкий подарок, но больше ничего у меня не было. Я сказал ему: «Пусть это будет памятью о четырех политических. Петр Кропоткин — эмигрант в Лондоне, я — ссыльный в Сибири, а двое сами отправили себя туда, где нет ни печали, ни воздыхания, ни карающей руки царского правосудия...» Он душевный человек, этот Кеннан. Перед отъездом читал мне Лонгфелло. Прекрасное стихотворение «В день похорон».

— Ты никогда мне об этом не говорил.

— Всего не расскажешь.

— Но откуда же взялась спичечница, если ты подарил ее Кеннану?

— Кеннан послал ее Крopotкину как память о брате. А этот балбес Гуденко забыл ее на дне саквояжа и только теперь нашел и передал мне для Петра. Вот тут на меня и накатило. — Он посмотрел на спичечницу и снова подбросил ее. — И это все, что осталось. Люди умирают, стреляются, погибают на виселице. бесследно исчезают из жизни, а такая штукавина живет. Как новенькая. Аж блестит. Это же отвратительно, что вещи переживают людей! Возьми ее! Отдай Петру, пока я не разломал ее к чертовой матери!

Он вскочил на ноги, швырнул на стол спичечницу, заходил по комнате.

— Ты прости, что я навалился на тебя с этой истерикой. Давно со мной такого не бывало. Выдержку теряешь, когда исчезает опасность. Здесь меня не схватят, не посадят, ну и позволяешь себе. Мускулы души расслабились. Обмякаешь с годами. Тебе, верно, трудно понять. Ты сильный. Ты совершал поступки, но не расплачивался за них. Счастливый Кит...

У Степняка перехватило дыхание. Если Феликс, деликатнейший, преданнейший Феликс наносит такие удары, что же могут думать остальные? Но он овладел собой, спросил спокойно, почти небрежно:

— А ты думаешь, легко оставаться должником? Спроси об этом у Веры. У Веры Ивановны Засулич. Она тоже совершила поступок и тоже живет здесь, не рискуя свободой. И кажется, тоже не может себе этого простить. — Он улыбнулся: — Ну ладно. Не будем об этом. Пойдем-ка к Фанни. Женщины умеют возвращать нас к радостям и тяготам земного существования. — И, обняв за плечи, повлек Волховского вниз.

В этот вечер он не рассказывал докерам о Тульской губернии, об упрямом старосте, не желавшем разуть глаза. Слова Волховского задели его больше, чем он хотел показать. В этот вечер он снова расплачивался с долгами.

Было понятно, что Волховский не хотел его обидеть, ни тем более упрекнуть за то, что ему не пришлось перенести всех ужасов ссылки, каторги, одиночного заключения. Его товарищам не стало хуже от того, что он остался на свободе. Отправленный ими же против воли за границу, он никого не подвел. И все-таки... И все-таки он чувствовал себя бойцом, покинувшим поле боя. Бессмыслица. Но это чувство возникало то чаще, то реже, с неодинаковой силой. А подспудно не покидало его никогда. Бессмыслица. С кем он должен расплачиваться? С царской полицией? С царской юстицией? Бессмыслица. Ведь никто же не пострадал за него. Вместо него. Вот этого он не смог бы вынести. Но все равно, он будет расплачиваться с товарищами за свою свободу до конца дней.

Портовая таверна, снятая на один вечер, поразила его своим старинным, чуть что не средневековым видом. Столы убраны, рядами расставлены длинные скамьи, на стенах грубо раскрашенные фаянсовые тарелки, над затушающим камином зловещие железные крючья для копчения окороков. Редкие газовые рожки скупо освещают красные, обветренные лица собравшихся. Во всем этом полумраке, в мощных неподвижных фигурах рассеявшихся на скамейках что-то неуместно живописное. Здесь все пропахло бунтами мокрых канатов и рыбой, близостью речной воды, запахом дешевого табака.

В конце длинной комнаты за столом, покрытым не слишком свежей клетчатой скатертью, сидели Эдуард Пиз, приехавший из Ньюкасла, Вильям Моррис, удивительно хорошо вписывавшийся в этот архаический полумрак со своей острой бородкой, мужественным лицом, мечтательным взглядом серых глаз в тяжелых веках.

Рядом с ним светловолосый, серьезный молодой человек, очень скромный и аккуратный, похожий на юношу из церковного хора. Такие часто вырастают в бедных, но добропорядочных, благочестивых семьях, где перед обедом читают молитву. К удивлению Степняка, он оказался секретарем тред-юниона.

Пиз, как всегда внимательный и чуткий, сразу заметил, что Степняк непривычно нервен и взбудоражен и, чтобы облегчить ему задачу, предложил:

— Расскажите нам, мистер Степняк, что называется в России политическим преступлением?

Лучшего вопроса он не мог задать. И, минуя всяческие предисловия, Степняк стал говорить об одесской гимназистке Виктории Гуковской. Она участвовала в демонстрации протеста против смертного приговора Ивану Ковальскому. Викторию сослали в Сибирь на шесть лет. Одинокая, беспомощная, нищая, через два года она повесилась в Красноярске.

Доктор Веймар, известный врач, прославившийся еще на Балканах своими операциями, был сослан в Сибирь. За что? За то, что учитель Соловьев взял у него револьвер. Сказал, что для целей самозащиты, а наутро выстрелил в царя. Веймар умер в ссылке от чахотки.

Революционерка Мария Коленкина жила у своей подруги художницы Малиновской. Жандармы ворвались в квартиру и арестовали обеих. Художница просидела под следствием в одиночной камере два года. И, не выдержав пытки допросов, сошла с ума и умерла в тюремной больнице.

Он говорил сухо. Без подробностей. Краткость рассказа в такой аудитории больше поражает воображение, чем детали. Ему даже казалось святотатством украшать свой рассказ подробностями, ссылаться на свои впечатления и переживания. Но его память в это время бушевала. Бессвязные картины, полузабытые лица... Шурочка Мали-

новская, хорошенькая, кудрявая барышня, поила его чаем с кизилковым вареньем, когда он собирался в Одессу, чтобы устроить побег Волховскому. Тюлевая штора, шаткая этажерка с книгами, он видел даже керосиновую лампу на ее столе, с голубым фарфоровым колпаком, он разрисован китайскими фигурками, и вязаную пестренькую салфеточку на комод, где стояло зеркало, и как она перекрестила его в темной передней и сказала:

— Поезжайте. С вами ничего не случится. Я все время буду думать о вас.

И еще отчетливо, как вживе, виделись капли крови на белоснежной медвежьей шкуре в спальне Веймара. На кровати лежал неизвестный юноша в беспомощности. Его никто не знал. Не знал и хозяин дома. Какие-то студенты втащили его в квартиру либерального доктора и скрылись, ничего не сказав, были уверены, что помощь будет оказана. Он и тогда не знал ни начала ни конца этой истории, но ясно представлял сейчас алые капли крови на белой шкуре, блеск инструментов доктора, окровавленные бинты...

Сиплый голос выкрикнул из рядов:

— А разве у вас нет законов?

Он посмотрел в зал, пытаясь разглядеть спросившего. Увидел суровые лица в бакенбардах, со шкиперскими бородками, фигуры в клеенчатых куртках, спокойные, недвижимые. Докеры. Да разве же это грузчики? Можно ли представить, что эти джентльмены делают то же дело, что и наши волгари, разве что баржи волоком не тянут?

Он отпил воды из стакана, переспросил:

— Есть ли у нас законы? Попробуйте решить этот вопрос сами. А чтобы было яснее, я расскажу вам об административной ссылке в России. Об этом апофеозе несправедливости, венчающем царское правосудие.

Эк выразился! Занесло. «Апофеоз», «венчающий»... Надо попроще. Лучше следить за собой.

И, стараясь говорить еще суше и деловитее, он стал объяснять, что административно сосланный может и не совершать преступления, не быть виновным в нарушении закона. Достаточно оказаться на демонстрации или студенческой сходке, которые власти считают «вредными для общественного порядка». Так же опасно оказаться и в обществе людей, имеющих репутацию неблагонадежных. Без суда и следствия неосторожного выдернут с корнями из родной почвы, отошлют в тундру, в тайгу, велят через день являться в полицию. Ведь участковый должен быть ежечасно уверен, что сосланный не переместился по собственной воле.

Часто обвиняемому не сообщают, в чем он провинился. Он не имеет права проверить показания свидетелей. Не может вызвать свидетелей, опровергающих обвинение. Он в этом случае рискует, что их также причислят к «нежелательным лицам» и отправят в дальние края. Обвиняемый не может требовать допроса, для него закрыта и пресса.

Все связи арестованного обрываются так внезапно, что родные и близкие месяцами не могут найти исчезнувшего без следа.

Писатель Станюкович, автор многих романов, возвращался на родину из Баден-Бадена. Там еще оставалась его семья. На границе Станюковича арестовали, он очутился в Петропавловской крепости. Переписка настрого запрещена.

Жена вернулась в Россию и была в отчаянии, металась по городу, считала, что муж погиб. Никто из друзей не видел его и не знал о его возвращении. Все поиски были безуспешными. Наконец в главном жандармском управлении ей удалось выяснить, что за связь с революционными народниками-эмигрантами он был выслан в Сибирь на три года. Журнал был закрыт. Издатель разорен.



Несколько молодых докеров протопали на кухню. Трое из них, пренебрегая ужином, задержались у дверей. Степняк показал им, где можно сесть, переждал минуту и продолжал:

— Доктор Белый, заведующий больницей в маленьком городке в Малороссии, принял на работу двух курсисток. Они не закончили медицинские курсы в Петербурге. Только потом выяснилось, что обе были исключены за неблагонадежность. Виноват, конечно, не осведомился. Но поплатился за это ссылкой на Крайний Север, в Верхоянск.

Сотрудник журнала «Отечественные записки» Бородин за статью, найденную у него, был сослан в Якутскую губернию. Это была копия статьи, а ее подлинник пошел в набор. Четыре месяца Бородин шагал по этапу в сером арестантском халате с бубновым тузом на спине, а в это время статья его благополучно вышла в свет. Петербургская цензура сочла ее «вполне безвредной».

Бывало и так, что за дружеские связи с кем-либо люди попадали в ссылку. Подследственного суд оправдывал, а его приятель продолжал пребывать в местах весьма отдаленных.

Он вдруг запнулся на слове «отдаленных», не сразу вспомнив, как это по-английски. И все, о чем он рассказывал с таким сдерживаемым жаром, показалось ненужным, скучным, неинтересным. Смутился, сделал долгую паузу, улыбнулся горькой улыбкой и спросил:

— Я не надоел вам, друзья?

В зале зашумели. Можно было разобрать отдельные голоса:

— Говорите, говорите, сэр!

— Не бойтесь, что это нам приснится!

— Откуда же у полисменов такая власть?

— А разве у вас нет прокуроров?

Перегнувшись через стол, Моррис шепнул:

— Все, что вы рассказали, — это средневековые девятнадцатого века. И такое творится по эту сторону Урала!

Вмешался и белокурый секретарь. Видно, что рассказ Степняка очень его взволновал.

— Все, что вы говорите, удивительно. Ошеломляет. Но ведь есть же в вашей стране правительство? Есть же оппозиция? Как же это получается?

— Как это получается? — переспросил Степняк. — Англичанину это нелегко понять. Казалось бы, в государстве бюрократическом, где каждая акция властей подтверждена документом, заприходована, подписана, казалось бы, там не может быть беспорядка и ошибок. На самом деле все происходит иначе. Решение судьбы несчастного, заподозренного в неблагонадежности, документ о его направлении в места не столь отдаленные или, наоборот, весьма отдаленные, — он с особым удовольствием дважды повторил это трудное слово, — должно быть подписано министром внутренних дел или, если вопрос решается на месте, генерал-губернатором. Но через руки этих сатрапов проходят сотни таких дел. Они их не читают. Чиновник одной из сибирских губерний написал «Отче наш» на гербовой бумаге и подал ее губернатору. Молитва была подписана. И это не анекдот. Зачем затрудняться, ты же уверен в полной безнаказанности! Разве кто-нибудь упрекнет тебя, если ты увеличишь срок политическому преступнику? Даже если он не преступник? Даже если он погибнет в ссылке?

Протяжный звук колокола заглушил его речь. И повторился еще и еще. Скучный, нищий звук... Что это? Отпевают Веймара? Викторию Гуковскую? Жалкий, жестяной звук, как будто деревенский сторож бьет в колодушку... Он замолчал.

Пиз тихо сказал:

— Звонят к вечерней службе в портовой церквушке. Отдохните. Вы устали.

— Нет, я буду продолжать.

Он будто очнулся. Снова увидел полутемный зал, строгие, неподвижные лица. Только сейчас заметил, что во втором ряду сидит бледный мальчик, лет тринадцати, но и он не шевельнулся. Никто не поднялся, не поспешил к вечерне. Значит, можно говорить.

— Невежественные люди решают судьбу человека. Какой-то студент был выслан за хранение запрещенных книг. Вернее сказать, одной книги. Это была «История Франции». Вы спросите почему? Да потому, что там была глава о Великой французской революции. Для жандарма слово «революция», что красная тряпка для быка.

А самое удивительное, самое непонятное для всякого здравомыслящего человека, это то, что административная ссылка считается не наказанием, а предупредительной мерой. Если подсчитать, сколько гибло людей в этапных перегонах в пятидесятиградусные морозы, сколько заболело тифом, цингой, туберкулезом, сколько умирало на грязных тюфяках в тюремных больницах, где не положено иметь ни белья, ни одеял, то приходится думать, что наказанием наше правительство считает только виселицу. Все остальные способы уничтожения живых людей всего лишь предупредительные меры...

Он не узнавал себя. Откуда это нахлынувшее волнение? Надо бы успокоиться. Говорить покороче.

Пиз сказал вполголоса:

— Выпейте воды. Вам жарко?

Ах, пустяки какие! Он послушно глотнул из стакана, вытер платком лоб, вынул из кармана несколько листков, вырванных из журнала, и снова стал говорить:

— Тут спрашивали меня об оппозиции. Я имею в виду оппозицию легальную, ту, которая может выразить открыто свое несогласие с правительством. Однако чудовищная несправедливость и бессмысленность системы настолько очевидны, что иногда наиболее дальновидные

чиновники решаются поднять голос против узаконенной жестокой и нелепой рутины. Так однажды поступил архангельский губернатор, генерал-майор Николай Баранов. Он решился высказать свое мнение министру внутренних дел. По счастливой случайности, а вернее, по недосмотру, доклад его был напечатан в журнале с ничтожным тиражом. В «Юридическом вестнике». Несколько лет назад мне прислали эту вырезку из России. Вот о чем говорил губернатор министру:

«Из опыта прошлых лет и из моих личных наблюдений я пришел к заключению, что административная ссылка по политическим мотивам скорее портит, чем исправляет характер... Переход от достаточной жизни к нищете, от общества к полному его отсутствию, от деятельности к вынужденной праздности ведет к тем печальным последствиям, что... ссыльные сходят с ума, покушаются на самоубийства и совершают их. Это — прямой результат тех ненормальных условий, в которые ставит образованного человека ссылка.

Не было еще ни одного случая, чтобы человек, основательно заподозренный в политической неблагонадежности и высланный административно, возвратился из ссылки примиренным, раскаявшимся и стал бы верным слугою престола и полезным членом общества. С другой стороны, очень нередки случаи, когда человек, сосланный по недоразумению, по административной ошибке, именно тут, в ссылке, делается неблагонадежным, отчасти вследствие сношений с истинными врагами правительства, отчасти из личного раздражения.

Если человек уже заражен противоправительственными идеями, все условия его ссыльной жизни стремятся усилить такое настроение и развить в нем более опасные стороны характера, обратить его из теоретического в практического, а значит, и наиболее опасного врага порядка. Если же он не заражен ими, эти условия в

высшей степени благоприятствуют заражению и, таким образом, во всех случаях приводят к результатам, прямо противоположным тем, которых правительство ожидало от административной ссылки.

Как бы урегулирована и ограничена ни была административная ссылка, она обязательно вызовет в умах сосланных представление о бесконтрольном произволе; этого одного достаточно, чтобы помешать возвращению их на истинный путь».

Доклад остался без последствий. А ведь архангельского губернатора ничуть не беспокоила нравственная сторона дела, гуманные соображения... Он говорил о пользе государства с точки зрения верноподданного слуги престола. Но бессмысленная, жестокая система оставалась глуха к доводам разума

Он передохнул и хотел говорить дальше, но с места поднялся здоровенный детина, тот, что сидел рядом с худеньким мальчиком, и громко спросил:

— Чем мы можем помочь русским?

Степняк взгрел пятерней густую шевелюру, исподлобья посмотрел на стоявшего:

— Пока я говорил с вами, мне вспомнились далекие времена. Давным-давно мне приходилось со своими друзьями ходить по деревням, рассказывать нашим крестьянам, что за свои права надо бороться. Я приводил в пример французов и вас, англичан, страны, где есть парламенты, где люди могут выбирать правительство или свергать его и хоть в какой-то мере защищать свои права. Все это показалось сказкой, небылицей нашим крестьянам. Мне кажется, судя по некоторым вашим вопросам, что для вас так же непостижимо, что в Европе есть страна, населенная совершенно бесправным, полностью поработленным народом. Огромная. Стомиллионная... Что вы можете сделать для нас? Протестовать, негодовать, оказывая этим давление на свое правительство. Оно, в свою очередь,





будет вынуждать русское самодержавие идти на какие-то реформы. Общественное мнение — это капля, которая камень точит. И еще мне хотелось бы, чтобы вы знали: когда английская реакционная пресса изображает русских нигилистов извергами, — это ложь. Для них невозможна легальная борьба, они доведены до отчаяния, выход один — террор. Они чистые, бескорыстные люди. Им не надо для себя ничего. Ни власти, ни богатства. Они хотят улучшить существование тружеников и ради этого жертвуют свободой и жизнью.

На улицу он вышел невеселый. Не радовали похвалы Пиза, восторги Морриса, аплодисменты докеров. Что может измениться в России от его горячих призывов к английскому общественному мнению? Муравьиная работа.

Было темно. Безлунное небо усыпано звездами. Закинешь голову, и величественное бесстрастие вселенной на минуту успокоит, погрузит в дремотное оцепенение. А откуда-то из переулков тянет вонюю выгребных ям. Портовые закоулки. Из ближнего кабака — протяжные звуки шотландской волынки. Уныние, нищета... С реки доносится бешеное пыхтение землечерпалки.

Кто-то потянул его за рукав. Он обернулся. Худенький веснушчатый подросток, которого он заметил во втором ряду, смотрел на него снизу вверх:

— Извините, сэр. Я только хотел спросить, сколько миль до России?

— Много, малыш, очень далеко. А ты собрался туда ехать?

— Через два года, сэр.

— Не слишком ли рано?

— Мне будет уже четырнадцать. Мой старший брат матрос. Он плавал в Петербург.

— И ты туда же? А зачем?



Мальчик посмотрел на него недоверчиво, может, хотел повернуть назад, но раздумал и тихо сказал:

— Я хочу помогать вашим товарищам. Против царя и этих... сатрапов.

Степняк улыбнулся:

— Это не так-то просто!

— А почему? Если много людей, если все вместе... Знаете, как в песне?

*Топоры бы все расплавить  
И отлить один топор,  
А из всех людей составить  
Человека выше гор,  
Кабы, взяв топор могучий,  
Этот грозный великан  
Этот ствол обрушил с кручи  
В это море-океан.. .*

— «То-то громкий был бы треск, то-то шумный был бы плеск...» — в тон ему тоненько подхватил Степняк. — Знаю я эту песенку. Ты меня развеселил. Давай споем сначала.

Он обнял мальчишку за плечи, и они двинулись дальше, горланя на всю набережную.

## ЗАЩИТА ЭНГЕЛЬСА

Дерзкая выходка Гуденки в ту грозовую ночь, когда он остался у Степняка наедине с ящиками его письменного стола, приподняла его в собственных глазах. Но не надолго. То был внезапный приступ лихого озорства, пьяного восторга, как в пору гусарской юности. Через день он сменился отчаянием.

Он проснулся в своей унылой комнате, еще жмурясь, протер кулаками глаза, нечаянно коснулся голым локтем холодной мраморной доски умывальника. В пустом стака-

не тонконогий паук скользил по стеклу. И вдруг Гуденко понял, что он непоправимо одинок. Чувство это было безысходным.

Представилось близкое будущее. Вот сейчас, сегодня и, может, в эту минуту Новикова пишет письмо. В Париж, Рачковскому. Наглое письмо. Врет. Брешет, что он спелся с преступными эмигрантами, что работает на них. Уже расписался в своем ренегатстве. Еще издевается — послал ей письма разных европейских знаменитостей, полные дифирамбов Степняку. Конечно, не откажет себе в удовольствии, посетует на убожество, до какого дошла заграничная разведка: вербуют людей непроверенных. Что им преданность престолу и любовь к отечеству! Рачковский взбеленится. Если даже не поверит, все равно взбеленится. Он дрожит перед этой всесильной бабой. Как же, крестница самого императора Николая! Он боится ее влияния, связей. Вспомнить только, как он скороговоркой приказал, чтобы даже имя его не упоминалось в разговоре с ней. И холодно поглядел на него: все ли понял?

В дверь постучали. Угрюмая горничная в высоком чепце внесла поднос с завтраком и газету. Он давно отказался спускаться к табльдоту. Избегал случайных знакомств и ненужных расспросов. Всем жертвовал ради конспирации — душевным спокойствием, общением с людьми, обрек себя на полное одиночество. Жил, как этот паук в стакане. Воображение разыгрывалось, уже рисовало ему конверт с печаткой, где был изображен фамильный герб Новиковой — круглая башня вроде шахматной туры и два скрещенных флага. Однажды он получил приглашение в таком конверте.

Чай уже остыл, он отхлебнул глоток и стал читать столичную хронику.

Огромный город дышал сенсациями.

Младенец-китеныш весом больше тонны неведомо как заплыл вверх по течению Темзы и выбросился на луговых

берегах выше Лондона. Сердобольные рыбаки опутали его сетями и отбуксировали обратно в море.

Лопнула торговая фирма. Банкрот кинулся с восьмого этажа, из окна своей конторы.

Знаменитая парижская этуаль Мистангет приехала на гастроли в Лондон.

Обвал шахты в Южном Уэльсе. Спасательные работы ведутся крайне медленно. Под угрозой гибели пятьсот человек.

Победителем дерби на ипподроме в Брайтоне стал Гей-Бинген, принадлежащий герцогу Нортумберленду.

Агенты Скотланд-Ярда обнаружили в покинутом владельцами особняке труп молодой женщины. Врачи установили, что смерть произошла три недели назад.

Лондон наваливался на него сенсациями. В одичании бездеятельности он читал в газетах только хронику. Это отвлекало от дурных мыслей и, казалось, делало участником происходящего. Он соскакивал со взмыленного Гей-Бингена под овации трибун, раздевал труп молодой женщины, ища следы насилия, освобождал из сетей китеныша, бросал букет к ногам прославленной Мистангет, но какая-то нелепая амбиция все время противилась в нем этой нескончаемой карусели событий. Ну хорошо, пусть это величайший город, всесветный Вавилон, Левиафан, а он прозябает в нем, как клоп за обоями. Но ведь простым глазом видно, сколько и в этом Вавилоне нелепостей, обожествленных вековой привычкой. Зачем, к примеру, дилижансы, кэбы, ландо, новоявленные автомобили держатся левой стороны, а не правой, как всюду в мире?.. Зачем вдоль тротуаров взад и вперед прохаживаются разносчики афиш и рекламы, такие щиты у них на груди и на спине, их называют «сэндвичи»? Зачем нищие художники в туман и в пекло рисуют пейзажики на асфальте, а какая-то женщина недавно — он сам это наблюдал — шла в толпе, расталкивая всех, никого не видя, и кричала:

«Silence!»<sup>1</sup>? Простоволосая, с безумными глазами. Сумасшедшая, верно. И никто не останавливал ее, как бы не замечал. Видно, этот надменный народ, гордый своей практичностью и трезвостью мыслей, нежно предан окостенелым обычаям и безжалостен к горю ближнего. А китеныш?..

Резонерство всегда его утешало. Он сбросил халат, принялся бриться и, глядя на свои удивленно вскинутые брови и невинно вопрошающие голубые глаза, утверждался в самодовольстве. Лицо мыслящего человека. Он молод, еще не все потеряно, счастливый случай возьмет и повернется, и, значит, нечего загодя сокрушаться! Пока что одна беда — проклятая лямка наблюдательной службы.

Тяжело вздохнув, он отправился к Волховскому. Нужно передать очередной взнос в Фонд вольной русской прессы. Он нарочно дробил сумму, выданную Рачковским для этой цели; нетрудно было отговориться тем, что управляющий его самарским именем затеял какие-то нововведения и прижимает хозяина.

Волховский не обернулся. Он сидел в самом темном углу комнаты за маленьким столом, заваленным гранками. Лампа прикрыта щитком из зеленой бумаги. Интересно, над чем он работает? Над чем сгибается день и ночь его сутулая спина? Гуденко знал, он редактирует какие-то «Летучие листки» Вольного Фонда, но ведь не целый же день? Верно, тюремная привычка писать, раз есть пузырек с чернилами и перо. Гуденко хотел бы заглянуть в рукописи, но все не удавалось.

Обстановка в комнате тоже мало чем отличается от тюремной — стол для принятия пищи, две железных кровати, большая и маленькая, два стула. Только на полу,

---

<sup>1</sup> «Молчать!» (англ.)

радуя глаз,— яркий полосатый волчок, розовая ленточка на спинке детской кровати и на стуле рыжий паяц в остроконечном колпаке. Дочка, играя, забыла.

— Доброе утро, сэръ! — громко окликнул Гуденко. Он вспомнил, что Волховский глуховат.

— Доброе.— Волховский и тут не обернулся.

В его сутулой спине, залоснившемся сюртуке, седом затылке было что-то издавна знакомое, напоминавшее старых стряпчих из петербургских контор. Со слов Кеннана он кое-что знал о Волховском. Кеннан его любил и в свое время помогал ему.

Трудно представить, что такой прозаический человек когда-то проходил по следствию о «нечаевском деле». Деле громком, на всю Россию. Ошеломляющем своей беспримерной жестокостью. Подпольный кружок не хотел знать различия между чужими и своими, казнил своего товарища по одному подозрению. Волховский отсидел свое под следствием, но был оправдан судом как непричастный к убийству. Самое интересное, как только очутился на свободе, стал одним из организаторов подполья, на этот раз в Одессе, филиала кружка чайковцев. Как с гуся вода! И, конечно, снова схвачен. На этот раз два года под следствием. Снова судим и сослан в Сибирь, а там потерял и вторую жену. Кеннан помог бежать в Америку. Но он и тут не уgomонился, махнул в Англию, и вот сейчас в своем темном углу кропает какой-то «летучий листок». Ну, пусть часть тиража удастся переотправить в жандармское управление, об этом уже наша забота, а все-таки по всей России его будут читать рабочие, студенты, гимназисты, даже епархиалки... И, глядишь, пойдут по той же торной дорожке, заполнят те же казематы, те же камеры, застучат по ночам в те же стены. Что же движет этими людьми? Почему им жизнь не дорога? Почему не жалеют своих жен? По этапу они тащатся. В телячьих вагонах, на соломе следуют за без-

умцами. И где-то в муках бессилия стреляются, как застрелилась мать этой девочки, забывшей свою игрушку на стуле.

До сих пор Гуденко не задумывался о судьбе Волховского. Рассматривал его как источник пополнения сведений для рапортов в Париж. А если задуматься, голова кругом пойдет.

— Где же Верочка? Гуляет? — Гуденко убрал со стула паяца и уселся поплотнее. Было ясно, что он расположился надолго.

— Верочка у Степняков. Сергей сегодня собирается навестить больного Энгельса, а когда его нет дома, Фанни забирает девочку на целый день.

— Вот бы никогда не подумал!

— Что вас так удивило?

— А то, что соратник Маркса может быть приятелем народовольца.

— Ну, приятель не то слово. Сергей чуть ли не вдвое моложе Энгельса, но тот сделал для него, да и для всех нас, русских эмигрантов, больше, чем самый близкий друг.

— Интересно. Эти марксисты такие сухари. Всякая там натурфилософия, политическая экономия, манифесты, конгрессы. А ваш брат — врукопашную! — И он подергал руки паяца.

— А вы, я смотрю, начинаете разбираться в стратегии и тактике революции.

Вопреки своей каторжной судьбе, Волховский не ожесточился, был мягок. Подозрительность в начале знакомства скоро смениласьнисходительной покровительственностью человеку недалекому, но добродушному.

Этот переваливший за тридцать дворянский недоросль, по его мнению, заблудился в поверхностных суждениях о крахе истинно русской аристократии. Несколько раз Волховский пытался разъяснить ему картину социальной

борьбы в России, но не мог пробиться сквозь обрывки полужананий и самоуверенного невежества. И именно это душевное расположение настораживало Гуденку. В каждой фразе он искал ловушку, намек. Сейчас в шутливом замечании он тоже заподозрил намек и поспешил оправдаться:

— Неужели вы думаете, что знакомство с вами, со Степняком прошло даром? Такого быть не может! Конечно, в нашем офицерском кругу тоже были свои преимущества. Но другие. Больше жизни, азарта, удалства, и женщины, конечно. О, женщины!.. Но для этого, — он постучал пальцем по лбу, — никакой пищи! А у вас подобрались удивительные, яркие личности. И в смысле образованности, и в нравственном отношении.

— Да бросьте вы! Не преувеличивайте!

Грубая лесть покорила. Волховский смешно заерзал на стуле, даже поглядел куда-то себе под мышку от смущения.

Но Гуденко продолжал рассуждать, не без удовольствия слушал самого себя:

— Не спорьте! Я сказал — в нравственном отношении, но оговорюсь. Можно ли оставить в стороне все эти бомбы, динамит, кишки на мостовой! А ведь проходит время — и забываешь! Совершенно непонятно, как это получается. Взять хоть Сергея Михайловича, сердечный, внимательный человек. Про него так и говорят — сущий ребенок. Деликатен выше всякой меры... А руки-то в крови! — вдруг выпалил он.

Уставился на Волховского широко расставленными наивными глазками. Но тут же спохватился и добавил, вертя в руках паяца:

— Все это, верно, оттого, что на чужбине вы сильно подобрали, что ли. Живете, как у Христа за пазухой. Никто не трогает, ничто не грозит. Позабыли вас.

Волховский поглядел на него с интересом. Пересел поближе к нему, на кровать.

— Да вы совсем дитя. Какое заблуждение! Над головами русских революционеров всегда висит угроза выдачи. Любой зигзаг в политике чужой страны, и мы кончили. «Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандалный...»

— А теперь-то уж вы преувеличиваете.

Волховский помолчал. Вынул из рук Гуденки паяца. Отбросил в сторону. Привычка пропагандиста взяла верх.

— Хотите, я докажу вам, что я прав? Несколько лет назад в Лондоне все могло очень трагически кончиться для политических эмигрантов. Такая приключилась история.

— Не представляю себе, — пробормотал Гуденко.

— А вот извольте послушать. — Волховский потянулся к своему столику и извлек из ящика потрепанную папку. — В те поры загадочные взрывы волновали весь город. Кто? Зачем? Почему? Ничего не понятно. Как всегда, умные люди предполагали, что дело это внутреннее. Кто жаждет перемен в стране? Конечно, ирландцы. Известно, что католики хотят свергнуть иго протестантов. Да так оно и было. Нет ничего страшнее и устойчивее религиозной распри. Взрывы продолжались, и негодование большого города росло с каждым днем, с каждым новым взрывом. Лондон к этому не привык. Это вам не Питер шестидесятих годов с его пожарами. И когда на одном из больших мостов взлетели на воздух и погибли люди, числом до восемнадцати, чаша терпения в парламенте переполнилась. Правительство потребовало у Соединенных Штатов выдачи нескольких подозрительных ирландцев английского подданства. Они там нашли прибежище у своих земляков.

— А как же иначе? — рассудительно заметил Гуденко — Хоть на мосту, хоть на земле загубил людей — отвечай.

— Не об этом речь, — отмахнулся Волховский. — Вы только вникните, что в это время происходило. Наша



радикальная эмиграция была в тревоге во всей Европе. Начать с того, что русское правительство довольно шумно настаивало перед Францией на выдаче Гартмана.

— А это что еще за птица?

— Ну и лексикон у нас, достопочтенный сэр! Даже атеисты, входя в церковь, снимают шапку. Эдак вы и Софью Перовскую обзовете цыпленком? Попрошу вас выбирать выражения, когда говорите о людях «Народной воли». Раз уж взялись нам помогать, то извольте...

— Ладно, ладно, — Гуденко постарался погасить нечаянную вспышку. — Не придирайтесь. Обмолвка.

— Так вот. А Гартмана вам следовало бы знать. Он один из организаторов знаменитого подкопа на Московско-Курской железной дороге. В газетах всего мира это называлось покушением на царский поезд, и, как известно, оно не удалось. — И сейчас, при одном воспоминании, Волховский заметно волновался. Он вертел карандаш в пальцах, и карандаш дрожал. — Царь-батюшка как раз перешел в другой вагон. Чертова невезуха! Гартман был единственный, кому удалось бежать за границу, в Париж. Впрочем, покушение на его выдачу тоже не удалось. Расправу готовите — черта с два! На защиту поднялась вся прогрессивная Европа. Поднял голос тогда и Виктор Гюго. Правда, Гартмана выслали из Франции, но он переехал в Англию, а оттуда подался в Америку.

— Ну а Степняк-то тут при чем? — сболтнул Гуденко и запнулся. Сейчас он был готов откусить себе язык. Можно ли так выдавать себя? Но Волховский, взволнованный воспоминаниями, не заметил его оплошности и только удивился:

— Как вы догадались? Именно Степняку пришлось расхлебывать эту кашу — он уже жил в Англии. Но об этом позже. Почти в то же время царское правительство заключило с Бисмарком соглашение о выдаче политических эмигрантов. Это уже не было новостью. Еще до

соглашения немцы выдали друга Плеханова и Веры Засулич, неугомонного Дейча, когда он нелегально из Швейцарии по поручению партии приехал в Германию.

Папка лежала у него на коленях. Он стал неторопливо развязывать тесемки. Одну, вторую, третью...

— Вот и считайте. Громкий скандал вокруг Гартмана — раз. Соглашение с Бисмарком — два. Взрывы в Лондоне — три. Как-то поразительно, вернее, подозрительно все сошлось в одно время. И вот тут-то на страницах консервативной «Пэл-Мэл газетт» появляется статья некоей госпожи Новиковой под сенсационным заголовком «Русификация Англии». Ушат грязи на Гартмана, Кропоткина и Степняка.

— С чего же это она так вскинулась?

— Не с чего, а зачем. Не понимаете?

— В толк не возьму.

— Ну так вам все разъяснит Энгельс, — так же неторопливо он достал из папки газетную вырезку, слегка пожелтевшую от времени. — Я тогда еще не высадился на английский берег, но потом я отыскал и сохранил эту статью как образец интернациональной солидарности. Энгельс не был бы самим собой, если бы не вмешался, не выступил с открытым забралом. — Волховский так увлекся, пересказывая эти давние события, что позабыл о собеседнике. Опомнился, посмотрел на Гуденко с некоторым удивлением, спросил:

— Вы по-немецки понимаете?

— Ни в зуб ногой.

— Тогда я вам переведу. Вот слушайте: «Всем известно, что русское правительство пускает в ход все средства, чтобы заключить с западноевропейскими государствами соглашения о выдаче русских революционеров-эмигрантов.

Всем известно также то, что этому правительству важно прежде всего добиться такого соглашения с Англией.

Всем известно, наконец, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели.

Так вот, 13 января 1885 года Бисмарк заключает с Россией соглашение, по которому каждый русский политический эмигрант должен быть выдан, как только России заблагорассудится предъявить ему обвинение как возможному цареубийце или динамитчику.

15 января г-жа Ольга Новикова, та самая г-жа Новикова, которая в 1877 и 1878 гг., перед турецкой войной и во время ее так блестяще провела благородного г-на Гладстона в интересах России, опубликовала в «*Pall-Mall Gazette*» воззвание к Англии.

В этом воззвании Англию призывают не допускать больше, чтобы такие люди, как Гартман, Кропоткин и Степняк, конспирировали на английской территории *«с целью убивать нас в России»*, — теперь, когда динамит вот-вот взорвется под ногами у самих англичан. Разве не того же самого Россия требует от Англии в отношении русских революционеров, чего Англия теперь сама должна требовать от Америки в отношении ирландских динамитчиков?

24 января утром в Лондоне публикуется прусско-русское соглашение.

И 24 января в два часа пополудни в Лондоне происходят три динамитных взрыва, которые производят больше опустошений, чем все прежние взрывы, вместе взятые, и ранят по меньшей мере семь, а по другим сведениям — восемнадцать человек.

Эти взрывы подоспели слишком уж кстати, чтобы не вызвать вопроса: кому они на пользу?»

Волховский передохнул и спросил:

— Понятно теперь, на что он намекает?

— А при чем же тут польза? Это же месть. Месть ирландцев, и только.

— Н-да... Ума не приложу, какими словами вам еще надо объяснить! Ну, чтобы было яснее, пропустим еще несколько фраз. Вот что пишет Энгельс дальше: «Возможно, что динамит подложили ирландские руки, но более чем вероятно, что их направляли русская голова и русские деньги».

— Понятно, но двусмысленно,— упрямылся Гуденко.— Можно подумать, что он согласен с Новиковой. Ведь русские головы и русские деньги могут принадлежать и русским политическим эмигрантам.

— О, у самого Энгельса такая голова, что он предвидел вашу реплику. Вот что он пишет дальше, чтобы уж не было никаких сомнений: «Способ борьбы русских революционеров продиктован им вынужденными обстоятельствами, действиями самих их противников. За применяемые ими средства эти революционеры ответственны перед своим народом и историей. Но те господа, которые без нужды, школьнически пародируют эту борьбу в Западной Европе... направляют свое оружие даже не против настоящих врагов, а против публики вообще,— эти господа ни в каком случае не последователи и не союзники русской революции, а ее злейшие враги. С тех пор как выяснилось, что, кроме официальной России, никто не заинтересован в успехе этих подвигов, вопрос идет только о том, кто из этих господ является невольным и кто добровольным, платным агентом русского царизма».

— Не в бровь, а в глаз,— веско сказал Гуденко.— По военному это называется точное попадание. Двумя словами отрекомендовал мадам Новикову.

— А вы ее знаете? — удивился Волховский.

— Раза два видел в кругу довольно высокопоставленном. Блистала. А говорят о ней плохо.

— А пишут еще хуже. Я вам не сказал, что Степняк еще раньше Энгельса ответил на ее гнусную статью. И очень хлестко. Написал, что русские революционеры

никаких кровавых заговоров за границей не готовят, что вся их деятельность в условиях свободной страны состоит в обращении к общественному мнению цивилизованного мира в пользу русских революционеров и в пользу свободы своей родины. Предложил этой даме представить доказательства, что он замышляет кровавые убийства. И закончил весьма ядовито, что, мол, в России, в прессе, где подвизаются политические друзья мадам Новиковой, не брезгают никакими средствами. Читайте: клеветой. Но в Англии на это смотрят иначе, и тут называют такое поведение словами, без которых он может обойтись.

— Отбрил Сергей Михайлович. — захохотал Гуденко. — И что же, напечатали?

— Напечатали. Но редактор дал свое примечание. В том духе, что если русские не составляют за границей заговоров, то они отличаются от всех эмигрантов на свете. Что это совершенно неправдоподобно.

Гуденко насторожился. Ведь вся его жалкая и неопределенная служба и заключалась в том, чтобы раскрыть именно кровавый заговор. Он осторожно попытался направить разговор на эту тему.

— Что же, и у редактора есть свой резон. Действительно, неправдоподобно. И такая пройдоха, как мадам Новикова, тоже не станет палить из пушек по воробьям.

— Трудно с вами, Владимир Семенович. Вы никак не хотите понять, что вся эта газетная полемика не частная склока между Энгельсом со Степняком и Новиковой, не поиски какого-то неизвестного русскому правительству конкретного заговора. Это, если хотите, вопрос мирового значения. Закабалить, сгноить все мировое освободительное движение. Не только загнать людей в каменные мешки крепостей и тюрем, а и заткнуть им кляп в рот, истребить самую мысль о свободе и счастье народа. В свое время в Англии нашли пристанище такие гиганты мысли и духа, как Гарибальди, Герцен, Мадзини, Кошут. Поду-

майте, что было бы, если бы их бросили в тюрьмы или висели бы они на перекладине у себя на родине? Насколько мы откатились бы назад к средневековью? А ведь такая угроза нависает от времени до времени, как грозовая туча, над новыми борцами за свободу. И как ни кажется эфемерным общественное мнение на первый взгляд, по сути, оно оказывается действенной силой. А кто его формирует? Энгельс с его авторитетом. Степняк с его темпераментом и энергией...

Волховский задохнулся. В горле пересохло. Налил в стакан воды из кувшина, стал жадно пить крупными глотками. Гуденко смотрел на него притихший, удивленный. Откуда у этого озабоченного, деловитого, скромного человека появился голос трибуна, пафос, броские слова? Значит, что-то горит, не угасая, в этих людях. Быть не может, чтобы они только и делали, что кропали «летучие листки» да переправляли их на родину. А может, и впрямь общественное мнение — это сила?

Тут надо до чего-то докопаться.

## ИТАЛЬЯНСКИЕ ДАЛИ

В каменных джунглях Лондона давно была протоптана Степняком заветная тропа. Как-то получалось, что книжные магазины, лавки букинистов выстраивались знакомой прихотливой вереницей, шел ли он по делу или просто выбегал на часок глотнуть лондонского тумана. От отправлялся на любимую «охоту», сам не зная, что принесет в своем «ягдташе». Он был нетороплив в выборе находки, осмотрителен в тратах и даже скуп. Скуп только в этом единственном случае, как бывают скупы нумизматы, филателисты и такие же книголюбы, как и он. Их радует не сбережение монеты при удачной покупке, а чувство превосходства охотника, мастерски заарканив-

шего ценного зверя. Когда он тратил на подарки — денег не жалел, лишь бы было что расшвырять.

Тут не то что в Петербурге — теперь ему удавалось покупать экзотические вещички. Он сиял, принося в чей-нибудь дом египетского жука-скарабея, хотя бы явно немецкой выделки, или дюжину африканских монеток с дырочкой, чтобы нанизывать на шнурок, или широкий китовый ус, похожий на весло спортивной лодки. Однажды чуть ли не бегом удалился от витрины, где лежала красивая коралловая ветвь на гребешке. Не выдержал и пришел в другой раз. Гребень еще не продали. А как бы выделялся он в смоляных волосах Фанни! Впрочем, и на этот раз денег не хватало, а принес он домой ветхий томик Чосера. И в другой раз тоже — отсыревший, в капельках почти невидимого дождя, найденный на книжном развале старинный том на русском языке славянофила Михаила Погодина, друга Гоголя. В бытность в Москве он часто проходил мимо его просторного бревенчатого дома, стоявшего близ Новодевичьего монастыря в глубине сада, наподобие деревенской усадьбы средней руки.

Находку эту Степняк нес домой, как редкий трофей. Впечатления свои от поездки в Лондон, путевые заметки Погодин излагал с вдумчивостью и талантом публициста незаурядного. Книга эта была прочитана Степняком давно, еще в московском подполье, но теперь радовало, что можно будет подарить ее больному Энгельсу. Как позабавит старика, когда ему прочтут по-английски текст, отмеченный на полях, — описания молодого и жадного накопительства Лондона. В ту пору возникали легенды, будто чистым золотом мостились улицы столицы колониальной державы. О, это настоящий подарок! И всего только за четверть гинеи.

Фанни тоже одобрила находку и углубилась в чтение.

И сейчас, когда Степняк в воскресное утро, получив приглашение, собирался к Энгельсу и облачался в свой

американский непромокаемый плащ, Фанни опередила мужа, сняла с полки том русского путешественника и протянула Сергею.

— Смотри, не забудь, если тебе взбредет в голову по дороге куда-нибудь забрести.

Кто-кто, а уж Фанни хорошо знала — ему может взбрести в голову что угодно.

Виновато улыбаясь, он проворчал:

— Вот выдумала, я и так, кажется, опаздываю.

Энгельса он застал спящим, хотя и пришел в точно назначенный час. Луиза, жена Каутского, которая заняла место скончавшейся домоправительницы Ленхен, провела его в кабинет. Она удалилась, не поглядев на больного, даже не заметила, что он спит. Что-то изменилось в этом доме. Во всем поспешность, деловитость, сухость. Прелесть домашнего уюта, теплота исчезли вместе с Ленхен.

Энгельсу перевалило за семьдесят, но несмотря на годы и на то, что он еще не оправился от болезни, лицо его выглядело свежим и спокойным. Спящий, он казался очень русским — широкий лоб, короткий нос, окладистая бурая цвета перца с солью, борода, в скобку стриженные волосы. А более всего — выражение степенности, скромного достоинства. Такие лица бывали у добропорядочных старост в прежней крепостной России. Герой тургеневского рассказа однодворец Овсянников представлялся Степняку таким. А ведь бодрствующий Энгельс совсем другой — живой, переменчивый, светски любезный, с быстрым, веселым взглядом.

Степняк устроился на низеньком кресле рядом с постелью, стараясь не шевелиться, испытывая ту неловкость, какая возникает, когда наблюдаешь человека, а он и не знает, что на него смотрят.

Сколько же лет этому знакомству? Встречались не часто, а в жизни он значил много. Был и опорой, и забот-



ливым опекуном. И тогда, когда вступил в полемику с Новиковой и без обиняков раскрыл нехитрую механику царской дипломатии. И когда торопил с переводом «Русского крестьянства» для социал-демократического журнала Виктора Адлера. И усердно напоминал ему об обещанном дополнении к «Русскому крестьянству». И при таком педантизме — милое легкомыслие, неукротимое жизнелюбие. Элеонора Маркс рассказывала, что однажды, как только ее отец оправился от тяжелой болезни, Энгельс прислал ему пятьдесят бутылок прекрасного браунсберского вина и написал, что это лучший способ поправить здоровье. Пятьдесят бутылок! Ведь это же впо-ру Гаргантюа!

Энгельс всегда был внимателен и к близким, и к дальним. Не раз в минуты, когда вся муравьиная работа на чужбине казалась бесплодной, он вспоминал строчки из письма старика к Вере Засулич. Энгельс писал, что деятельность Степняка чрезвычайно полезна, потому что она не дает остывать антицаристским настроениям в либеральных кругах Англии. «Чрезвычайно полезна!» Если так аттестует Энгельс, значит надо продолжать.

И тут же совсем некстати вспомнилась со стыдом фраза, бездумно оброненная в разговоре с Аксельродом. Это были счастливые дни, дни встречи с юностью, смеха, воспоминаний, бесконечных разговоров. Освобожденцы Плеханов и Аксельрод кое-как сбились с деньгами, приехали в Лондон, остановились у него. Тогда они с Фанни жили еще на Гров-Гарденс. И хотя гости явились прямо из Парижа, это была встреча с Россией — столько лет дружбы. С Плехановым — еще с питерских времен. И, конечно, первым делом он повлек их к Энгельсу. Куда же еще спешить этим воинствующим марксистам? Он торопил их и приговаривал: «Немедля к старику! Вам он позарез, а для меня только даром пропадает». Даром! Чего не брякнешь, не подумавши...

И, как всегда, когда бывал недоволен собой, взъерошил волосы пятерней, разволновался. Вот тут-то Энгельс проснулся. Как-то по-детски протирая кулаками глаза, заговорил быстро и оживленно:

— Вы давно пришли? Хорош хозяин, заставляет гостя скучать у своего одра! Признайтесь — вы уже хотели сбежать?

— И не думал. Предавался воспоминаниям и листал одну занятную книжку, которую разыскал для вас.

Энгельс высвободился из-под одеяла, взял со столика очки.

— Ну-ка, покажите. Как же я прочитаю? Тут требуются очки переводчика. Маркс мог бы с листа. У него была целая полка русских изданий, и... — он улыбнулся хитро и добродушно, — ваши ранние опыты тоже там были. Сказки для народа.

В плюшевом халате, вязаном шарфе, кое-как навешенном на шею, он уже больше не был похож на русского мужика, скорее, на добродушного весельчака-профессора. Степняк с удовольствием отмечал эти превращения, сказал:

— Я вам сейчас для аппетита прочту одно отчеркнутое место, и вы увидите, что глаз у Погодина, даром что славянофил, был приметливый и проницательный. Угадывал кое-что за несколько десятков лет, — он полистал лохматые страницы и нашел нужное место. — Послушайте-ка: «Вот где сердце Англии, золотое. (А другое едва ли есть у ней.) Золото сверкало, сыпалось и звенело по столам: с каким проворством и ловкостью считают его банкиры. Лишь только отдается в ушах. Народу толпилось множество, и ходило взад и вперед, поглядывая с жадностью за решетки, а банкиры, ничем не смущаемые, считали, считали. Долго смотрел я на тех и других.

— Вот он, всемирный базар, вот столица народа, купующего и продающего, с похотью очей и гордостью

жителей, который трудится изо всех сил, ломает себе голову и шею, ухищряется, выдумывает, мерзнет у полюсов и пёчется под экватором, — с одной целью приобретать себе больше и больше; народа, который богаче и беднее всех в мире, народа, у которого личное право развилось наиболее, у которого дом есть крепость, и проч. и проч.»

Степняк захлопнул книжку и вопросительно поглядел на собеседника. Энгельс задумался, машинально размотал шарф на шее, взял свежий номер «Таймса» со стола и, как бы соглашаясь с автором книги, протянул его Степняку. На пятой странице толстой газеты в узеньком столбце нонпарелью сообщалось о том, что на днях вернулся с малой группой друзей известный исследователь джунглей Черной Африки «наш соотечественник» Стэнли. Он провел в краю диких племен и опасных зверей более трех лет под палящим солнцем.

— Это прямая иллюстрация умных рассуждений славянофила. Горячо благодарю вас за этот подарок, сэр. Он не залежится у меня на полке. Вы лично знали Погодина?

— Он умер давно. Был профессором Московского университета. Редактировал журнал «Москвитянин».

— Люблю драчливых, — сказал Энгельс, засмеялся и тут же раскашлялся.

Этот сухой, надтреснутый кашель больно царапнул Степняка. Что-то долго не выздоравливает старик. И пытаюсь скрыть свою тревогу, и сам принужденно засмеялся.

Приступ кашля прошел, Энгельс приложил платок к губам и пристально посмотрел на Степняка.

— Мне жаль, что назначил такой поздний час для нашей встречи. Если бы вы пришли пораньше, застали бы у меня своего старого знакомого. Может, он и посетит вас. Я дал ему адрес. Итальянец Луиджи Карачелло. Вы вместе сидели с ним в тюрьме.

— После восстания в Беневенто?

— Именно тогда. Мы много говорили о вас.

— Неужели он меня помнит? Прошло столько лет...

— Не только помнит, но и разыскивал вас пять дней в Лондоне. Только не Сергея Степняка, а Абрама Рублева. Удивительно, что я запомнил этот псевдоним и сразу понял, о ком идет речь.

Под именем херсонского купца Абрама Рублева Степняк сидел в тюрьме Санта Мария Капуа.

— Восстание в Беневенто отцвело, не успевши расцвести... — задумчиво-тихо заметил Степняк.

Энгельс со странной улыбкой смотрел на него:

— Да, попытка была неудачной. Революцию нельзя импровизировать. Ребячество. Но говорили мы не об этом, а о вас. И больше всего меня поразила одна подробность. Карачелло сказал, что в ожидании суда, суда, который, несомненно, должен был вам вынести смертный приговор, как же иначе, — вооруженное восстание, желание свергнуть короля, изменить государственный строй! — и в ожидании приговора вы, оказывается, занимались изучением испанского языка. Какой безудержный оптимизм! С чертями или с ангелами вы собирались говорить на том свете по-испански? Или считали себя бессмертным? Признавайтесь!

Степняк смущенно потупился:

— Бессмертны те, кто совершают подвиги, и великие художники. А я скромный литератор.

— Унижение паче гордости. Мы знаем о ваших подвигах, и, к сожалению, не только мы, но и те, кому лучше было бы о них не знать. Но меня радует, что я могу ответить на ваш подарок подарком вашего товарища. Он просил вам передать вот эту книжечку. Я всегда знал, что вы разносторонне одаренный человек, но... «Пособие по ведению партизанской войны»!.. Это же просто здорово! Луиджи сомневается, что у вас уцелели другие экземпляры. — И он протянул Степняку тоненькую книжечку: —

Примите скудный, но бесценный дар Луиджи Карачелло. Хотя у него теперь есть ваш адрес, но едва ли он сможет воспользоваться им. Сегодня вечером покидает Лондон.

— Луиджи Карачелло... — повторил Степняк.

Этого человека он считал погибшим. Он знал его очень давно. Лет семнадцать назад. Он делил с ним миску мамалыги, горсть осклизлых спагетти, вместе шагали босыми ногами по глиняному полу. Чтобы взглянуть на божий свет, залитый лучами южного солнца, они громоздились по очереди на плечи друг другу. Почти год они спали на соседних койках в тюрьме Санта Мария Капуа Ветере. Укладываясь спать, Карачелло долго кряхтел, что-то бормотал вроде молитвы, накрывался с головой своим отрепьем, как настоящий лаццарони. Сергей долго смотрел на него и бормотал услышанную некогда от питерского рабочего складную поговорку: «Сколько ни поститься, а не евши не спится». В самом деле, Луиджи Карачелло поголаживал на тюремных харчах и долго, бывало, не мог заснуть. Только он не понимал, что говорит ему русский товарищ, и, привстав на локте, отвечал: «Салют и солидарность!» А с утра начинались эти бесконечные рассказы портного из Сиены о детстве в сонном родном городке...

Теперь, когда он возвращался от Энгельса с тоненькой брошюрой по ведению партизанской войны, ему казалось, что он знал Луиджи всю жизнь. Луиджи был настоящим плебеем, со своей клочковатой бурой щетиной с кривым от рождения, а еще к тому же проломанным в уличной драке носом. Он без всякого тщеславия носил аристократическую фамилию Карачелло и угрюмо отмахивался от дружеских насмешек: «Какой я вам маркиз! Хотите обругать — зовите лаццарони». Он был из тех неграмотных итальянцев, которые больше всего на свете

обожают театр, но только театр своего городка, на своем наречии. Он и сам обладал стихийным талантом актера, одержимого страстью к лицедейству. По вечерам он заставлял товарищей по неудавшемуся восстанию, заключенных в каменный мешок тюрьмы, хохотать до колик, до полного изнеможения, когда, подражая несравненному Сентерелло, один во многих лицах изображал то префекта полиции, то вора, то кухарку, то солдата или могильщика. Его подлинной страстью была опера, и, загибая пальцем свой нос, чтобы его «облагородить», он пел все мужские арии из опер Доницетти, Беллини, Россини и ранних опусов Верди. И в этой всепоглощающей привязанности был у него в тюремной палате неожиданный друг и наперсник — Аурелио Марабини. В таких маленьких городках людей разных сословий и общественного положения часто объединяют народные развлечения. Быстро похудевший в тюрьме доктор прав и кривоносый портной знали друг друга до неудачного похода в горах Матезе.

На народных гуляньях дважды в год они состязались в скачках на маленькой площади Пьяцца-дель-Кампо. Место было выбрано нелепо, дистанцию проходили в три круга, но зато малые размеры площади уравнивали шансы толстяка и тощего портного. По вечерам они снова встречались на представлениях в полутемном зале сиенского театрика, который обожали со всем пылом провинциального патриотизма. Доктор прав побывал во всех лучших театрах Парижа и Лондона, но тут они были равны. Конечно, Аурелио Марабини по своему положению в городе должен был покупать билет в первых рядах, а кривоносый — где-то позади, на почтительной дистанции. Но после антракта доктор Аурелио менялся местом с каким-нибудь мальчишкой, и тогда удваивалось их наслаждение. Указательными пальцами они молча исполняли на коленях друг у друга знакомые им с детства партии. Все это рассказывалось так живо, с такими не-

повторимыми подробностями, что осталось в памяти на всегда. Да весь тот арестантский год нельзя забыть.

Он был молод тогда. Вскочив поутру, он трогал за плечо Луиджи и, не дождавшись общего подъема камеры, начинал по своей особой методе совершать утреннюю гимнастику. Потом, присаживаясь на койку к одному, к другому, болтал, совершенствуя свой итальянский, то на благородном тосканском наречии, то на грубоватом ломбардском, то неаполитанской скороговорочкой. Всю жизнь он собирал словари, наслаждался прелестью иноязычной речи, выискивал связь между ее звучанием и национальным характером. Иной раз долгой тюремной ночью в бессвязных снах его по-итальянски говорили старые питерские товарищи.

После тюремной похлебки его подзывал к себе Карло Кафиеро. Они усаживались за перевод «Капитала». Переводил-то Кафиеро, но он помогал ему сделать этот серьезный труд доступным для итальянских малограмотных рабочих. За плечами опыт сказок для народа и «Мудрица Наумовна», где он прямо толковал марксову теорию, да еще несколько тоненьких брошюр, написанных в Неаполе перед походом в Беневенто.

О, Неаполь! Начало всей беневентской эпопеи, Неаполь! Он жил тогда в Неаполе с чужим паспортом херсонского купца Абрама Рублева. Где он сейчас, этот паспорт? Кажется, бросил его в воды Ламанша, подплывая к Дувру.

Там, в Неаполе, жили тогда последователи Бакунина Кафиеро и отчаянный рыцарь анархии Малатеста. Оба — вожаки беневентского восстания, высокообразованные молодые люди из богатых аристократических семейств. У Кафиеро даже графский титул. Кафиеро вложил в организацию похода весь свой капитал — пять тысяч франков, остатки полученного наследства. Они свято верили Бакунину, что слова не подымут народ, победит только

пропаганда действием. И, несмотря на неудачу первой попытки, были бодры и вселяли веру в своих темных товарищей.

Каждый день в тюремной камере слышался красивый голос Эррико Малатесты: «Салют и солидарность». И все вскакивали с коек, как на молитву.

Ночь южная, почти африканская, когда мохнатые звезды глядят в высокое оконце камеры, была как бы создана для самых фантастических мыслей, мечтаний, и все они казались осуществимыми, только посильнее захотеть. Высокогорные луга Матезе таили скопище ароматов, а под утро, когда небо темнело перед рассветом, эти запахи вливались волнами в окно, будили надежды, веселили душу. Он рисовал давно выношенный план восстания русских крестьян и яицких казаков на Урале и еще в другом конце Европы — в Кастилии. Ах как он был молод тогда! Со всей осторожностью, застенчиво улыбаясь, он иногда делился ночными мыслями с Эррико и Карло. Люди одной судьбы, они поймут. И он убеждался, что мечты впрямь рождают отклик у друзей. Конечно, «пропаганда действием» — дело прямое и верное, но не мешает революционеру знать труды Маркса и друга его Энгельса. Они воевали с доктринерами и всяческими псевдоучеными. А что несет с собой Бакунин? И не пора ли однажды отбросить все эти катехизисы и учебники, проповедующие, как обрести счастье людям, и без подсказок попросту окунуться в море народное.

С той же неудержимой энергией он взялся тогда в тюрьме за изучение испанского языка. Как же! Впереди Кастилия. В соседней камере сидел плотник из Валенсии, и теперь иной раз до ужина он просиживал в разговорах с ним.

Товарищи хохотали:

— А как дело с лапландским? Там, на севере, тоже люди, правда, в меховых перчатках и играют в чехарду



с белыми медведями, но они тоже ждут, когда ты придешь им на выручку.

А в тон им, как всегда набычившись, он отвечал:

— Я выбрал испанский, потому что это наш язык. Язык мечтателей. На нем говорил Дон-Кихот.

— Салют и солидарность! — склоняя головы, отвечали друзья.

Непонятно, по какому психологическому закону восстанавливаются в памяти не мрачные картины полицейской облавы, ареста, тяжелого марша под конвоем на вершину Матезской горы и водворение под раскаленные своды тюрьмы, переделанной когда-то из средневековой крепости, а рассказы сиенского портного и шутки старых друзей?

А между тем история восстания в южной провинции Италии была на самом деле не столь веселой, скорее трагической. Но ему, тогда двадцатилетнему и в самом деле жизнерадостному, в ореоле молодости, в восторге коллективного самопожертвования все казалось безумно отважным, бесшабашным, хмельным, чему есть прекрасное русское название — трын-трава.

Малатеста и Кафиеро вовлекли его в безнадежный план, по которому необходимо было завербовать сравнительно многочисленный отряд вооруженных инсургентов и двинуться к цели через Юг Италии. Отправная точка — самая отдаленная провинция Беневенте. Там беднота, измученное поборами чиновников невежественное крестьянство. Считали, что если захватить поначалу две-три деревни, раздать жителям из казенных складов или амбаров соль и табак, а также конфискованные в мэрии наличные деньги, а заодно уничтожить на глазах у ошарашенных рыбаков списки налогоплательщиков, то этот пример проложит партизанам дорогу из деревни в деревню, из провинции в провинцию, и так до самого Ка-

питолия. Ах, какая это была глупость! Но как она завораживала надеждой...

Несколько вечеров Абрам Рублев излагал заговорщикам свою инструкцию по ведению партизанской войны в горах и лесах, на пересеченной местности. Тут было о чем поговорить. Его вдохновлял и беспримерный опыт Гарибальди, запомнились и лекции в артиллерийском училище об операциях Дениса Давыдова и Фигнера в 1812 году.

Он радовался. Наконец-то Абрам Рублев, херсонский купец, нашел свое место.

Горстка революционеров иногда проявляла предусмотрительность. И на этот раз разумно предполагали начать дело в июне, когда растает снег на вершинах Матезских гор.

С грузом оружия в сопровождении молодой русской девушки он приехал в городок Сан-Лупо и нанял домик под склад.

Но, как всегда, подвел случай. Нашелся предатель и спутал все карты.

Но даже если бы и не было предателя, старой лисы Фарины, когда-то подручного Кавура, попортившего немало крови Гарибальди, все равно предприятие было обречено на провал. В городке полторы тысячи жителей. Каждое новое лицо на виду, и вдруг — скопище иногородних! Они съезжались со всех концов Италии. Начальник полиции, заранее предупрежденный, мог бы обойтись и без доноса Фарины. Повстанцы и сами понимали, что смешно отсиживаться, обманывая и карабинеров и самих себя.

Вечером пятого апреля в городке началась перестрелка. Карабинеры атаковали повстанцев, чтобы рассеять их и захватить склад оружия. Впрочем, и оружия-то было всего два ящика.

Не так уж много пролилось крови. Был ранен один карабинер, который вскоре и умер. Но это событие сильно устрожило статью обвинения.

И этой же ночью на станции были схвачены четверо, и в том числе он сам. Все произошло так молниеносно и неожиданно, что он даже не успел выхватить из кармана револьвер.

Как разворачивались дальнейшие события, он узнал только в тюрьме от Кафиеро. Почти целую неделю отряд, более двадцати человек, уходил от преследования, поднимался по гористым тропам к вершине Матезе, минуя сугробы сползавшего под ногами снега. Местный крестьянин шел проводником. За ним гуськом плелись грузчики, типографщики, портные, сапожники, ковровщики, шляпочники — итальянцы из многих провинций, движимые одним желанием — послужить своей отчизне, как Гарибальди. Замыкал колонну Кафиеро.

Они захватили два маленьких городка и сумели все сделать, как предполагали, как учил Михаил Бакунин, — раздавали деньги, взятые у сборщика налогов, соль и табак. Но как это было смехотворно мизерно в сравнении с затраченными усилиями и риском.

И все же их настигли регулярные королевские войска — пехота, кавалерия и части карабинеров. Тут-то и наступил конец, в сущности, бессмысленной бакунинской «пропаганды действием».

Юнцов Малатесты могли бы образумить Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Только они, пожалуй, могли сдержать их бесплодный порыв. Чем больше проходит времени, тем сильнее тянутся к мыслителям этим все, кто стремится послужить человечеству. Вот и сегодня случилось так, что в один день принял в своем доме Энгельс двух бойцов Матезских гор. Так они и не успели обняться и сказать друг другу: «Салют и солидарность!»

Разошлись, наверное, чтобы никогда больше не встретиться. А жаль. И еще жаль, что не припомнили вместе с веселым портным тот прекрасный финал тюремной эпопеи.

Умер король Виктор Эммануил II. Он не успел приговорить их к смерти, не успел — сам умер. Гора с плеч. Он не умер, но в бозе почил, не увидев их смерти. И прошло всего пятнадцать дней — на престоле воцарился Умберто I. Он даровал амнистию.

Первым выпустили за тюремные ворота, как иностранца, «херсонского купца Абрама Рублева, русского подданного». Но он замешкался в городке. Куда ему спешить, в самом деле? Он дождался товарищей.

В деревенской таверне вчерашние инсургенты, еще не сбросив арестантских курток, засели пировать за просторным, грубо оструганным столом. Кьянти лилось в тот вечер рекой, потому что крестьяне просовывали в низкую дверь и в окна кувшины с крепким местным вином. В разгар веселья Малатеста и Кафиеро поднесли русскому другу чудесный подарок. Кто изготовил его, прокалил в кузнечном горне, отковал, отточил, этот кинжал?

Малатеста сказал тогда, протянув на вытянутой правой руке кинжал, а на левой — черные кожаные ножны: — Это не символ. Совсем не символ, дорогой друг. Мы расстаемся с ним. А когда наступит время, рази им врага.

Какая определяющая минута жизни! Кажется, никто не заметил за широкой улыбкой, веселым смехом, как он смахнул слезу. Тайная вечеря в сельской глуши Италии! Набежавшие отовсюду мальчишки оседлали окна траттории. Звенели стекла разбитых стаканов под возгласы ошеломленной хозяйки. Обнимались. Лобызались. И давно уже погасли огни во всех окнах деревни.

Утром в одноконной коляске священника доктор прав укатил на станцию. Он спешил к поезду, ему было недосуг — скорей, скорей домой, в Сиену! Никого не взял с собой.

— Я, конечно, могу подвезти, да тесно. Намнет вам бока в этой сельской таратайке.

Он помахал рукой земляку-портному, и в облаке щепочной пыли Луиджи Карачелло, со своей шатией вышедший на дорогу, тоже помахал рукой, но движением, каким отгоняют мух с лица покойника.

В тот день отправились на станцию, где год назад сошлись их пути.

А часом позже, в одиночку, чтобы насладиться прощанием с Матезой, зашагал Абрам Рублев. Он был молодой, как говорили, красивый, богатырского сложения, хотя бог и не наградил его богатырским ростом.

Его спрашивали на дорогах:

— Куда путь держишь, милый человек?

— Из Вологды в Керчь.

Его, конечно, никто не понимал. Он оборачивался и договаривал:

— Из Керчи в Вологду.

Он был давненько не стрижен. Кончики его кудрей, когда он закидывал голову, чтобы взглянуть на горные вершины, цеплялись за кожаные узелки висевшей за плечами котомки. И вдруг набегало горькое чувство — вспоминалось прощание доктора прав с сиенским портным. И снова чему-то улыбался. Еще не растаял снег на Матезе. Ну да ничего. Он не обескуражен.

В стоптанных башмаках, а то и босиком прошел он всю страну с юга на север. Иногда не было и сантима в кармане, а в торбочке болтались подаренный кинжал, испанский словарь и затрепанный томик Сервантеса.

Улегшись на спину в тени цветущего оливкового дерева, он рыскал в строках словаря и думал о том, что каждый народ способен до тонкости выражать свои чувства и мысли только на им же созданном языке. Нелегальный бродяга с чужим паспортом, он чувствовал себя на каникулах в этом пешем путешествии, свободным от обязательств, взятых добровольно и навечно. Он любил красоту во всем. Италия, ее народ, ее природа покоряли его

прелестью красок и звуков. Вдали звенели колокола, пели в рощицах и садах незнакомые птицы. Райская страна! Он шел веселый, пел песни забытого навсегда детства, по пути выстрегал деревянный манок-свистульку, привлекал к себе птиц. А иногда деревенские псы доверчиво окружали его, чутьем понимая, что от этого веселого человека худа не будет, и он далеко уводил их за собой.

От главной дороги проселки уходили к прудам, он купался, когда становилось жарко, в полдень. И снова — на мощенную щебнем дорогу, ведущую к холмам, где вдали виднелись старинные замки, шпили церквей. Он туда не поднимался, не надо.

Наступили жаркие времена, и он ночевал вблизи дороги, положив под голову свою котомку, ощущая затылком кинжал в кожаных ножнах. Ему шел двадцать седьмой год. Все было впереди. Пусть неудача. Он несколько не усомнился. Толчок. Только толчок. Нужен только толчок. И в глухих лесах Урала или на побелевших от зноя землях Кастилии — все равно.

С сапогами на плече он прошел поймой большой реки. Она разлилась в половодье без конца и края.

В Милане он на короткий срок изнемог, не пожалел пяти сантимов, сел в омнибус, чтобы выбраться на противоположную окраину великого города. Ему изменила привычная любознательность. Он просто устал.

— Чего уселся на господских местах? — гаркнул кондуктор.

Сергей рассмеялся. Значит, похож. Не отличают от простого народа, которому век служить.

— Проваливай!

Он подмигнул кондуктору и выпрыгнул на ходу, послав надменному церберу воздушный поцелуй.

В конце апреля он вышел наконец через альпийские перевалы в Швейцарию. В первом же пограничном городке встретил русских скитальцев-эмигрантов.

— Хочу писать. Теперь в Женеву, сотрудничать в «Общине». Очень заскучал по русскому языку,— сказал он товарищам вечером после скромной трапезы, вставая из-за стола таверны.— Угостили меня на диво. Первый раз за два месяца наелся досыта.

...Он понял, что вокруг плотная серая мгла, только у одноколейки, когда из-за поворота возник огненный глаз паровоза, осветил темноту и промчался вперед. Зловещий свет будто царапнул, растревожил что-то забытое, и снова платформы потонули в спокойной полутьме

## ЛЯГУШКА В БАНКЕ

С полудня старый Джеймс, лакей лорда Сэвиджа, наблюдал, как неистовствует петербургская гостья, приглашенная поселиться в доме в отсутствие хозяев. Она металась по комнатам, за завтраком отослала повару пудинг — сыроват. Ткнула в плечо свою горничную Глашу, которая принесла ей недостаточно горячую воду для какого-то косметического компресса, и, наконец, устроила истерику, когда попугай, недоверчивая ехидная птица, ущипнул ее за палец. Нетрудно было заметить, что нервы ее расходились после того, как почтальон принес какой-то увесистый пакет. Печальные известия? Едва ли. Об огорчительном обычно пишут короче. Может быть, денежные затруднения? Но в этих случаях леди не обнаруживают своих чувств так открыто. Да и леди ли она? До сих пор она держалась с достоинством. Джеймс привык подавлять в себе любопытство, неизбежное у людей, обладающих неограниченным досугом, и отложил решение этого вопроса. Но под вечер, проходя мимо полуоткрытой двери туалетной, он увидел лицо леди Новиковой, отраженное в зеркале, и ужаснулся

В овальном зеркале, поддерживаемом двумя фарфоровыми амурами, отражалось неузнаваемое лицо, сплошь покрытое ломтиками сырой, вяло-розовой телятины. Незащищенным остался только вздернутый, слегка посиневший нос и густые соболиные брови. Силы небесные! Леди Сэвидж не употребляла даже обычных притираний и сияла красотой и свежестью в свои сорок пять лет. Богобоязненному Джеймсу это лицо показалось какой-то готтентотской маской, он отшатнулся от двери, но питерская гостья нестеснительно позвала его, подала запечатанный конверт и приказала ехать по указанному адресу. К тому же от Джеймса требовалось не только доставить письмо, но и незамедлительно привезти адресата. «Живого или мертвого», — добавила она. Нет, безусловно, эта женщина не леди. Зачем может понадобиться даме из общества покойник? Решив для себя этот вопрос, Джеймс отправился распорядиться, чтобы закладывали лошадей.

Оставшись одна, Ольга Алексеевна заметила, что во время разговора от ее скулы отвалился ломтик телятины. Она нагнулась к зеркалу, чтобы посмотреть, не разгладились ли мелкие морщинки около глаз, и, не увидев ничего утешительного, с яростью принялась сдирать с лица куски мяса и швырять их на салфетку. Лицо ее исказилось. Она увидела себя в зеркале, испугалась и снова принялась приклеивать ломтики к щекам. Густые брови ее шевелились, то сдвигаясь, то раздвигаясь, подобно гусеницам, копошащимся в увядших цветах, хотя по рекомендации врача-гигиениста ей полагалось сидеть сорок минут, не двигая ни одним мускулом лица. Сегодня она была слишком взволнована, чтобы послушно следовать этим советам. И не в силах сдержать негодования, резким движением сбросила с туалетного столика кипу бумаг, исписанных прозрачным, каллиграфическим почерком Гуденки.



Дерзкий план агента Рачковского осуществился лишь отчасти. Ольга Алексеевна действительно пришла в ярость, прочитав корреспонденцию Степняка, но ничуть не посчитала Гуденку, как он полагал, добросовестным тупицей, а сразу разгадала его намерение поиздеваться над ней. Ошибся он и в том, что ее до глубины души возмутят дифирамбы, адресованные «преступному эмигранту». Глубины ее души гораздо более были затронуты беспримерной дерзостью Гуденки и страхом перед тем, что, раз он позволил себе так поступить, значит, поступать так можно. Можно потому, что подступает старость, и даже этот ничтожный шпик понимает, что она сходит со сцены. Сходит со сцены... Она! Друг, советник, корреспондентка вершителей судеб Европы, ученых, писателей, архиепископов. Она! Сыгравшая не последнюю роль в нейтралитете Англии во время русско-турецкой войны, отдавшая всю свою жизнь политике, — сходит со сцены.

— Со мной не так-то просто... Мы еще посмотрим, поглядим, — бормотала она шепотом, стараясь не шевелить губами.

Высказавшись вслух, она почувствовала некоторый прилив сил. Огорчения возбуждали в ней энергию. Так было всегда, даже в ранней молодости.

Лет тридцать назад в Петербурге гремела слава салона великой княгини Елены Павловны. Его называли петерскими Афинами, академией наук и искусств, сравнивали с двором Екатерины Второй, спустя десятилетия воскресшей в ее титулованной свойственнице. «Четверги» Елены Павловны назывались «морганатическими вечерами», так как гостей приглашали, не считаясь с их чинами и званиями, а лишь с талантами и известностью. При дворе этот салон считался либеральным. В нем бывали Антон Рубинштейн, Аксаков, Полонский, Милютин, Ка-

велин, фон Кайзерлинг, приезжие ученые и музыкальные знаменитости. С каждым из них великая княгиня говорила подолгу, обнаруживая неожиданную осведомленность в самых разнообразных вопросах, вызывая общее удивление своей эрудицией. Мало кто знал, что наставником и репетитором Елены Павловны была ее фрейлина, госпожа фон Раден, женщина образованная и трудолюбивая. Дни и ночи она проводила за подбором цитат и выдержек из журналов и ученых трудов для великой княгини. Среди немногих, кто знал роль фон Раден при дворе великой княгини, была Ольга Алексеевна Новикова, урожденная Киреева, которая вместе с мужем бывала в Михайловском дворце. Честолюбивая, миловидная, обладающая редкой памятью и не менее поразительной склонностью к интригам, она захотела заменить ученую фрейлину и при первом же разговоре с Еленой Павловной, смело глядя ей в глаза, сказала:

— Екатерина Великая умерла, не оставив наследницы, способной воплотить ее мечты, но семена, брошенные ею в русскую почву, дали роскошные всходы в вашем дворце.

Казалось бы, что в этом шаблонном витиеватом комплименте не было ничего обидного, но в тоне, за которым чувствовалась неукротимая энергия молодой карьеристки, Елена Павловна уследила неуместный покровительственный оттенок. Спустя некоторое время Новиковой передали, что великая княгиня сказала фон Раден:

— Кажется, эта бойкая особа позволяет себе выражать одобрение моим вечерам?

Провал был полный. Ольгу Алексеевну с мужем изредка приглашали на «четверги», но больше ей ни разу не пришлось говорить с хозяйкой салона.

Неудача не заставила Ольгу Алексеевну отказаться от честолюбивых мечтаний и только ожесточила ее. Теперь она уже мечтала соперничать с самой великой княгиней, но понимала, что это невозможно. Пока что спешила вос-

пользоваться знакомствами, какие можно было завязать в Михайловском дворце. Там она завоевала дружбу Победоносцева. Он уже давно занимал высокую должность воспитателя наследника престола, но еще не стал обер-прокурором святейшего синода. Чутьем интриганки она угадывала его будущее огромное влияние на дела государственные. При встречах замирала перед его протяженной костлявой фигурой, закинув голову, смотрела снизу вверх на его зловещее свиное лицо в огромных очках, как смотрит маленькая собачка на хозяина в ожидании кусочка сахара. Без тени смущения объяснила, что посещает «четверги» ради того, чтобы поговорить с ним. Зловещий, старообразный, он склонял к ней ушастую голову в ореоле легких волос и, пренебрегая благопристойностью, ядовито осуждал всех гостей княгини. Такой же тощий и высокий ректор Дерптского университета граф Кайзерлинг, тронутый бескорыстным интересом к его занятиям, стал ее постоянным чичисбеем на «четвергах». Она была слишком миловидна, чтобы ее решились назвать синим чулком, но репутация умной верноподданной патриотки утвердилась за ней прочно. Число ее поклонников среди убеленных сединами сановников росло.

Из всех назидательных притчей и сказочек, какие ей пришлось слышать в детстве, лучше всего ей запомнилась история двух лягушек, попавших в банки с молоком. Одна смирилась со своей участью и погибла. Другая так долго била лапками, что молоко превратилось в масло — и лягушка выскочила на волю.

Ольга Алексеевна работала. Читала, подавляя зевету, труды Кайзерлинга по геологии, вникала в тончайшие оттенки славянофильских споров в московских гостиных Самарина и Аксакова, чтобы, вернувшись в Петербург, поражать воображение Победоносцева запомнившимися афоризмами. Но масло все еще не сбивалось, с салоном ничего не выходило.

Отчаявшись, она уехала из Петербурга и целый год провела у своего деверя Евгения Петровича Новикова, русского посланника в Австрии. Это было не потерянное время. По-прежнему, избрав своим девизом старую поговорку «терпение и труд все перетрут», применяя все ту же методу, она ловила все, что говорилось на дипломатических раутах и обедах, и сумела покорить австрийского канцлера Бейста. Впервые она встретила его на обеде у турецкого посланника Халил-паши. На другой день Бейст явился к ней с визитом и вручил весьма неуклюжие вирши, которыми очень гордился.

*Россию с Австрией гнетут раздоры,  
Все из-за Турции ведутся споры,  
Но, пригласив прелестнейшую даму,  
Халил-паша, чистойшая душа,  
В один момент прикончил ссоры, драмы,  
И с этих пор послов турецких дом  
Для стран обеих стал связующим звеном.*

Эта победа сразу сделала ее самой влиятельной дамой в австрийском дипломатическом мире.

Там было принято говорить, что Новикова обладает ключом к сердцам великих людей. Ее соперницы уверяли, что банальная эта метафора была не слишком точной. К различным замкам требуются разные ключи. А Ольга Алексеевна работала одним универсальным инструментом, который, скорее, можно было назвать отмычкой. Секрет был прост. Она окружала вниманием и изысканными заботами только тех, кто уже достиг преклонных лет. Сердечные увлечения и молодые, даже блестящие люди для нее не существовали. Такое предпочтение покоряло старцев. Ее поклонники отличались постоянством и преданностью. Для них уже миновала пора легкомысленных измен и перемен. Престарелые дипломаты, когда-то предмет соперничества молодых дам, теперь переживали вторую молодость в атмосфере восторгов и прекло-

нения Ольги Алексеевны. Она не требовала от них того, чего они уже не могли дать, и стремилась только погрузиться в их дела и планы, восхищаться их опытом, интуицией в области международных проблем. Это неподдельное внимание возвращало им утраченную веру в себя, смягчало страх перед старостью. Можно было предаваться любым иллюзиям. Дряхлый лорд Непир, бывший английский посол в Петербурге, отдавая должное такту госпожи Новиковой, сказал в кругу друзей: «Нет импотентных мужчин, есть нетактичные женщины».

Много позже, когда Ольга Алексеевна стала не только хозяйкой великосветского салона, но и довольно известной верноподданной публицисткой, автором катковских «Московских ведомостей» и лондонской «Пэл-Мэл газетт», другом, советником Гладстона, причины ее длительного пребывания в Англии были расшифрованы лондонской газетой «Уорлд», в которой ее называли русской разведчицей, писали, что «автор — платный агент русского правительства, занятие которого состоит в возбуждении интереса к этой стране, одурачивании влиятельных стариков и выведывании у них полезных сведений».

Эту аттестацию можно было отнести и к более ранним годам Ольги Алексеевны. Ее увлекала только одна цель. Она как бы между делом вышла замуж за полковника Ивана Петровича Новикова, который вскорости стал генералом и попечителем Петербургского учебного округа. Между делом родила сына и, сдав его на попечение кормилиц и нянек, предалась своей бурной деятельности. Только раз в жизни в ней вспыхнули родственные чувства, когда погиб на войне в Болгарии ее брат Николай. Но и тут дело было не в кровной привязанности. Эта смерть послужила трамплином для ее возвеличения. Подобно гневной Немезиде, она трубила по всему Лондону о своем великом несчастье, о неслыханном зверстве турок, убивших ее брата на поле боя. Справедливости

ради надо сказать, что он погиб во время сражения, как погибали тысячи русских солдат и офицеров. Погиб в штыковой атаке, но не сделался жертвой турецких зверств.

Умение Ольги Алексеевны создавать вокруг себя шум, будоражить общественное мнение, ее кипучая энергия пришлись очень ко времени Гладстону в его борьбе с туркофилом Биконсфилдом. Тогда-то и завязалась длительная дружба между английским премьером и Новиковой. Смерть Николая Киреева оказалась неразменным рубликом в ее лондонской карьере. Пожалуй, это время было вершиной ее успехов. Дальше, хотя и не сразу, все пошло под гору.

Ольга Алексеевна была умна, но недалёковидна. Ей не приходило в голову, что самый тонкий расчет превращается в просчет, если в нем не делать поправку на время. Преданная гвардия ее поклонников выходила из строя. Умерли Бейст, Кайзерлинг, тяжело болел Фруд. Лорд Непир был теперь английским наместником в Мадраसे. В письмах предавался сладостным воспоминаниям о петербургских вьюгах, лихих тройках, на которых катал ее к Черной речке и в Новую Деревню к цыганам, с нежностью вспоминал даже лондонский смог и проклинал удушающую мадрасскую жару. Она отвечала на письма редко и небрежно. Долго ли может протянуть старик в этом ужасном климате? Страсти, которые кипели в парламенте по поводу Балканской войны, давно остыли. Гладстон увлекся флиртом с Ирландией и не мог говорить ни о чем, кроме гомруля. Для новых более молодых деятелей, пришедших к власти, Ольга Алексеевна интереса не представляла. Она вышла из моды. То, что еще недавно было последним криком моды, очень скоро превращается в старомодное. И нужны десятилетия, чтобы снова заблистать, теперь уже в качестве ценной реликвии старины. Что удивительного, что пожилая дама интересуется

политикой? Старухи всегда интересуются парламентскими сплетнями или религией.

Ольга Алексеевна металась. Напечатала несколько саморекламных мемуарных статей во французских журналах, опубликовала несколько писем Гладстона в России, а их немедленно перевели в Англии.

Гладстон был недоволен, но пощадил ее. Ответил сквозь зубы, что никогда и никому не писал того, что не могло бы быть предано гласности, но сожалеет, что при обратном переводе несколько исказили его мысли и стиль.

Надо было искать новое поле деятельности.

К русским революционерам Новикова испытывала жгучую ненависть. Даже отдаленная угроза, что может измениться мир, в котором она так удобно и счастливо устроилась, приводил ее в трепет. Бороться с нигилистами в официальной прессе, не брезгая явными и тайными доносами, она считала для себя доблестью. Это упрочивало на родине ее давнюю репутацию верноподданной патриотки. Пусть даже в русском аристократическом обществе от нее несколько отшатнулись. Зато в правительственных бюрократических кругах ее все еще ценят. Но часто выступать в катковских и суворинских рептильных газетах ей не хотелось. Это значило бы становиться одной из многих. В России она занималась только филантропией, вроде покровительства ренегату Тихомирову. С помощью Победоносцева она подыскивала ему работу, он становился ее конфидентом, и в письмах она не гнушалась жаловаться ему на прежних его соратников: «Проклятый Stepniak мутит всех и все в Англии против всего, что дорого России. Просто горе, горе...» Особенное негодование вызвало у нее «Общество друзей русской свободы» и его орган «Свободная Россия», созданный по инициативе Степняка.

Она радостно ухватилась за надежду истребить, прикрыть это общество, когда узнала, что в числе учреди-

телей есть несколько членов парламента. Что же это получается? Выходит, что члены английского парламента участвуют в обществе, противопоставляющем себя русскому правительству? Не собирается ли Англия объявить войну России под предлогом переустройства ее государственного порядка? Она немедленно отправила премьеру письмо, полное недоуменных и негодующих вопросов.

Ответ был получен довольно сухой.

«Дорогая госпожа Новикова!

Я снесся с Лефевром и посылаю вам выдержку из его ответа ко мне. Должен сказать, что Томас Бёрт, имя которого находится в списке этого мало известного общества, человек, по моему мнению, совершенно не способный участвовать в нигилистических планах. Если же окажется очевидным какое-нибудь отношение к обществу, я продолжу свое расследование и приму против этого должные меры. Верьте моей преданности.

*Гладстон».*

Вялый, равнодушный тон Гладстона задел Ольгу Алексеевну. Она ринулась к русскому послу в Лондоне Стаалю, но тот обескуражил ее. Оказалось, что он уже обращался к правительству с меморандумом по поводу деятельности русских эмигрантов. Вопрос даже обсуждался в парламенте, но выяснилось, что ничего противоречащего законам Великобритании не происходит.

В посольстве были совершенно ошеломлены таким ответом. А после того как узнали, что на докладной записке Стааля сам император Александр III начертал: «Это малоутешительный результат», и вовсе руки опустились. Ввязываться снова в очередную акцию, которая наверняка будет так же безуспешна, как и первая, Стааль не имел никакого желания. К чему напоминать государю о своих неудачах?



Некоторым утешением для Ольги Алексеевны послужила присланная через несколько дней записка от Гладстона, в которой он так же сухо и немногословно сообщал, что Лефевр и Акланд отказались от участия в «Обществе друзей русской свободы» и уверяют, что давно забыли о своей принадлежности к нему.

Но велика ли радость? Кто из публики будет следить и проверять, вышли ли они из преступного сообщества? Ведь в свое время их имена украсили проспекты, призывавшие англичан принять участие в этой вредоносной затее. Трудно бороться в одиночку. Правда, в Париже еще есть Рачковский со своей армией пронырливых и наглых агентов. Но они черт знает что позволяют себе, если судить по этому Гуденке. Да и открыто связываться с ними — окончательно рисковать своей репутацией.

Наконец Ольга Алексеевна отошла от туалета. Обряд подготовки к вечеру в посольстве был закончен. Щеки ее горели, сверкали бриллианты на груди и на обнаженных руках. Два белых эспри покоились в густых каштановых волосах. Не напоминают ли они о седине, так безукоризненно покрашенной лучшим лондонским парикмахером? Она подошла к зеркалу. Два белых султанчика слегка колыхались в высокой прическе, ничуть не сливаясь с волосами. Все в полном порядке. Перья только недавно вошли в моду, а в известном возрасте отставать от моды никак нельзя.

Она посмотрела на часы. Ехать на прием было еще рано, но Джеймс, посланный за Гуденкой, что-то задерживался. Ольга Алексеевна не хотела терять времени, и ей не терпелось свести счеты с наглым шпиоком, а главное, заставить его работать на себя. У нее созрела мысль дать серию статей в лондонских газетах о безнаказанной

деятельности русских эмигрантов, опасной не только для России, но и для Англии. Но одной риторики в этой стране мало. Нужны факты. И тут без помощи Гуденки будет нелегко.

Джеймс застал Гуденку, когда он только что вернулся домой после обильного возлияния у посольского дьякона. Обед оказался недурен, в русском духе, с пирогами, квашеной капустой, маринованными рыжиками, присланными из Москвы, и даже с калганной настойкой. Но сыграно было только два роббера. На третьем дьякон, имея на руках большой шлем, проявил спьяну бессмысленную осторожность и объявил простую, к радости контрапартнеров. Взбешенная дьяконица бросила ему карты в лицо. В ответ он смахнул широким рукавом подрясника рюмки со стола, и под звон посуды и визг дьяконицы Гуденко с шифровальщиком покинули гостеприимный кров, даже не получив выигрыша. По дороге они завернули в питейное заведение с громким названием «Эль Эдинбурга», приняли фирменный напиток и довольно долго говорили о тяготах семейных уз, хвастаясь собственной независимостью. Домой Гуденко вернулся в настроении приподнятом, но мало пригодном для дипломатических переговоров. В экипаже он несколько протрезвел и мучительно обдумывал, как ему следует держаться с Ольгой Алексеевной, и наконец пришел к выводу, что лучше всего прикинуться еще более пьяным, чем был на самом деле. Разговор не состоится, а что там дальше — кривая вывезет. Но все-таки надо выяснить, что его ожидает. И он спросил у Джеймса:

— В каком настроении мадам?

Лакей неодобрительно покосился на Гуденку, пожевал губами и ответил:

— Леди не делится со мной своими переживаниями, но, как мне показалось, она взволнована.

Он не считал возможным назвать Ольгу Алексеевну иначе, но еще больше утвердился в своем мнении, что эта дама не леди. Недурные у нее знакомые! Разве джентльмен будет расспрашивать слуг о настроении хозяев?

В гостиную Гуденко вошел походкой не слишком твердой. Увидев Ольгу Алексеевну в полном параде, закрыл глаза ладонями и с пафосом произнес:

— Мадам, я ослеплен!

Ольга Алексеевна с трудом удержалась, чтобы не ударить его по лицу, и сказала ледяным тоном:

— Оставьте ваши кабацкие комплименты и объясните, зачем вы прислали эту... эту... — она брезгливо показала на лежащие на столике письма и, с трудом найдя приличное слово, выкрикнула: — эту макулатуру?

Гуденко попятился, готовый выскочить за дверь, но, овладев собой, обиженно залепетал:

— Как вы можете так говорить! Я трудился, я рисковал своей честью и должностью... Я... Если хотите знать, я выкрал эти письма!

— Честью! Не поздно ли вы вспомнили о ней? Вы! Шпик! Гороховое пальто! Жандармская ищейка!

Гуденко побагровел, пошатнулся и, схватившись двумя руками за спинку кресла, зловеще-тихим голосом зашептал:

— Напрасно заноситесь, сударыня. Не пристало. Мы же из одного ведомства... ни для кого не секрет... вся английская пресса...

— Вон! — зычно крикнула Новикова. — Сию же минуту!..

Странно съезжившись, Гуденко попятился и спиной вышел из комнаты.

Ольга Алексеевна глубоко вздохнула, оглядела пустую гостиную. Опомнилась. И вдруг сообразила, что она только душу отвела и даже не зайкнулась о том, ради чего вызвала его.

— Джеймс! Глаша! — закричала она. — Верните его! Немедля верните!

Совершенно протрезвевший, Гуденко появился, трепеща от негодования и страха.

— Забудем, — спокойно сказала Новикова. — Все, что было сказано — лишнее. Мы работаем для России и должны помнить об этой высокой миссии, которая...

— С вашего разрешения я сяду, — сказал Гуденко. — Ноги не держат.

— ...Так вот, я говорю, вы должны мне доставить сведения о заговоре, преступном заговоре...

— Помилуйте, Ольга Алексеевна! О каком заговоре? Я знаю их всех, всю ихнюю братию — и Кропоткина, и Чайковского, и Волховского, и самого Степняка. В домах бывал, чай пил и даже напитки...

— Не сомневаюсь, — не удержалась Новикова.

— Прошу прощения, но сегодня я не рассчитывал встретиться с вами. Не в форме.

— Неважно. Но вы не даете мне договорить. Если вы считаете, что нет заговора, то чем же занимаются эти... ваши подопечные?

— Как так чем? Пропагандой. Только просвещают не мужичков, как когда-то в России, а достопочтенную английскую публику. Пытаются влиять на общественное мнение. Ну и, конечно, доказывают, что убийцы не убийцы, а святые угодники. Ну и еще, с вашего разрешения, занимаются поношением царского престола и, соответственно, правительства. А заговоры? Какие же заговоры? Против кого?

— Как это против кого? Против Победоносцева, против великих князей, против наследника наконец. Мало ли...

Затуманенным взглядом Гуденко смотрел на Ольгу Алексеевну, стараясь выразить на своем лице полное недоумение, хотя давно уже понял, чего от него добива-

ются. Думать о какой-нибудь провокации было лень. Не только сами хлопоты, но даже мысль о них вызывала у него полный упадок сил. Мало, что ли, он потрудился, дрожа как осиновый лист, переписывая всю ночь письма к Степняку? А если не к делу, так не угодно ли самой пальчиком шевельнуть? Привыкла загребать жар чужими руками... А в комнате так светло от яркой люстры, так пахнет хорошими духами, да и сама Ольга Алексеевна очень педурна сегодня в сдерживаемой ярости. Правда, не в его вкусе. А ведь и он мог бы жить в такой же атмосфере сияния, беззаботности, благоухания, если бы не умер отец, если бы он не был так беспечен, если бы не проклятая крестьянская реформа...

А Ольга Алексеевна, не проявляя ни малейшей беззаботности, продолжала:

— Надеюсь, вы меня понимаете? Вольтер говорил: если бога нет, его надо выдумать.— И, заметив осоловелый взгляд Гуденко, прикрикнула:— Очнитесь! Вы слышали о Вольтере?

Как эта накрашенная дрянь презирает его! Гуденко сразу приободрился и ответил:

— Мадам, я читал не только Вольтера, но и здешнего модного писателя Оскара Уайльда. Он утверждает, что интересны только мужчины с будущим и женщины с прошлым. Надеюсь, что этот комплимент вы не сочтете за кабацкий?

Новикова вспыхнула. Такой балбес, а попал в самое больное место. Женщина с прошлым! Припечатал. Из последних сил сдерживая себя, она сказала спокойно:

— Ваше будущее, вероятно, очень безотраднo. В особенности если я не узнаю о заговоре, который ваши подопечные затевают в Лондоне. О любом заговоре. Тут фантазии дается полный простор. В противном случае я доведу до сведения начальства о вашей нерадивости, неграмотности,— она нарочно подбирала самые забы-

тые, архаические слова, чтобы подчеркнуть древность своего рода, чтобы дать понять этому безродному, как ей казалось, субъекту пропасть, лежащую между ними. И вдруг устала, ослабела и коротко закончила:

— Понятно? Можете идти.

Домой Гуденко добирался пешком.

## ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА

Из Ньюкасла Степняк вернулся под вечер. Лил проливной, не декабрьский дождь. Лиц встречных не видно, зонтов — ручьями вода. Рождественские витрины магазинов были освещены еще и в Ньюкасле, но теперь уже зажглись уличные фонари, и свет их отражался в лужах.

И вдруг он поворотил к двери цветочного магазина. Там было светло как днем и пусто. Он вдохнул всей грудью весенний запах сырой земли, душный аромат тубероз и попросил завернуть несколько курчавых сиреневых хризантем.

— Благодарю вас, сэр, — сказала хорошенькая скучающая продавщица. — Погода ужасная.

— Я наследил тут, извините...

— Что вы! Приятно, когда в такой вечер к нам приходят за цветами.

Он знал, что порадует Фанни, хотя радовал больше самого себя. Вот так, среди зимы, не по какому-то торжественному случаю принесет в дом прелестный, необязательный подарок. В жизни, какую он сам себе выбрал, надо хоть изредка сбрасывать с себя оковы необходимости.

— До свидания, мисс. Вы очень любезны.

И снова — проливной дождь, радужное сияние фонарей, струи срываются с зонта...

Чтобы попасть домой, надо пересечь линию однокорейки. Там у перехода открывался кусок свободного не-

застроенного пространства, там было видно небо. Он любил, возвращаясь домой в час заката, смотреть на пылающую полосу между насыпью полотна железной дороги и вагонами, ползущими на высоких колесах. Чудилось, вот-вот откроется у горизонта простор нездешних полей, зубчатая кромка елового леса, деревенская даль и ширь. Почти что свидание с родиной. А в хмурые вечера воображение тревожил огненный глаз паровоза, вылетающего из-за поворота, и тоже вызывал смутные воспоминания о побегах, погонях, преследованиях...

Фанни не было дома. На столе лежала записка, она ушла к Энгельсу. Луиза Каутская сегодня у родственников на семейном празднике. Старика не следует оставлять в одиночестве. Ужин на плите.

На журнальном столике несколько писем и газет ожидают его. Они накопились за время его отсутствия. Он побывал у Пиза, читал лекции мастерам-деревообделочникам, выступил с речью на митинге краснодеревщиков. Это были дни, полные доброй зависти к его лучшему другу в Англии и ночных элегических излияний, невольно возвращавших к годам юности. Пиз социалист, он возглавляет тред-юнион деревообделочников. Рабочие его знают, и они для него не безликая масса. Почти у каждого имя, характер, биография, сложные отношения с товарищами. Это среда, где Пиз живет и действует, мир, на который он влияет. Так когда-то и у него было в Питере в казармах ткачей и на квартире Обнорского, где собирались фабричные.

Пиз человек удивительный, почти непостижимый, как непостижим для русского тип англичанина-идеалиста. В нем деловитость и практицизм, простодушие и безграничная доверчивость. Эта наивность кажется иногда ограниченностью. Всех меряет на свой аршин, хотя аршин этот у него английский. Если я неспособен на нечестный или дурной поступок, какое у меня право подозревать

другого? К тому же Пиз влюблен и благодушествует. Весь мир должен завидовать этому небывалому чувству.

Все три вечера он рассказывал ему о прелестной Марджори, дочери туполобого англиканского пастора. Отец не позволяет ей преподавать в интернате для бедных детей, требует, чтобы она вышла замуж за благополучного и, кажется, такого же тупого священника из соседнего прихода. Только при воспоминании об отце Марджори Пиза оставляло его счастливое благодушие. Он произносил длинные тирады, громил английское мещанство, оно нисколько не изменилось со времен Диккенса.

— Ни одна страна в Европе не порабощена до такой степени мещанскими идеалами, как Англия.— Глаза его выкатывались из орбит, он яростно прижимал пальцем табак в трубке.— Нигде эти идеалы не маскируются так умело лицемерием и респектабельностью. Все хороши, не только сыны и дочери Альбиона, но и внуки... Мы благочестивы, но как? Ханжески. Мы добродетельны, но напоказ. Попробуйте копните, что происходит в любой семье, особенно аристократической,— волосы станут дыбом. Мы филантропы, но что мы отдаем неимущим? Крохи от награбленного у своего и у чужих народов. И все это делается чинно, благородно, в белых перчатках. А единственное мерило человеческой ценности — богатство.

Он залюбовался тогда темпераментом Пиза, поддакнул:

— Энгельс называет парламент клубом богачей.

— Вот именно клуб, — обрадовался Пиз, — парламентские дебаты — та же клубная болтовня. Бесплодная болтовня. Все ложь. Отец Марджори произносит проповеди на евангельские тексты, соболезнует сирым, утешает неимущих, а дочери запрещает работать там, где она не на словах, а на деле может принести пользу.

Стремление Марджори к самостоятельности, однако, и самому Пизу казалось героическим.



— Только вы можете понять этот необычайный, мужественный характер,— говорил он.— У нас так редко это понимают!

И, слушая Пиза, он невольно представлял Перовскую,— она могла бы блистать на придворных балах и погибла на виселице, Ольгу Любатович — она дважды отбывала ссылку в Сибири, Софью Бардину, сестер Корниловых, дочерей владельца крупнейших фарфоровых заводов, и много других женщин. Они отдавали все — богатство, молодость и жизнь ради блага неправых и обездоленных. А Пиза, все более и более волнуясь, рассказывал, как он познакомился с Марджори.

Совершенно случайно они оказались гостями в поместье его кузена. Они еще не знали друг друга, когда он увидел ее ранним утром в саду, среди кустов жасмина. В розовых лучах солнца ее волосы горели, как костер. Вся в голубом, такая стройная, прямая, она возвышалась над зарослями жасмина подобно башне или колокольне. Он сам испугался своего сравнения и, отрезвев, уже без пафоса, смущенно заметил:

— Она действительно очень высокая. Выше меня.

Совсем смутился — слишком много о себе. Так ли это интересно собеседнику? И круто повернул разговор. Стал расспрашивать о «Карьере нигилиста», которую когда-то правил, и по-прежнему удивлялся, что Степняк не захотел изобразить в главном герое вожака.

В кабинете Пиза было тепло, дубовые поленья потрескивали в камине, настольная лампа на коралловой подставке освещала его доброе молоджавое лицо с прусскими усами. И кресла были мягкие, и пушистый ковер под ногами... Но, как сквозь сон, вдруг возникла полутемная, закопченная горница в Алексейкове, геранька на подоконнике, голая ветла за окном, Рогачев с всклокоченной бороденкой, он рассказывает, как женился на орловской нигилисточке. И то же движение души чистого застенчи-

вого человека, когда он резко повернул разговор, испугался своей откровенности.

Рогачев в Алексейкове и Пиз в Ньюкасле — казалось бы, немыслимое сопоставление, а в общем-то хорошие всюду одинаковые.

И, очнувшись от дорогих воспоминаний, он стал отвечать. Пытался объяснить Пизу, что выбрал Андрея Кожухова в герои романа именно потому, что он человек рядовой, самый обыкновенный. Трезвый, благоразумный, может, даже рожденный быть отцом процветающего семейства. Только обстоятельства, в которых он очутился, заставили его быть героем. Ничто так не очищает души от мелких чувств, как нависшая угроза.

Он всегда считал, что у рядовых революционеров нравственное чувство часто глубже, чем у вожаков. Те, кого называют вожаками, хотя и сильнее, но иногда слишком честолюбивы. А честолюбие и бескорыстие не уживаются. Вожаками он собирался заняться в новом романе. Главным героем в нем станет Тарас Костров, тот, кто лишь ненадолго появляется в «Карьере нигилиста» на собрании пропагандистов. В новом романе будет много коллизий, страстей, честолюбий и борьбы. А Кожухов навеян воспоминаниями о питерском кружке чайковцев, о его «домашнем круге», о людях неправдоподобно самоотверженных. Среди них был только один человек исключительной силы воли, но... его не хотелось сейчас называть.

Он думал о Стефановиче.

О ночных беседах с Пизом хорошо бы рассказать Фанни, а дом был пуст. Он поставил хризантемы в вазу посреди стола, потрепал по спине Параньку, которая ходила за ним по пятам, порылся в куче писем на столе. Письма, письма... Медлительная и непрерывная беседа эмигрантов, рассеянных по всем странам и континентам. Ладно хоть непрерывная, — подумал он и повеселел. И, подбадривая себя, стал напевать:

— Эпистолы, эпистолы...

Ему нравилось торжественное и архаическое звучание этого слова, нравилось, что писем много и он не забыт друзьями и людьми деловыми, что, вернувшись домой, он снова вовлекается в круг привычных дружеских связей. Что поездка в Ньюкасл прошла хорошо, что в Англии есть люди почти родные, как Пиз.

Прежде всего он распечатал толстое письмо из Америки. Писал Егор Лазарев, уговаривал еще раз посетить Новый Свет, проехать с лекциями по новому маршруту, гарантировал успех у американцев. Надо только попробовать выходить к публике в арестантском халате, бряцающая кандалами на руках и ногах. И еще пропеть каторжанские песни. Это предложение, видно, очень понравилось Лазареву, и он повторил его в конце письма.

Можно ли докатиться до такой пошлости? Он перечитывал письмо и все больше проникался негодованием. Даже в висках застучало. Он пытался успокоить себя. Ведь Лазарев не так давно бежал из сибирской ссылки, знал по себе эту растерянность, почти отчаяние, какое овладевает очутившимся в чужой стране, без близких и друзей, почти без языка. А разве легко приспособиться к новым условиям человеку, измученному не только каторгой, но и трудным, долгим, опасным побегом? Он знал все это и все-таки никак не мог примириться с такой легкой, бездумной сдачей позиций, готовностью идти навстречу вкусам толпы.

Конечно, если американцам показывать бой быков, тореадоров, красные плащи, а еще лучше — устроить сражения гладиаторов или, на худой конец, продемонстрировать бег в мешке, сбор будет обеспечен. Но заставить русского революционера изображать из себя кандальника — дикая, недостойная мысль. Ни один человек, обладающий чувством собственного достоинства, не позволит себе этого. Даже такой любитель сенсаций, при-

выкший эпатировать чопорную английскую публику, как Оскар Уайльд, приехав в Америку, назло, из чувства протеста разочаровал аудиторию. Он сменил свой эпатирующий костюм — короткие штаны до колен, длинные чулки, бархатный пиджак золотистого цвета, подсолнечник в петлице — на строгий черный фрак, а вместо каскада обычных парадоксов заставил выслушать солидный академический трактат о возрождении искусства в Англии.

Надо теперь же написать письмо Лазареву. Довести до ума, пристыдить, но прежде успокоиться самому, чтобы не оскорбить резкостью усталого, измученного человека.

Он начал просматривать газеты, читать другие письма. Строчки мелькали, слова не доходили до сознания. Перед глазами прыгал и кривлялся некий безликий, вертлявый каторжник в сером халате. В ушах настырная мелодия: «Далеко в стране иркутской, среди огромных серых скал, окружен стеной высокой Александровский централ...»

Он рассмеялся. Вспомнил: в письме сообщалось, что и Кеннан не гнушался подобными эстрадными выступлениями. Щеголеватый, аккуратный Кеннан приплясывает, звеня кандалами, в бахилах на босу ногу!

Он взялся за перо.

«Дорогой и милый товарищ! Только сегодня удосужился ответить на ваше милое и длинное послание, которое все дышит свежестью и наивностью новичка... Что меня взаправду-таки огорчило в вашем письме, милый человек, — это та легкость, с которой русские теряют свою физиономию, переезжая в чужую страну, и усваивают самые скверные черты иностранцев, среди которых их бросила случайность. — Это я замечал на русских, поселившихся в Париже, и теперь, извините за откровенность, — замечаю в сильнейшей степени и на вас. — Давно

ли вы из России, а уже советуете чуть не крутиться колесом для забавы досужих янки и предлагаете превратить «Free Russia» в придворный орган Кеннана и г-жи Скот Сакстон, чтоб. извольте видеть, одному это лекциями больше денег помогло собирать, а другой — каким-то ее возвышенным честолюбиям производило приятное щекотание! Да для чего мы после этого на своего-то царя с бомбами поднимались? Не лучше ли бы поступить в придворные и так его облизать, чтоб он размяк и все сделал, во всяком случае, чтоб не был таким сердитым.

Право, ваши предложения к этой категории относятся. Я, конечно, понимаю, что нужно применяться к обстоятельствам, — но только в такой мере, в какой это не противоречит нашим личным понятиям о приличии и достоинстве. А курить продажные фирмиамы Кеннану и Сакстон (всякие фирмиамы, подносимые из-за «политики», из расчета — продажные) — делать из себя паяцев, чтобы американцев задобрить — нет, слуга покорный. Ну их ко всем чертям, успехи, приобретаемые такой ценой.

Подобное самоуничтожение не только постыдно, — вы, батюшка, меня извините, но и прямо бессмысленно, как политическая тактика. Имейте в виду следующее, очень важное, обстоятельство, которое нужно всегда помнить и никогда не забывать: все, что мы здесь делаем, вся наша агитация имеет значение лишь настолько, насколько она откликается, производит действие на умы и чувства людей в *Р о с с и и*. Если бы русские не обращали внимания на него — то всему американскому общественному мнению была бы цена *ровно нуль*. Что, в самом деле, могут своими криками сделать американцы русскому царю? А важно, что эти крики волнуют самих русских, возбуждают их самих, усиливают энергию борьбы там, на месте.

Ну, и как вы думаете, очень будут русские одушевлены, узнавши, что вот, мол, Лазарев и Степняк в таком-то театре танцевали перед обширной аудиторией трепака, вертелись колесом, звенели бубенчиками, за что удостоились громких аплодисментов. Или что журнал, скажем, «Free Russia», который они уважали, сделавшись лизоблюднически подлипальным, получил большой успех?

Да я уверен, что русских коробит читать даже, как Кеннан наряжается в арестантские костюмы, поет и пляшет для публики. Но что они извинят американцу, того они не извинят нам.

В России мы строго относились к известным вещам. Мы храним их от прикосновения всего, что их профанировать может, как религиозные люди хранят алтари своих храмов. Забыв эти традиции здесь, мы возбудим только отвращение у русских и сделаем бесплодной, *абсолютно бесплодной* всю нашу работу здесь, которая станет просто источником приобретения денег для нас лично, да может быть — двух-трех ссыльных приятелей в России.

Вот, батюшка, чем грозит погоня за успехом на американский лад. Да что я говорю — на американский! Я так думал, пока жил в Англии и знал американцев по рассказам англичан, которые их недолюбливают. Есть, конечно, и такие, не спорю, но для лучших из них вовсе всего этого не нужно...

Ну, еще раз обнимаю и желаю всяких успехов. Не забывайте, что я вам сказал: *это результат многолетних размышлений и работы.*

Ваш Сергей».

Он почувствовал некоторое облегчение, изложив на бумаге все, что уже давно занимало его мысли. В сущности, в этом письме он высказал кое-что из того, что не договорил Пизу о сильной личности.

Сильная личность, как принято считать, прежде всего личность необычайно целеустремленная. И эта поглощенность целью часто заставляет ее не брезговать средствами недостойными. Случай с Лазаревым мелкий, немасштабный, но в нем, как в капле воды, отражается вся ложность маккиавеллизма — «цель оправдывает средства». Не зря же худший представитель христианской церкви — Игнатий Лойола повторил эти слова. Дурные средства уничтожают, искажают цель. Удивительным образом дурные средства не только губят цель, но тайно, постепенно, неотступно уродуют того, кто их применяет.

Он вздрогнул. Холодное, жесткое прикосновение к колену испугало его. И в ту же секунду увидел на коленях старую ночную туфлю, а из-под стола высунулась умильно подобострастная морда Параньки. Соскучилась. Хочет играть. Ну что ж, надо уважить.

Он встал, с размаху забросил туфлю в соседнюю комнату, собака ринулась за ней и тут же принесла в зубах, положила к ногам.

— Лови! — крикнул он и снова закинул туфлю.

Паранька еще стремительнее вернула ему свою игрушку. Так повторилось много раз. Собака впала в восторженное исступление и уже совала туфлю ему в руки, прыгала на грудь. Видно было, что она готова продолжать игру целый вечер и совершенно уверена, что хозяин так же увлечен этим занятием, как и она.

Ему надоело.

— За кого ты меня принимаешь? — приговаривал он, засовывая туфлю под низкий диван. — Тоже считаешь, что я счастливый Кит? Живчик, весельчак? Баловень судьбы?

А почему она должна быть умнее человека? С какой легкостью люди составляют о других, даже самых близких, поверхностное стереотипное представление. И живут

эти стереотипы десятилетиями. И остаются после смерти, как вечные выпренные надгробия над ушедшими в мир иной. Он сам всегда был жертвой такого поспешного, ложного впечатления — «счастливый Кит», как недавно вырвалось у Волховского, как часто называли его друзья чайковцы. Еще и «младенцем» звали. Слишком был будто бы восторженным и доверчивым. Да и здесь все считают его счастливчиком, беззаветно жизнерадостным, неунывающим. Глупо спорить и еще глупее было бы исповедоваться в своих горьких размышлениях, приступах отчаянной тоски. К тому же и сам ничуть не отличаешься от остальных в своих произвольных и беглых суждениях. И первый пример такого заблуждения — давний друг молодости Стефанович.

Как всякий человек действия, он казался очень сильным. Препятствий для него не существовало. Цель была ясна. А как ее достигнуть? Да стоит ли интересоваться такими пустяками! В семидесятых его считали чуть ли не первым человеком среди радикалов. Еще бы! Организовал крестьянскую дружину на Черниговщине, как говорится, «всколыхнул косную крестьянскую массу». Он и сам писал тогда в первом номере «Земли и воли», что Стефанович с друзьями создали первую в нашей революционной истории чисто народную организацию, что совершился факт чрезвычайной важности, знаменующий собой переход социалистов на почву чисто народную. Слов не хватало, чтобы прославить инициаторов «чигиринского дела», автора авантюры, по размаху и смелости равной нечаевским замыслам. А о том, что в основе авантюры, как и у Нечаева, лежал обман, старались не слишком задумываться. Цель-то высокая!

У этого бывшего семинариста, сына сельского попа, была челюсть микроцефала и холодные светлые глаза тевтонского рыцаря. Сила воображения не меньше силы воли и бесстрашия. При этом скромн, молчалив. И хотя



испытывал заметное отвращение к дискуссиям и просто жарким товарищеским спорам, ко всему, что называл «цветами красноречия», но никогда не позволял себе по этому поводу ни метких шуточек, как Клеменц, ни язвительного высокомерия Тихомирова. Трудно было представить, что именно этот сдержанный, замкнутый человек задумал грандиозное, фантастическое по технике выполнения предприятие.

Суть заговора, который потом в революционных кружках, так же как и в жандармских донесениях, назывался «чигиринским делом», сводился к замыслу простому и не новому — восстание крестьян против помещиков. Гораздо ранее Стефановича до этого додумался и донской казак Стенька Разин, и яицкий Емельян Пугачев. Но ни один из них, а тем более никто из интеллигентов-радикалов не решился бы поднять этот бунт якобы по просьбе самодержца, с его благословения. По деревням Черниговщины был пущен слух, что Стефанович отправился ходоком к царю и привез от него «секретную грамоту». На самом деле она была изготовлена в Женеве. Со смелостью и прямоотой, мало свойственной монархам, в этой грамоте крестьян призывали собираться в тайные дружины, чтобы бороться с помещиками и чиновниками. Зловредные эти сословия не позволяют, как того хочет царь, отдать крестьянам земли без всякого выкупа, освободить их от податей.

Все желаемое принимается за сущее. В грамоту поверили, как в слово божие. Ведь это же бумага! Неграмотный русский крестьянин привык уважать бумагу и доверять ей безоглядно. Да и как было не поверить? На этот раз она обещала осуществить давние чаяния, манила, как в сказке. И так было велико ее завораживающее действие, что в дружину записались, вернее, поставили крестики более тысячи человек. Это был неслыханный успех маленькой группы Стефановича, где кроме него

было всего двое — Дейч и Бохановский. До сих пор молодые радикалы привыкли считать число вовлеченных на пальцах одной руки.

Крестьяне уверовали в благостного и беспомощного царя-батюшку, сходились по оврагам, глухим перелескам. Там принимали присягу, выбирали вожаков, повсеместно договаривались не платить податей, готовить оружие. С каждым днем ширился настоящий заговор, уже готовый перейти в восстание. И, как это бывает часто в нелегальных содружествах, все провалил допосчик.

Один баламут хватил лишнего в придорожном трактире, стал похваляться царским указом, буянил, грозился спалить окрестные поместья, а самих помещиков перерезать, как кур. Кабатчик без промедления донес куда следует об этих угрозах, и скоро по всей Черниговщине рыскали казачьи отряды. Под следствием оказались чуть ли не все, кто записался в дружину. Дознание длилось около двух лет.

Стефановичу и двум его ближайшим друзьям и помощникам удалось бежать из тюрьмы до начала суда. Побег был блестяще организован членом киевской группы Валерьяном Осинским. Он сумел устроить Михаила Фроленко чернорабочим в киевскую тюрьму, там за «примерное поведение и усердие» его сделали надзирателем. А дальше уже проще простого было достать три комплекта военного обмундирования и вывести товарищей под видом солдат из тюрьмы.

Горячие головы увлеклись возможностью создания огромной черниговской дружины, не задумывались о том, что случилось бы, если бы поднялось восстание. Ведь народ узнал бы про обман. Все казалось просто — победителей не судят. Сдается, что эти крылатые слова не народная мудрость, а циничная выдумка тиранов.

В то время он и сам восхищался «чигиринским делом». Вернулся из Италии в состоянии восторженном,

с ощущением, что в России вот-вот произойдут большие перемены.

В Питере ходил по рукам присланный из тюрьмы рассказ Стефановича о чигиринцах. Когда прочитал — покорило. Было что-то отталкивающее в радостном самодовольстве по поводу удавшегося обмана. Всякая ложь отвратительна. Но обманывать народ, хотя бы для его блага, недостойно революционера. И все-таки тут же нашел оправдание. В истории бывают такие моменты, когда насилие над собственным нравственным чувством тоже подвиг. А «чигиринское дело» стоит того. Это — начало громадного народного движения.

— Да ведь оно уже разгромлено. Кончилось, — раздавались трезвые голоса.

— Это не доказательство. Дружина быстро росла и продолжала бы расти все быстрее. И если бы несчастный случай с пьяным дружинником случился позднее, когда в дружине собралось тысяч двадцать, дело повернулось бы иначе.

Так вот тогда говорил. Теперь грустно вспоминать.

Грустно и больно. Через несколько лет это пренебрежение нравственным началом, это насилие над собой, которое он по молодости лет считал подвигом, отомстило за себя. Стефанович после побега из киевской тюрьмы перебрался через границу, в Швейцарию. Когда у землевольцев произошел раскол, присоединился к «Черному переделу». Томимый тоской по родине и жаждой реальной деятельности, вернулся в Россию, там стал членом Исполнительного комитета партии «Народной воли», был арестован и судился по «процессу 17-ти». Но еще до суда среди швейцарских эмигрантов стали ходить слухи, что в тюрьме он вел себя недостойно. Откровенничал со следственной комиссией. Попросту стал предателем. В это нельзя было поверить. В это не верила Засулич, не верил Плеханов, не верил он сам. Не верит и теперь.

Но на суде Стефанович заблудился и забрел в такие дебри, что и вспоминать нет охоты...

А ведь была ночь. Белая петербургская ночь, когда вечерняя и утренняя заря сливаются, растворяются в беззвездном небе и волшебный зоровый свет заливают розовым цветом серый камень дворцов, черную воду Невы. В эту ночь он ждал, вышагивая по набережной, приезда Стефановича, изнемогая от нетерпения, не в силах оставаться дома. А потом говорили до утра, взахлеб, единомышленники, друзья, братья...

В доме тишина, аж в ушах гудит и слышно, как бьется сердце. Но вот за дверями заскреблась изгнанная из комнаты Паранька и, не дожидаясь, когда откроют, с разбегу влетела в кабинет и театрально остановилась, подняв одно ухо. Взгляд и хвастливый и виноватый — не то ждет аплодисментов, не то боится, что снова прогонят. Постояла минутку и улеглась около дивана. Он погладил ее по загривку, пробормотал вдруг возникший какой-то детский стишок:

— Так-то, брат Паранька, такие дела.

Кит на диване, а Фанни ушла.

И снова тишина. Вспомнилось: странная фамилия была у этого кабатчика — Конограй!

Жутковатая фамилия, скачущая.

В тишине неумолимо, бесстрастно тикали часы. Он только сейчас услышал этот звук, и, как всегда, ощущение непрерывно уходящего времени подстегнуло его. Он вскочил с дивана.

На письменном столе все оставалось в том же порядке, вернее, беспорядке, как и три дня назад. Под лампой хаос бумажек, куча блокнотов, листов с началами глав — материалы для будущего романа. В тетрадке план статьи для «Свободной России». Посреди стола придавленные тяжелым пресс-папье листы перевода «Подпольной России». Сколько изменений рукопись претерпела!

Изданная на нескольких языках, она приобретала отпечаток национального характера, каждый раз что-то теряя и что-то приобретая независимо от намерений автора. Написанная первоначально по-итальянски, казалась более пылкой и восторженной, на английском — более лаконичной и сдержанной, а во французском переводе появился оттенок риторичности, патетики. И наконец теперь, когда ее издадут в «Вольном фонде», ее строки будут точно соответствовать чувствам и мыслям русского человека.

Но изменения, которые происходили в тексте книги, вносились не только иноязычным интонационным строем. Их совершало само время. Перемены с людьми, еще живущими и действующими. Как много значит одно слово в книге! Оттенок эпитета, отсутствие эпитета. Это редко заметно читателю, но тон и смысл фразы ощущается каждым. Так случилось с «профилем» Стефановича. В итальянском издании он был назван дражайшим другом, в английском — дорогим другом, во французском, после суда — просто другом. А теперь...

Теперь надо писать иначе. Во весь голос.

Он сел за стол.

«Он задумал план, поразительный по соединению смелости с б е с т ы д с т в о м, грандиозности и практичности — с п о л н о й б е с п р и н ц и п н о с т ь ю. План этот состоял в том, чтоб поднять народ на весь существующий порядок и на самого царя — во имя царя же. Стефанович сочинил и сам себе вручил тайный царский манифест, призывающий народ к всеобщему восстанию ввиду полного бессилия самого царя и его полного порабощения дворянством и чиновниками. Это была старая «самозванщина», облеченная в новую канцелярскую форму...

Принцип стефановичевского плана — обман народа, хотя бы для его же блага, и поддержание г н у с н о й

царской легенды, хотя бы с революционными целями, был безусловно отвергнут партией и не имел ни одного подражателя. Но энергия имеет непреодолимую обаятельность, в особенности для русских, среди которых людей с энергией так мало...

Как бы то ни было, одно время Стефанович был едва ли не самым популярным человеком в партии. Его речь на суде была большой неожиданностью как для его друзей, так и для посторонних. Стр а с т ь х о д и т ь о б х о д а м и сыграла с ним плохую шутку. Проведя мужиков для блага революции в «чигиринском деле», он на процессе пожелал провести правительство для блага свободы, напустив на себя личину монархизма. Он осекся и был одурачен правительством, и последняя вещь оказалась ему горше первая».

Он поставил точку, повеселел, потянулся, стал громко напевать на мотив, неизвестно с чего бы всплывший, детской хороводной:

— Конограй, конограй, кого хочешь выбирай!..

Паранька приняла это за приглашение порезвиться и притащила из гостиной продавленный красно-синий мячик.

В дверях появилась Фанни, прислонилась к притолоке, бросила в него муфточку, сказала:

— Приехал! Как мне не хватало твоего голоса, твоего смеха!

Он подбежал к ней, обнял, вдохнул запах мокрых волос, шепнул:

— А может, и вправду счастливый Кит?

Ночь подкралась незаметно. Он понял, как поздно, только поставив последнюю точку в рукописи. Перевод «Подпольной России» на родной язык был закончен.

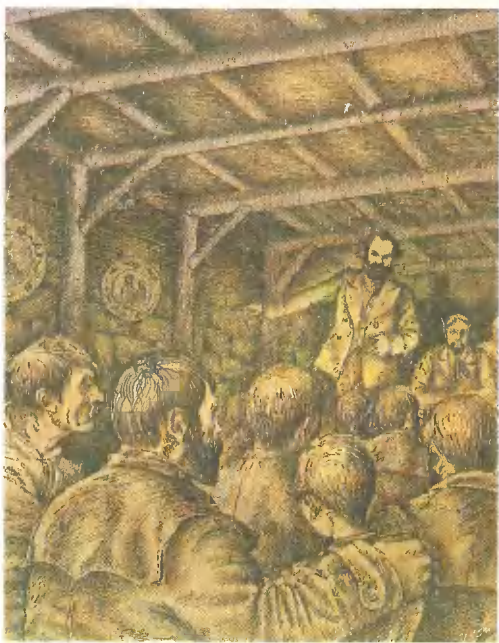
Снова для него ожили портреты или, как называл их, «профили» своих друзей, революционеров семидесятых годов, казненных, как Софья Перовская, Валерьян Осинский, Дмитрий Лизогуб, или длящих мучительное существование в сибирской ссылке, как Клеменц, Стефанович.

Второе рождение книги. Хотя она переводилась и на английский, и на французский, но именно теперь, когда с помощью Вольного фонда ее прочитают в России, она родится как бы заново. В девяностые годы, годы общественной апатии, как никогда уместно напомнить те горячие, бурлящие дни.

Незабываемое время. Кружки... Казалось, вся мыслящая молодежь России объединилась тогда в кружки. Но чайковцы, к которым он тогда пришел, были больше чем кружком — семьей, братством. Он появился там, готовый принять на себя все обязанности, дал клятву посвятить всю свою жизнь борьбе за благо народа, все свои скудные средства отдал в общее пользование. Он был давно готов к этому. Не зря же еще в артиллерийском воспитывал себя «по Рахметову».

Выборгская сторона, Нарвская застава, Ключки, Черная Речка — вот какой была питерская география тех лет. Не бирюзовый растреллиевский Зимний, не дворцовая Английская набережная — гордость Северной Пальмиры, не гранитные берега Невы вызывают сейчас нежное, поэтическое воспоминание. Чего бы он не отдал теперь, лишь бы увидеть деревянные бараки, покосившиеся заборы, кирпичные казармы, фабричные трубы, даже облезлую штукатурку на окраинных трактирах «Рожок» и «Александрия». Там за биллиардной в маленькой комнатке он встречался с рабочими.

Там впервые он увидел Виктора Обнорского, а тот впервые услышал от него, что крестьяне и рабочие, весь трудящийся люд и есть соль земли. Потом Обнорский







приходил в его квартиру на Ключках, где он жил вместе с Клеменцем, приводил с собой по пять, по десять товарищей с завода, рвавшихся к свету и знаниям. В комнате, увешанной географическими картами, эти люди узнавали, как мир велик, широк, разнообразен. Уроки эти пышно назывались лекциями. Но не только географии и арифметике учили на таких сборищах. В доступной для малограмотных людей форме он растолковывал марксову теорию прибавочной стоимости, недаром же первый том «Капитала» всегда лежал в его походной котомке.

Виктор Обнорский был самым способным, самым схватчивым и одаренным слушателем этой школы, которая тогда еще не называлась воскресной. Вскоре он покинул Петербург, уехал в Одессу, а потом со Степаном Халтуриным организовал «Северный союз русских рабочих». Такие вот ростки давали семена, брошенные на петерских окраинах!

Ни у кого из чайковцев еще не возникала мысль о терроре, но и просветительская эта работа грозила неисчислимыми бедами. Предательство подстерегало на каждом шагу. Студент Низовкин, не принятый в сообщество чайковцев, но тоже организовавший кружки самообразования среди рабочих, при аресте не только выдал, но и оклеветал товарищей, читавших лекции в его доме. Рабочих арестовывали, сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь.

Катя Дубенская, выпущенная на поруки после ареста, взяла с него клятву, что, если за ней придут еще раз, он застрелит ее, но не отдаст жандармам. На всю жизнь запомнилось это мальчишеское безрассудство. Они сидели вдвоем, раздался резкий звонок, никто из товарищей не мог так звонить. Звонок условный — как пароль. Позвонили еще раз. «Я жду, — сказала Катя. — Ты обещал». И он, страшно вспомнить, приложил дуло пистолета к ее

виску. В переднюю протопала хозяйка, крикнула через секунду: «Ножи точить надо? Точильщик пришел!» Катя отшатнулась, а он метался по комнате и только повторял: «Хорош бы я был! Хорош бы я был!..»

Он отодвинул рукопись. Какая тишина в доме! Кто это выдумал, что тишина беззвучна! Она звенит, гудит, грохочет, как волна, разбивающаяся о камни. Она великодушна — щадит твое одиночество. Впрочем, все вздор. Просто кровь приливает к голове. Не надо бы так часто предаваться воспоминаниям. И работать по ночам не надо.

Второе рождение книги... Но много ли он изменил в ней, хотя сам за эти годы изменился? В чем-то стал ближе к Плеханову и Вере. Нет прежней неколебимой уверенности в решающей роли личности для хода истории. Стефановича прояснил, а «профиль» Засулич оставил неприкосновенным. По-прежнему писал, что она слишком сосредоточена на себе, чтобы влиять на других. Самый ее идеализм, столь высокий и плодотворный, заставляющий ее жаждать чего-то значительного, великого, мешает ей посвятить себя повседневной работе, часто мелкой и нудной, той работе, какой так самоотверженно отдавались народовольцы. А ведь, может, это суждение ошибочное, неправда или не вся правда? Может, более всего ей мешали идейные разногласия?

Стареешь помаленьку, а зрелость — пора сомнений. Сложность жизни делается виднее.

Он перелистал страницы, остановился на последнем абзаце в портрете Лизогуба: «В нашей партии Стефанович был организатор; Клеменц — мыслитель; Осинский — воин; Кропоткин — агитатор; Дмитрий же Лизогуб был святой». Хорошо сказано. Тут ни убавить, ни прибавить. И надо только поблагодарить судьбу за то, что она ввергла его в круг таких людей.

## ТОПОР ПОД ЛАВКОЙ

Подбоченившись одной рукой, делая другой округлый приглашающий жест, Гуденко легко приплясывал, беззвучно притопывал, интелголоса напевал: «Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет...» И хотя щеки его побагровели, белокурые колечки кудрей прилипли к вспотевшему лбу, лицо его выражало полное благодушие и умиротворенность. Сергей Геннадиевич Курочкин, наборщик-гарибальдиец из типографии Фонда вольной русской прессы, дирижировал своей шапочкой с пером серьезно и сосредоточенно.

Два бронзовых сфинкса, лежащие на черных мраморных постаментах у дверей зала медалей и монет Британского музея, смотрели на эту сцену с непроницаемым видом.

Других свидетелей происходящего не было.

Причиной столь неожиданного поведения двух приятелей, давно перешагнувших шаловливый школьный возраст, было пари *a discretion*<sup>1</sup>.

Сергей Геннадиевич Курочкин, человек трудолюбивый, педантичный, в высшей степени грамотный, заслуживший любовь и уважение работников Вольного фонда, обладал только одним недостатком. Раз в три-четыре в году у него начинался запой, продолжавшийся несколько дней, а то и неделю. Именно эта огорчительная слабость вызывала некоторую симпатию у Гуденки к мрачноватому, замкнутому наборщику. В дни запоя Курочкин гулял по-купецки, что называется выпускал пары, пропивая иногда все, кроме гарибальдийской красной рубашки и шапочки с пером. Во время последнего такого загула, встретив его случайно, Гуденко затащил к себе на предмет распития бутылки ямайского рома, не

---

<sup>1</sup> На что угодно (франц.).

подозревая, что это будничное событие окажет огромное влияние на его дальнейшую судьбу.

Открытие это произошло не сразу. С чувством превосходства, так как Гуденко был еще не пьян, а только воодушевлен выпитым, он поддразнивал сильно захмелевшего Курочкина:

— Вы, Сергей Геннадиевич, полный тезка Нечаева. В этом есть что-то роковое. Согласитесь. Сходство имен часто таит в себе сходство судьбы и характера.

— Впервые слышу,— сухо откликнулся Курочкин.

— Так мне рассказывала одна очень проницательная гадалка. И я подозреваю, что не случайно с вашими способностями вы перебиваетесь с хлеба на квас в Лондоне. Тут есть какая-то тайна. Сознаться, вы совершили преступление, подобно Нечаеву? Какая-нибудь экспроприация? Или убили лучшего друга? Можете не стесняться. Гуденко — могила.

— Подобно Нечаеву! — фыркнул Курочкин. — Да если бы в моей груди билось каторжное сердце Нечаева, за мной пошла бы многотысячная армия громил и разбойников!

В дни запоя Курочкин любил выражаться возвышенно.

— Рассчитываете на свое красноречие? Но с вашим тезкой тягаться трудно: Говорят, он распропагандировал охрану Петропавловской крепости.

— На красноречие? Метать бисер перед свиньями? У меня другой талант.

— Какой же, если не секрет?

Хитроватая не то детская, не то безумная улыбка осветила угрюмое лицо наборщика. Он склонил голову набок и игриво сказал:

— Попробуйте угадать.

— Я не мадам Ленорман. Угадывать чужие мысли и предсказывать будущее не умею.

Курочкин вперил в него презрительный, но мутный взгляд и разразился тирадой:

— Кто может предсказать мое будущее? Его нет. Оно умерло вместе с Джузеппе Гарибальди. Ради него и его благородного дела, ему, и только ему, герою, овеянному мировой славой, я бы пожертвовал и жизнью и честью! Я растоптал бы ногами свое доброе имя и... — он оглянулся и с отвращением выкрикнул: — Послушайте! Здесь у вас пауки!

— Полезное насекомое. Уничтожает мух, — спокойно ответил Гуденко.

Речь шла о пауке в стакане, стоявшем на умывальнике. Он прижился. Гуденко не позволял мыть стакан и с каким-то горестно-сладостным чувством наблюдал за бесплодными усилиями паука, смутно напомилавшими его собственную участь. Но сейчас думать об этом не хотелось. Он спросил:

— Дернем по одной?

Дрожащей рукой Курочкин потянулся к стакану.

Откинувшись на спинку стула, Гуденко любовался им, — патетические речи, неудержимое желание продолжать застолье, хмельной полет воображения, готовность принести в жертву своему кумиру и жизнь, и честь, — вся эта смесь французской патетики с русским разгулом вызывала в памяти безумные гусарские ночи в Новой Деревне с цыганами, шампанским, простреленными зеркалами...

Опустевшая бутылка рома и дорогие сердцу воспоминания сделали беседу еще более оживленной. Теперь уже настроение Гуденки мало чем отличалось от вдохновенного парения наборщика. Гуденко даже позабыл, как собирался вначале, расспросить, по каким адресам отправляют в Россию «летучие листки». Оба говорили, не слушая друг друга, не допивая, посылая служанку в ближнюю кухмистерскую за новыми кувшинами эля.

В бессвязном разговоре время от времени возникала, однако, тема таинственного таланта Курочкина, и дело кончилось тем, что собутыльники заключили пари à discretion — проигравший должен выполнить любое требование другой стороны. Гуденке предлагалось угадать, каким талантом обладает наборщик. Памятуя о воинственных намерениях Курочкина, о его мечтах о гарибальдийских походах, он предположил, что наборщик необычайно меткий стрелок на манер Вильгельма Телля. И — проиграл. Расплата была изысканно нелепа. Проигравшему предлагалось проплясать казачка в Британском музее. Единственное, что мог выговорить себе еще не окончательно потерявший голову Гуденко, — разрешение танцевать в пустом зале.

Таким оказался зал медалей и монет. Дождавшись, когда дежурный смотритель ушел в отдаленный зал египетского искусства, Гуденко, заложив руку за голову, сначала плавно прошелся под «Метелицу» между витринами и стеллажами, а затем, войдя в раж, пустился в настоящий лихой пляс. Хотя он еще и не знал, какая награда ожидает его за честно выполненный долг. И, как уже не раз бывало, она воодушевит и укрепит в уверенности, что счастливый случай приходит сам. Надо только его подкараулить, не совершая лишних усилий.

Отплясавши, слегка задыхаясь, он вытер капельки пота на лбу и стал допытываться у Курочкина, каким же талантом он в самом деле обладает. И тут произошло открытие, озарившее его скудную жизнь на много недель. Оказалось, что Курочкин — художник. Вернее, не художник, а замечательный копиист. Конечно, подделывать полотно Веласкеса или Тициана он не решится, но повторить подпись Бенвенуто Челлини, или автограф Победоносцева, или даже выгравировать на кремовой бумажке портрет дамы в белом шарике — Катеньки он может без труда. И не всякий эксперт отличит в этом

случае фальшивую сотенную от настоящей ассигнации. Сдерживая с огромным трудом охватившее его волнение. Гуденко спросил:

— И часто вам приходилось применять эти свои.. способности?

— Никогда, — гордо отрезал наборщик. — Не имею склонности к авантюрам. «Все в жизни прах, все в жизни тлен, а в смерти все туманно», — сказал один неглупый английский поэт. Но если бы судьба свела меня с Гарибальди, я мог бы быть ему полезен.

— Подумали бы лучше о своей пользе! — вырвалось у Гуденки.

Надо же! Топор под лавкой. Рядышком. Искал, искал несуществующий заговор — оказалось, антиконституционная акция прямо под рукой! Он плохо владел собой. Радужный план будущего рискованного предприятия еще смутно мелькал в голове, но уже обнадеживал.

Не замечая воодушевления своего собутыльника, Курочкин все так же мрачно пробубнил:

— Поздно. Время мое истекло. Идеалы во прахе. Будущего не вижу.

Гуденко отмахнулся:

— Будущее ваше блистательно. Вы не подозреваете, как счастливо сложились для вас обстоятельства. Ловите фортуны за хвост.

Он и сам верил в то, что говорил. Возникший внезапно план использовать талант Курочкина был единственным шансом на спасение его самого от нависшей угрозы.

Три дня назад Рачковский приехал в Лондон и вызвал к себе Гуденку в отель на Гровенор-стрит. Приглашение свалилось как снег на голову. Он не подозревал, что начальник агентурной разведки иногда совершает инспекционные поездки и теперь уже несколько дней



пребывал в Лондоне и даже посетил Ольгу Алексеевну Новикову. Ничего хорошего от встречи с Рачковским он не ждал. Наблюдения его над лондонскими эмигрантами были очень поверхностны, сведения скудны. Готовясь к свиданию, он судорожно старался придумать какое-нибудь сенсационное сообщение, но, кроме оживленной переписки Фанни Степняк с семьей Карауловых, пребывающих в Сибири, и довольно частых писем Минского и Венгеровой из России, в голову ничего не лезло.

К Рачковскому он явился в состоянии смятенном и в то же время готовый к отпору.

Начальник заграничной агентуры сидел у камина в вольтеровском кресле, в халате, с трубкой в зубах. Когда-то он мечтал быть флотским офицером, стоять на капитанском мостике, вглядываясь в туманные дали. А какой же морской волк без трубки в зубах?

Интимность обстановки, немундирный вид Рачковского в халате, с обнаженной жилистой шеей, выступающей из батистовой сорочки, пылающие поленья в камине, дымчатые сумерки за окном вдруг странно расслабили Гуденку, почти успокоили его. Соблюдая субординацию, он бодро отчеканил:

— Явился по вашему приказанию.

Рачковский вяло отозвался:

— Было бы лучше, если бы вы действовали по моему приказанию.

Недоуменно задрав и без того высоко вскинутые брови, Гуденко захныкал:

— Воля ваша, Петр Иванович, я, кажется, прилагаю усилия...

— Не по тому адресу прилагаете. Ольга Алексеевна, человек бесценный для нашего ведомства, не может вспоминать о вас без дрожи отвращения.

Внезапно обнаглев, Гуденко, не раздумывая, брякнул:

— Я тоже. Хорошо хоть в этом мы сошлись.

— Вижу, что она была права.— Рачковский встал, сдерживая бешенство, зашагал по комнате.— Вы, по-видимому, забыли свое место и свою роль. Вы агент. Исполнитель приказаний начальства и наблюдатель. Вы обязаны понимать, что от вас требуется. А что вы преподнесли Ольге Алексеевне? Вот полюбуйтесь,— он указал рукой на письменный стол,— вон там, в желтой папке, ваш трофей. Она швырнула его мне, а вам сделала прощальный подарок — убийственную аттестацию.

— Убийственную?— чуть слышно прошептал Гуденко.

Он рванулся было к столу, но Рачковский остановил его.

— Не торопитесь. Мне пришлось выслушать, что мы прислали к ней человека грубого, бестолкового, непроявленного, кажется, даже пьяного. Я должен сделать из этого выводы. Самые радикальные. Вам понятно?

У Гуденки потемнело в глазах. Качнулся на потолке розовый фонарь на массивных цепях, будто поехало в сторону чеппенделевское кресло у письменного стола. Свершилось. На улицу. Вышвырнут, как приبلудившегося пса. А все она, зловещая волоокая дама. Пиковая дама!

— Тройка, семерка, туз!— выпалил он, совершенно растерявшись.

— Что вы сказали?— грозно спросил Рачковский и вдруг расплылся в хитрой улыбке:— Пиковая дама? Слушайте, с вашим воображением неужели вы не можете соорудить подобие заговора? Подбить их, вдохновить, наобещать чего угодно. Вы же прекрасно работали в Америке. Вошли в доверие... Куда все девалось?

Все еще не веря счастливой перемене в тоне, Гуденко бормотал:

— Так там же была только транспортировка... Дело техническое, принял — отправил. И люди другие. А тут...

Они же умнее меня! — вырвалось у него с бесстыдной откровенностью. Рачковский поскучнел, сказал нахмурившись:

— Не приходится сомневаться. Умнее. Но не думайте, что вы один занимаетесь наблюдением. Пока что сведения мало расходятся. Но работа ваша вялая. Я рассчитывал, что вы сумеете действовать. Не только наблюдать. Ошибся. И теперь — даю две недели срока. Ваши подопечные должны совершить акцию. Противоречащую английской конституции. Или хотя бы дающую материал для статьи об их деятельности.

— Вы сказали, Петр Иванович, что есть еще... — он инстинктивно оглянулся, — есть еще, так сказать, осведомители, так, может, соединенными усилиями?..

— Да вы, я смотрю, совсем младенец! Неужели вам не объяснили еще в Питере, что в нашем ведомстве содружеств не существует? По крайней мере для внутренних агентов. Могу вас уверить, что в окружении Степняка, например, вы десятки раз видели своих коллег и не догадывались об их роли. Впрочем, надеюсь, как и они о вашей. Понятно? Помните, что время не ждет. Иначе — не обессудьте, — и он сделал жест по направлению к двери, как бы выпроваживающий Гуденку.

Тот потянулся было снова за желтой папкой, но Рачковский сказал:

— Это еще может пригодиться. Для статьи. Как орнамент. Так сказать, гарнир к основному блюду. Вот и позаботьтесь о нем.

Несколько дней после визита к Рачковскому Гуденко ходил совершенно опустошенный, не в силах собраться с мыслями, не то что сочинить какую-нибудь антиконституционную акцию со стороны «преступных эмигрантов». Голова отказывалась работать, и только одна мысль не давала покоя: кто же еще из его коллег возвращается в окружении Степняка и его друзей? Первым попал под по-

дозрение некий студент, приехавший с рекомендательным письмом от Короленки. Он чем-то не понравился Степняку, похоже, даже показался подозрительным. Но он и пробыл-то в Лондоне всего четыре дня, а затем отправился в Ирландию. А какие в Ирландии политические эмигранты? Не то. Курочкин? Но он настолько замкнут и погружен в свою работу, так нелюбопытен, что никому не придет в голову делиться с ним своими планами и намерениями. Двойной игры со стороны Волховского, Кропоткина, Чайковского он ни на минуту не допускал. Может, кто-нибудь из англичан? Но с какой стати эти опытные подпольщики будут посвящать англичанина в свои тайны? Ради чего? Что они могут сделать в России? Почему-то ему не приходило в голову, что он не так часто бывал у Степняка и Волховского, чтобы знать всех их гостей.

Несколько успокаивала только мысль, что если он сам не знает, кто его коллега, то и тот ничего не знает о нем. Впрочем, от этого не легче. Задание Рачковского не может быть выполнено. Какой заговор? Против кого? Какие такие антиконституционные акции? Вернее всего, что эмигранты занимались открытой гласной пропагандой, рассчитанной на Европу. А если помогали чем русским, кроме нелегальной литературы, то концы так глубоко запрятывали, что до них и не докопаешься. Да, ухватить за хвост этого увальня, этого медвежевато-простодушного с виду Степняка немислимо. Скользкий, как уж, не уцепишься.

Теперь выход найден.

Хвастливое признание наборщика, что он может подделывать даже сотенные ассигнации, окрылило Гуденку. Идея приспособить типографию Вольного фонда для печатания русских денежных знаков почудилась близкой и заиграла в его воображении всеми цветами радуги. Он гордился самой мыслью: фабрика фальшивой монеты —

это же его детище! Такое не приходило в голову даже Рачковскому. И это действительно акция а н т и к о н с т и т у ц и о н н а я. Это слово еще в номере у Рачковского огорошило его, да так и осталось зловещим жупелом и к тому же задачей неосуществимой. А теперь — впереди гала-представление. Все технические подробности предприятия совершенно неважны. Можно допустить, что Курочкин не такой уж блестящий копиист, как ему самому кажется. Что за беда! Важно, чтобы типографию накрыла английская полиция в момент изготовления фальшивых ассигнаций. Лишь бы уговорить этого угрюмого Сергея Геннадиевича, опохмелить его до полубезумия, «до мании грандиоза». Внушить, что он наследник Гарибальди. Что надо, подобно его незабвенному кумиру, начинать дело, спасая порабощенные народы Южной Америки; кто там, к черту, разберется в русских ассигнациях. Вскружить голову этому мрачному олуху, сыграть на слабой струне. Он ведь, кажется, из затаенных честолюбцев, трусливых гордецов, которые так боятся провала, заранее трепещут в ожидании любой неудачи, что готовы на всю жизнь забиться в щель, лишь бы избежать возможного фиаско. Надо поить его сегодня, завтра, поить неделю до умопомрачения, вдохновить, зажечь фантазию.

Характеристика Курочкина, внезапно возникшая в воображении Гуденки, была слишком упрощенной. Честолюбивые мечты просыпались и начинали бушевать в нем лишь в дни запоя, когда вырывались наружу все надежды, загнанные глубоко внутрь тяжелым детством.

Незаконнорожденный сын обедневшего оренбургского помещика, угрюмого анахорета, и его рано умершей ключницы, он провел детские годы в бывшей девичьей, деля ее с французом-приживальцем. Все заботы о воспитании и образовании мальчика были передоверены этому опустившемуся равнодушному старику, постоянно пребы-

вавшему под хмельком. Он не стеснялся называть ребенка бастардом, а по его примеру слуги попросту обзывали ублюдком. Ребенок рос одиноким, таким же, как и отец, угрюмым и молчаливым, не зная ни товарищей, ни материнской заботы. Самое большое удовольствие, доступное ему, — библиотека отца, где собраны были многие французские вольнодумцы, от Вольтера до Фурье. Это были его единственные собеседники, единственное общество, в котором он не чувствовал себя презираемым и обездоленным. Он не любил резвиться в старом парке, играть с деревенскими ребятами, слушать по вечерам в кухне рассказы старого кучера и сплетни, приносимые из деревни кухаркой и горничной. Ничто его не сближало с родной природой, ни с народом. Гуденко ошибался. Он вырос не честолюбцем, а космополитом. Ему мечталось освободить народы всего мира, любой страны и любого континента. И позже, в университете, он был далек от мыслей и стремлений народников и народовольцев. Страдания русского крестьянства чувствовал не более, чем страдания индейцев или кафров. Как все космополиты, он был рабом мышления абстрактного. Свобода представлялась ему в смутном образе женщины в развевающихся одеждах, с красным знаменем в руках, с босыми ногами, покоящимися на пышном облаке, как у бога Саваофа в сельской церкви. Раскабаление и процветание русских мужиков, наделенных землей, освобожденных от помещичьего гнета, никогда не волновали его воображения. Ни тогда, когда вместе с другими студентами вышел на Казанскую площадь и был потом изгнан из университета, ни когда сотворил себе кумира из Джузеппе Гарибальди, считая, что все славные его итальянские походы и борьба за освобождение Италии — печальная игра обстоятельств, а по сути он борец за освобождение всего человечества.

Никогда и никем не поощряемый, он не находил для себя места в этой грядущей глобальной борьбе, потому

что не мог быть в ней ведущим, а только ведомым. Ведущего после смерти Гарибальди он не видел во всем мире. И только иногда в пьяных миражах представлял себя вождем разноплеменной армии повстанцев, необозримых полчищ гордых нищих, заполонивших и прерии, и канадские леса, моря и океаны, Альпы и Нидерланды. Опохмелившись, возвращаясь в серые лондонские будни, корил себя: все это гимназические бредни, картинки из майнридовских книжек. Он одинок, как Люцифер. Кто пойдет за ним и почему?

Он был так одинок и бесприютен, что даже внимание, проявленное на этот раз Гуденкой, согревало его.

Остаток дня собутыльники провели, переходя из одного питейного заведения в другое, отдыхая в скверах и парках, благо осенний день был на редкость хорош. Курочкин вел себя витиевато, как определил Гуденко. То он полностью отказывался от задуманного предприятия, то беспокоился, где достать бумагу с водяными знаками, то вопил, что ему не нужна слава, а лишь мировая справедливость, и снова сетовал, что у него нет русской «катенки» — сотенной бумажки, с которой можно было бы срисовать портрет Екатерины Второй.

Гуденко считал, что половина дела сделана. Качество ассигнаций не имело никакого значения. Лишь бы заварить кашу...

## ПОЗДНИЙ ГОСТЬ

Не так-то просто застать Рачковского. Гуденко метался. Расставшись с наборщиком, он тотчас же помчался к шефу, чтобы сообщить о своем блестящем плане и потребовать помощи, но в отеле сообщили, что постоялец уехал в Брайтон. Уж, конечно, не с деловыми целями. Что могут делать в приморском фешенебельном курорте русские эмигранты-голодранцы? Зачем его туда понесло?

Стоило выехать из Парижа, чтобы сидеть в коляске на взморье и любоваться закатом, как это делают флегматичные англичане? А между тем без помощи Рачковского нельзя добыть реквизит. Мысленно Гуденко только так и называл оборудование, необходимое для задуманной им инсценировки.

Приходилось ждать. Убивать вечера в обществе дьякона посольской церкви и шифровальщика. Попадая в дом, где у буфета развешаны вышитые петухами полотенца, на чайном столике — сверкающий медью самовар, на стенах — дагерротипы папаши и мамыши, он чувствовал себя в глухой российской провинции, в которой радуются копеечному выигрышу в винт и избывают тоску беспробудным пьянством. И это теперь, когда впереди снова замаячила блестящая карьера. Если Скотланд-Ярд накроет эмигрантскую шатию — повышение обеспечено.

Мучительное ожидание длилось дней пять, и наконец ликующий Гуденко смог доложить о своем плане в самых радужных тонах. С нескрываемым самодовольством он напирал на то, что счастливая идея до сих пор никому не приходила в голову. Что он первый, в каком-то божественном озарении понял, что это безотказная ловушка. К тому же а н т и к о н с т и т у ц и о н н а я. С особенным удовольствием он произносил это слово по слогам.

— Помилуйте, какое же государство позволит печатать на своей территории фальшивые ассигнации, хотя бы и чужой державы?

Резонные эти рассуждения как-то не вязались с его наивными вопрошающими глазами. Рачковский было усомнился в реальности задуманной операции, но деловитость, с какой Гуденко потребовал от него во что бы то ни стало добыть бумагу с водяными знаками и некоторые инструменты для гравировки, успокоила. Хотя говорил он брюзгливо:



— Водяные знаки — это не шутка. Придется обращаться в Монетный двор. И не по нашим каналам. Что еще скажет министерство финансов. Заподозрит злоупотребления... Нет, тут нельзя идти путем официальным.

Но по тому, как удовлетворенно он разглаживал свои пронзительно острые прусские усы, как хищно вздрагивал кадык на его жилистой шее, Гуденко догадывался, что он увлечен новым планом, и попытался отместить все сомнения.

— Какие там злоупотребления? Мы же ассигнации в ход не пустим. Два-три полисмена из Скотланд-Ярда придут в типографию — застигнуты на месте преступления — и пожалуйста бритесь!

Петр Иванович поморщился. Вульгарный жаргон, прорывающийся иногда у Гуденки, не то чтобы шокировал его, но свидетельствовал о недостатке субординации. Он поскущел и сухо сказал:

—хлопоты о бумаге я беру на себя. А вы действуйте. И не забывайте о непрерывном наблюдении. Это ваша прямая обязанность.

Поднимаясь в гостиную Степняков, на лестнице он услышал незнакомый голос. Остановился у порога. Когда еще услышишь в Лондоне плавный русский стих!

*Я вижу вновь тебя, таинственный народ,  
О ком так горячо в столице мы шумели.  
Как прежде, жизнь твоя — увы — полна невзгод,  
И нищеты ярмо без ропота и цели  
Ты все еще влачишь, насмешлив и угрюм.  
Та ж вера детская и тот же древний ум:  
Жизнь не манит тебя, и гроб тебе не страшен  
Под сению креста, вблизи родимых пашен...*

Все еще таясь за полуоткрытой дверью, он увидел читавшего — лысеющего брюнета средних лет. Худень-

кая черноволосая дама в пенсне, по-видимому жена, незаметно поглядывала кругом, проверяя, какое впечатление производят стихи. Степняк сидел, низко наклонив голову, даже глаз не было видно из-под нависшего могучего лба. Фанни смотрела куда-то вдаль за окно, с непроницаемым видом подперев подбородок кулаками. И только Лили Буль, опершись на каминную доску, стояла вытянувшись как струнка. Волховского в комнате не было.

Звучный голос заполнял маленькую гостиную. Русская речь радовала. На минуту Гуденко отвлекся от необходимости наблюдать и запоминать. Сами слова — кресты, пашни — вызывали в памяти забытое, похороненное. Ветхая церквушка на краю погоста, закат, розовеющее небо, редкие скирды на бескрайнем поле. Ведь было же это, было — и полная беззаботность, и никому ничего не должен... Он открыл глаза, когда особенно громко прозвучала последняя строфа:

*Тебя порой от сна будили, в руки меч  
Влагали и вели, куда? — ты сам не ведал.  
Покорно ты вставал... Среди кровавых сеч  
Не раз смущенный враг всю мощь твою изведal.  
Как лев бесстрашный, ты добычу добывал,  
Как заяц робкий, ты при дележе молчал...  
О, кто же ты, скажи: герой великодушный,  
Иль годный к битве конь, арапнику послушный?*

Читавший кончил на высокой ноте и вопросительно посмотрел на Степняка, но тот не успел откликнуться. Лили подбежала к поэту, что-то восторженно залепетала и пожала ему руку.

Фанни зааплодировала, а Степняк с застенчивой улыбкой сказал:

— Стихи мне нравятся, настроение не нравится ваше. Раньше вы иначе писали: «Подожди — и рассеется сумрак веков, и не будет господ, и не будет рабов, —

стихнет бой, что столетия длился. Род людской возмужает и станет умен...»

Гуденко наконец решился переступить порог. Его представили поэту Минскому и его жене. Раскланялся у дверей и скромно объяснил, что рассчитывал здесь застать Волховского.

Фанни кивнула утвердительно:

— Он еще вчера обещал зайти. А раз обещал, так появится. Феликс человек обязательный.

Венгерова, не обращая внимания на Гуденку, вытянув длинную шею, налетела на Степняка, как рассерженная птица.

— Вам не нравится настроение Николая Максимовича? Но если бы вы жили теперь в России, вы удивились бы, что он вообще еще пишет. Всюду такая подавленность, безысходность...

— Мертвая зыбь общественной жизни, — веско подтвердил Минский.

А Лили Буль недоуменно вопрошала:

— А кто такой арапник? Разве в России есть негры? Разве они могут повелевать мужиками? — И, не замечая, что все рассмеялись, продолжала: — Хотя у Пушкина арап Петра Великого был знатный джентльмен... Но ведь это же давно, и таких не могло быть много.

Присутствие Лили примиряло Гуденку с тем, что приходится снова, как настаивает Рачковский, вести нудную слезку. Кажется, сегодня можно выудить нечто полезное.

Приехали из России новые люди — Минский, литератор с весьма подмоченной репутацией, издавна истекающий гражданской скорбью. Зинаида Венгерова тоже дама из питерских либеральных кругов. Но о чем толкуют? О застое общественной жизни. Да еще стихи читают. Ну, пусть о мужиках. Велик ли криминал? Некрасов

тоже над мужиками рыдал. И ничего. Печатали. А впрочем, черт с ними, со всеми наблюдениями и донесениями. Лили — душенька!

— Россия не та, какую мы знали двадцать лет назад, — говорил Минский. — Могли ли мы думать, что героическая борьба народовольцев кончится пирровой победой?

— Деятнадцатый век — век пессимизма, — задумчиво произнесла Лили.

«И про это знает...» — чуть ли не вслух прошептал Гуденко.

Минский недовольно посмотрел на англичанку и продолжал:

— Вместе с царем-освободителем были убиты все надежды на благодетельные перемены. Восемидесятые — сплошной мартиролог народовольческой партии. А что делают на похоронах? Опускают руки и проливают слезы. Вот так мы и пришли в девяностые.

— Да бросьте вы о похоронах! — поморщился Степняк. — Революция — феникс. Доказано всей историей человечества. Возрождается из пепла. Я бы сказал, преимущественно из пепла. А куда же вы дели молодежь? Живет же она, действует?

— Вы думаете, действует? Мертворожденные, бесплодные дела. Студенческие манифестации, демонстрации на похоронах...

— А кто умер-то? — грубовато спросил Гуденко. — Кажется, и на погост отвозить уже некого. Всех схоронили.

Ему начинал нравиться оборот разговора. Затевадается спор, наговорят лишнего.

— Не скажите, — печально и иронически улыбаясь, откликнулась Венгерова. — Кто-кто, а покойники всегда найдутся. Последний инцидент произошел на похоронах Плещеева...

— Студенты хотели напомнить властям о своем существовании? — спросил Степняк.

— И о том, что память о покойном петрашевце не умерла, — добавил Минский.

— Так вот я говорю, — продолжала Венгерова, немного обиженная, что ее перебили, — в начале октября гроб с телом Плещеева прибыл на Николаевский вокзал. Прямо из вагона его приняли на руки студенты. Похоронная процессия должна была двинуться по маршруту, заранее составленному полицией. Но не тут-то было! Студенты во что бы то ни стало захотели провезти покойника мимо университета и свернули в Уланский переулок. Что тут началось!

— Битва русских с кабардинцами, — пояснил Минский.

Поэт явно был не склонен слушать кого-нибудь, кроме самого себя. В манерах его было что-то доктринерское, совсем не поэтическое — иногда он поднимал указательный палец, призывая к вниманию.

Венгерова метнула на мужа сердитый взгляд и пустилась в подробности:

— Конные жандармы преградили процессии путь. Какому-то городовому раскровянили нос, какой-то студент угодил под лошадь. Гроб стащили с катафалка. Студенты и жандармы вырывали его друг у друга и чуть не вывалили покойника в грязь. Дочь Плещеева билась в истерике...

— И, вняв ее слезам, студенты повернули на Садовую и доставили покойника без происшествий на Новодевичье, — быстро закончил Минский. — Но интересно, что Москва и Петербург месяца два говорили только об этом событии.

— Вся общественная жизнь страны протекает на похоронах, — заметила Фанни.

— Безвременье, — поддержал Минский. — Все измельчало.

— Естественно, — отозвался Степняк. — Это же пена на гребне волны. Она заметнее. Но волны поднимаются из глубины, и есть подводные течения, которые... — он оборвал и, смеясь, закончил: — Сегодня я выражаюсь что-то очень пышно, метафорически. Вот что значит оказаться в обществе поэта.

— О подводных течениях я не осведомлена, — несколько обиженно сказала Венгерова, — но Николай Максимович прав. Очень много шума поднимается из-за совершенных пустяков. Взять хоть «шелапутинское дело». В Шелапутинском театре итальянцы давали «Паяцев». Трое студентов с галерки освистали безголосого Канио. С ними сцепились посаженные на галерку клакеры, на шум прибежали служители и городовые, студентов выволокли на улицу и избили. Дело кончилось в суде. И, как и следовало ожидать, студентов приговорили к штрафу, а городовые остались безнаказанными.

— Вот и сравните, — сказал Минский, — история эта называется «шелапутинское дело», и о ней толкует и перетолковывает весь Петербург. Но мы-то с вами помним «чигиринское дело»! Какая разница в масштабах! Какая деградация общественной жизни!

— Ах, Николай Максимович, Николай Максимович, — покачал головой Степняк, — нам еще рано записываться в старики, сокрушаться о том, что было в наше время. Скажите лучше, какая литература, серьезная литература, ходит нынче по рукам?

От Гуденки не ускользнул взгляд, брошенный на него мимоходом Степняком. Сердце екнуло. Неужели стало известно? Ведь большая часть тиража «Подпольной России», отправленного с его помощью на родину, попала в руки жандармов.

Минский ответил не сразу, и в тишине послышался голос Лили Буль. Она тихонько, будто заучивая урок, повторяла:

— Арапник — хлыст. Арап — жулик. Араб — африканец...

— Пойдемте-ка вниз, — сказала Фанни. — Будем чай пить. Настоящий русский чай из самовара.

Внизу, в столовой, шумел самовар с пузатым фарфоровым чайником, угнездившимся на конфорке, в вазочке — настоящее крыжовенное варенье, а не тягучий липкий джем, каким принято тут угощать. Разговором опять завладел Минский. Своей речи он помогал чайной ложечкой, точно дирижерской палочкой, отмечая паузы и синкопы.

— Вы спрашивали о литературе, — говорил он, и ложечка взлетала вбок, будто выражала недоумение. — Серьезной что-то не припомню. Все больше прокламации попадались. — И ложечка небрежно звенела в стакане, давая слушателю понять, что все это дребедень, внимания не стоящая. — Запомнилась только прокламация от тридцати четырех студенческих землячеств. Французы устроили торжественную манифестацию в честь русских на тулонских торжествах. Студенты увидели в этом измену Франции, своей великой истории. Лихо было написано. Так прямо и говорилось, что страна, когда-то призывавшая мир разбить оковы деспотизма, теперь кадит русскому правительству. — Ложечка вскинулась вверх, подобно восклицательному знаку.

Степняк пробормотал:

— Не густо. Все это, конечно, либеральная жвачка, и мы тем более должны торопиться. Мы обязаны изо дня в день напоминать о традициях русских революционеров. Для чего же еще мы существуем? И если всколыхнуть...

Как всегда, он сидел, низко опустив голову, не то чтобы печальный, но озабоченный. Говорил, не подымая глаз. И именно эта озабоченность насторожила Гуденку. Всколыхнуть! Что-то затевается. Новое предприятие?

Транспортировка в Россию оружия? Такие вещи от него, конечно, будут скрывать. Не припоздать бы с фальшивыми ассигнациями. Верно, все эти постоянные эмигрантские разговорчики о бесплодности террора — одна маскировка. Допытаться бы. И он сказал:

— А на что можно надеяться, Сергей Михайлович? Всколыхнуть! Да легче древний курган, какую-нибудь скифскую бабу заставить «Камаринскую» плясать, чем расшевелить Россию. Да еще отсюда. Из-за тридевяти земель.

— Не судите так легко о русском народе. Мы только что слышали, что и поэт не может разгадать эту загадку.

Лили задумчиво уронила:

— Слова искажают мысль.

— Да я не о народе, — заюлил Гуденко. — Мужичок, он что? Мужичок что дышло — куда повернул, туда и вышло. Я об интеллигенции. Чуть зажали — сами себе рот кляпом заткнут.

Минский посмотрел на него удивленно и возразил:

— Это вы напрасно. Сейчас заговорили как раз те, от кого и ожидать было нельзя. Лесков, как известно, писатель со всячинкой, до сих пор расплачивается за грехи молодости перед либеральной публикой. Так вот он недавно напечатал не то повестушку, не то большой рассказ — «Зимний день». А в нем весьма прозрачно изобразил под именем Олимпии Ольгу Алексеевну Новикову. И самое удивительное — цензура пропустила весьма недвусмысленные намеки на ее связь с жандармским управлением.

— А какие прелестные подробности! — оживившись, подхватила Венгерова. — Лесков показывает ее как настоящую воительницу, в панцире — грудь расшита стеклярусом наподобие кольчуги. А у ее кучера сзади, на толстой поддевке пришпилены часы. Для обозначения необычайной деловитости хозяйки.



— Лесков несколько раз приводит высказывание Диккенса о том, что следует с подозрительностью относиться к лицам, живущим на неизвестно откуда добытые средства, — заметил Минский.

Степняк сказал:

— Этой особе очень хотелось отправить меня на виселицу. Не получилось, — и он комически развел руками.

Минские заторопились прощаться. Вечерело, а им еще хотелось побродить засветло по Лондону и зайти потом к Эвелингам. Фанни и Сергей Михайлович вышли провожать гостей на улицу. Лили забралась в кресло с ногами и задумчиво говорила:

— Русские — удивительные люди. У них нет инстинкта самосохранения. Они идут на подвиг, как на прогулку. Англичан трудно удивить сдержанностью. Но это совсем другое. Англичане решаются рисковать, когда все взвесят. Как это у вас говорится, — когда остригут концы.

— Обрубят концы? — поправил Гуденко.

— Я так и хотела сказать. Я хотела сказать, что русские не боятся идти на риск, даже когда нет необходимости рисковать. Говорят, что за этим поэтом, который сейчас нас покинул, наблюдает полиция. Наверно, и вы такой же. Но вы не разделяете взглядов наших друзей и все-таки часто встречаетесь с ними. Почему? Вы тоже рискуете своей репутацией, когда вернетесь на родину.

— Вам это не нравится?

— Очень нравится, только...

— Что только?

— Только еще больше мне нравятся итальянцы. Их темперамент. Когда-нибудь я все-таки закончу роман, где будет много подвигов, смертей, безрассудных поступков. О, конечно, туда войдут мои впечатления от России, то, что я знаю о русских революционерах. Но все будет ярче, как в настоящей драме...

Лили покраснела и отвернулась к камину. Свет от вспыхнувшей головни осветил ее легкие пепельные волосы.

— Кровь, драмы, итальянцы... — с наигранным ужасом говорил Гуденко. — С такими глазами, такой улыбкой надо писать стихи. О цветах и о бабочках.

— Не успели старики выйти за дверь, как тут уже заговорили о бабочках и цветах, — сказал Степняк, входя в столовую. — И прекрасно сделали. Я всегда считал, что нам не хватает легкости и легкомыслия.

— Побойся бога, не клевети на себя, — засмеялась Фанни.

— Раз не велишь — не буду. И если мне зажимают рот, попросим Лили сыграть что-нибудь элегическое.

Лили подошла к старенькому фортепьяно, задумалась и заиграла что-то тихое, как показалось Гуденке, разговорное.

— Что это? — спросил он у Фанни.

— Чайковский, «Тройка». Из «Времен года».

Куда ни повернешься — Россия. И впрямь похоже. Сумерки, голубой искристый снег, след от полозьев мятый, рыхлый. Интересно, что сейчас представляется Степняку. Не поймешь его. Говорит набычившись, смотрит исподлобья, а слушает, закинув голову, будто ртом ловит звуки.

Гуденко так бесцеремонно уставился на него, что Фанни тронула его за плечо, шепнула:

— Вас удивляет, что Сергей размечтался? Он всегда так слушает.

За окном совсем стемнело, а Лили играла одну пьесу за другой, и Гуденко чувствовал, что его визит затянулся, и похоже, что Волховский не появится здесь, а уйти не хотелось.

Звонок прервал его мысли.

— Волховский! — крикнул он.

Но в комнате появился тощий человек, заросший до бровей черной щетиной, в наглухо застегнутом сюртучке. Он молча поклонился и протянул Фанни какую-то измятую, засаленную бумажку.

Она мгновенно пробежала ее и вскрикнула:

— Боже мой! От Паши! Друг Василия! Из Якутии...

Лили и Степняк сорвались с места, пожимали руки незнакомцу, Фанни побежала на кухню ставить чайник. Всё кругом закружилось, заторопилось, будто вьюга ворвалась в раскрытую дверь.

— К огню! К огню!— кричал Степняк.— Здешняя осень опаснее сибирской зимы.

Якутянина усадили у камина, набросили на ноги плед.

— Как это там у Бетховена,— кричал Кравчинский,— «Бетси, нам грогу стакан...» Фанни, чего-нибудь горячительного! И, конечно, закусить.

Лили, успевшая прочесть записку, шепнула Гуденке, что это бежавший из ссылки поляк. Записка от сестры Фанни, Прасковьи Васильевны Карауловой, у которой Лили жила в Петербурге, а муж ее... Но Лили не договорила. Фанни вбежала в комнату с простыней в руках.

— Мыться! Мыться! Вы сразу почувствуете себя другим человеком. Я уже нагрела воду в ванной.

И она потащила за собой позднего гостя.

— Вам не напоминает это одну диккенсовскую сцену?— улыбаясь, спросил Степняк у Лили.— Когда несчастный, измызганный Давид Копперфильд приходит к бабушке, она не знает, что с ним делать, а несколько свихнувшийся мистер Дик мудро решает: «Выкупать».

— Верно, верно! Он такой же несчастный и грязный, как маленький Дэвид,— расхохоталась Лили и добавила:— но разве Фанни похожа на мистера Дика? Такая красавица...

— Очень даже похожа. Добротой, мудростью и... простодушием.

Через полчаса гость, назвавшийся Михаилом Войничем, сидел за столом в просторном сюртуке Степняка, который он изредка запахивал на себе, как халат, и рассказывал свою эпопею, похожую на десятки таких же историй. Сын мелкого чиновника из Ковно, аптекарский ученик, он почти подростком примкнул в Варшаве к социально-революционной партии «Пролетариат», а когда руководители ее оказались в заточении, вошел в доверие к начальнику тюрьмы и уже полностью подготовил побег приговоренных к расстрелу. Но, как это часто бывало, весь план сорвал провокатор, и сам Войнич оказался в тюрьме, а затем был отправлен на далекий Север.

Он вдруг перебил свой рассказ и спросил Лили:

— Вы были когда-нибудь в Варшаве?

— Давно уже. Несколько лет назад, по дороге в Питер.

— На пасху?

— Как вы угадали? Была весна, праздник...

— Нет, погодите. Вы сидели на лавочке против цитадели?

— Наверно, сидела. И не раз. Это близко от дома, где я жила.

— Так я вас видел из окна камеры. Видел. Видел! Лили густо покраснела и опустила глаза:

— Видели?

— И запомнил.

Фаини и Степняк переглянулись. Это признание, вырвавшееся у измученного и ослабевшего человека, было так похоже на объяснение в любви, что казалось, надо поскорее найти предлог и выйти из комнаты.

Гуденко мрачно поглядел на Лили и резко повернул разговор:

— Подумать только, из Якутии — в Лондон!

— Вот уж тут ничего нет интересного. Мучительная, длинная история. На границе продал жилетку. И,

поверите ли, даже очки. Хорошо хоть нашелся покупатель.

— Вы близоруки? — спросила Лили.

— Еще как! С трудом разобрал номер этого дома. А ведь здесь их пишут аршинными цифрами.

— А Лили узнали без очков, — улыбнулся Степняк. — Это делает честь вам обоим.

— Почему же обоим? — встрепенулся Гуденко.

— Конечно, обоим. Очарованию Лили и... — он хотел сказать, силе чувств Войничу, но это показалось неделикатным, и он закончил: — и впечатлительности нашего гостя.

Может быть, впервые за все время продолжительного знакомства со Степняком Гуденко почувствовал озлобление против него. Вся эта публика одним мирром мазана. Подыгрывает первому встречному беглому каторжнику. Толкает в объятия проходимца чистую девушку, которой он и мизинца не стоит. Все они — одна шайка. А он сам для них не хороший знакомый, не соотечественник, а дойная корова. Денежный мешок. Пустое место. Впрочем, все это скоро кончится. Рачковский сделает свое дело и потащит голубчиков на родину-мать. Родину-мать? Родину-мачеху!

Он с шумом отодвинул кресло и стал прощаться, сказав, что Волховский, как видно, не придет. Его не удерживали.

В холле он посмотрел в зеркало на свое цветущее, розовое лицо, поправил золотую цепочку от часов, наискосок закинутую из верхнего в нижний карман жилета. Обиженное выражение делало лицо, как ему казалось, значительным. А вот Лили не спускала глаз с Войничу с той минуты, как он появился. Босьяк! Продал очки и жилетку. Интересно, кому могло понадобиться такое барахло? Все они босьяки, нищие, ничтожества, живущие подаванием русских аристократов.

Он глянул на Степняка, молча стоявшего около лестницы, полез в карман, вынул из бумажника толстую пачку ассигнаций и протянул ему:

— Расписки не требуется. Передайте Волховскому.

В эту минуту он воображал, что он и впрямь одаряет революционеров. Аристократ. Филантроп. Благодетель. В эту минуту он начисто забыл, что деньги шли из конторы Рачковского.

Степняк сунул было деньги в карман, но спросил:

— Вы, кажется, чем-то расстроены? Может, денежные затруднения?

Неужели он догадался? Неужели со стороны заметно, что вся его досада и внезапный уход оттого, что Лили пялится на этого небритого проходимца? Он натянуто улыбнулся, пробормотал:

— Просто очень тороплюсь. Любовное свидание с очаровательной ирландкой.

## С ФЛИТ-СТРИТ В ИСТ-ЭНД

Пропавший день! Милые, доброжелательные, но суетные и жадные до впечатлений Минские попросили показать им парламент — «горнило управления страной», как высокопарно выразился Николай Максимович. Откладывать и уклоняться невозможно. Они отбывают на родину завтра, а сегодня в два часа еще был назначен завтрак в ресторане на Флит-стрит. Отъезжающие давали его для лондонских друзей и знакомых. Вчера пришлось добывать репортерские билеты для соотечественников, желающих посетить это самое «горнило», сегодня с утра до вечера предстоит болтовня.

Ровно в десять он увидел Николая Максимовича и Зинаиду Афанасьевну у колонн парламента. Они бродили среди статуй английских королей от Вильгельма-Завоевателя до королевы Виктории. Степняка немного забавляла

роль гида при соотечественниках и в то же время было грустно. Вот уж он и лондонский абориген. «А годы уходят, все лучшие годы...»

Забавлял и сам Минский. Он тщился всем своим видом соответствовать бог весть когда возникшему представлению о типичном англичанине: клетчатые брюки, светлый цилиндр, трубка в зубах, через плечо бинокль на ремешке, из кармана сюртука — пестренькая обложка бедкера. Между тем в Англии шотландская клетка давным-давно вышла из моды, и он вовсе не сливается с толпой лондонцев, а, напротив, выделяется своим карикатурно архаическим видом. Зинаида Афанасьевна тоже в яркой клетчатой тальме и коротенькой вуалетке, доходящей до верхней губы. Но к эксцентричности дам здесь относятся более снисходительно.

— Начнем, пожалуй, — сказал он, подойдя к Минским.

Николай Максимович остановил его предостерегающим жестом указательного перста:

— Прежде чем мы войдем в этот ковчег демократических свобод, я хотел бы понять истинную роль английской королевы. Что вы думаете о ее правах и обязанностях?

— Если по совести, меньше всего в своей жизни я думал об английской королеве. Но, пожалуй, могу сказать, что о ней думают другие. Тори, к примеру, любят говорить, но вряд ли в самом деле считают, что она символ неограниченной власти, творец законов, средоточие силы Великобритании...

— А либералы? — живо перебила Венгерова.

— Либералы думают, что королева — богиня вроде Ники. Она возвышается на носу корабля. И как бы ведет его, но никто не спрашивает у нее, куда плыть.

— А все-таки, что думаете вы? — настаивал Минский.

— Ни того и ни другого. По сути, у нее два права — право поощрять и право предостерегать. Но как пользоваться этими правами, подсказывают другие.

— Однако зайдём вовнутрь, — сказал Минский, поглядывая на часы, — ведь перед завтраком надо успеть захватить переодеться.

— Обязательно. И лучше будет, если вы наденете темные брюки.

Он не мог удержаться от этого совета, зная, что к завтраку приглашены первый лондонский сноб Оскар Уайльд и известный пересмешник Бернард Шоу.

Идти по залам парламента не хотелось. Ему нравился этот новый Вестминстерский дворец снаружи. В готике, похожей на фламандские ратуши, не было ничего аскетического, сухощаво-немецкого. Лес шпилей и башен вздымался в небо и напоминал только об изобилии и жизнелюбии. Фасад огромного здания выходил на Темзу, и это скрадывало его монументальность, сближало с природой.

— Ну, пошли. С богом! — подхватила его под руку Зинаида Афанасьевна.

И хотя бедкер был в кармане у Минского, он старательно повторял цифры, которые изредка небрежно бросал Степняк:

— Зал и комнат — тысяча сто. Лестниц — сто. Коридоров — три версты. Простите, я не расслышал, сколько времени нужно, чтобы завести часы?

— Шесть часов, или три тысячи шестьсот минут, — не скрывая насмешки, отозвался Степняк. — Но, наверно, все это есть в вашем справочнике. Вы лучше взгляните, запомните, какова палата пэров. Чего стоит один только знаменитый шерстяной мешок!

— Он очень похож на маленький турецкий диванчик, — сказала Зинаида Афанасьевна. — Он должен означать, что Англия великая шерстяная держава?

— А Большой Бен весит триста восемьдесят пудов? Я не ошибаюсь? — перебил Минский.

Степняк не выдержал:



— Побойтесь бога, поэт! Зачем вам эти цифры?

— Я люблю точность.

— Но для цифр давно изобретены справочники! Лучше оглянитесь вокруг. Когда еще вы увидите эти резные дубовые панели, эти золоченые кожи. Подумайте, как находчивы были архитекторы и художники. Недостаток света и солнца в этом городе туманов они возместили множеством выступов и углублений, контрастами красных и фиолетовых тканей, пестротой бликов цветных стекол. Живописность этого зала нигде не зафиксирована. Ею можно только насытиться своими глазами и запомнить на всю жизнь.

— Вот и выходит, что вы поэт, а я бухгалтер, — развел руками Минский, — но поймите и меня. Для меня цифры — это не только числа, но и масштабы этой великолепной страны, где превыше всего чтят законы.

— Вы так думаете? Во всем, что относится к традиционным процедурам, законы свято чтутся, но когда дело касается политики, тут депутаты и министры проявляют змеиную гибкость и изворотливость. А теперь пойдете в нижнюю палату, в это, как вы изволили выразиться, горнило управления страной. Там работают, а в этом роскошном зале, где мы сейчас, только утверждают или отклоняют законы.

Нижняя палата была значительно скромнее — дубовые панели, стеклянный потолок, двухсветный зал с газовыми рожками, галереи для репортеров, отдельно — для дам. В общем, как подытожила Зинаида Афанасьевна, «ничего особенного».

— Что ты говоришь, Зина! — возмутился Минский. — В наши дни ни в одной стране нет ничего равного английскому парламенту. Его можно сравнивать только с римским сенатом. Тот создал гражданское право, английский парламент — законы гуманнейшего государства...





— Успокойся. Я же говорила только об этом зале.

— Тут каждая деталь священна! Английский парламент показал всему миру идеал правительства, в котором сила служит разуму, где вся власть предоставлена разуму, где современные требования сочетаются с традициями прошлого и путем реформ сдерживают революцию.

Минский передохнул и, несколько умерив свой ораторский пыл, спросил:

— Верно я говорю, Сергей Михайлович? Вот вы, например, какое правительство предпочли бы?

— Сельский сход.

— Шутите?

— А разве можно с вами говорить серьезно? Поете дифирамбы английскому правительству, как будто английский народ живет в раю. Но вы не имеете представления о здешней жизни. Абстракции. Принимаете желаемое за сущее. Верите газетам, средним цифрам, ученым трудам разных там теоретиков. А это все абстракции, если не фальшь.

Он говорил, как всегда, опустив голову, а когда поднял глаза на Минского, увидел, что того будто окатили из ведра, даже запятая эспаньолки уныло повисла. Зинаида Афанасьевна закинула вуалетку на шляпу и уставилась на Степняка взглядом растерянным и виноватым:

— Почему вы так близко к сердцу?.. Вы же никогда не бываете сердитым, — пролепетала она.

— Наверно потому, что отстал от жизни. Сами же рассказывали в прошлый раз, как все измельчало в России. — И, устыдившись своей резкости, перевел разговор, улыбнулся. — Хотите, я вам лучше расскажу, куда уходят силы и время в этой говорильне?

— Ну конечно! — подхватил Минский.

— Место спикера вон в том северном углу зала. Он председатель палаты. Спикер — то есть оратор, глашатай. Он избирается на весь срок созыва палаты, он выразитель

ее воли, он защитник конституционных законов, хранитель всех процедурных правил и должен помнить все случаи их нарушений. Он глашатай, потому что докладывает королеве волю палаты и в случае необходимости отстаивает эти решения, словом, он хранит все неписанные законы палаты. Однако во время заседаний он не должен участвовать в прениях, высказывать свое мнение или даже мнение своей партии, он не имеет права прекратить прения раньше, чем кто-нибудь из депутатов не предложит это сделать. Депутаты, конечно, покидают зал заседаний когда им заблагорассудится. Случилось так, что при обсуждении одного скучнейшего билля все постепенно разбрелись из зала и спикер оказался в полном одиночестве, хотя предложения прекратить прения не поступало. Считалось, что заседание продолжается, но в палату никто не вернулся, и несчастный просидел или подремал в одиночестве до рассвета, пока кто-то из дежуривших служащих не догадался сбегать к живущему поблизости депутату, стащить его с постели. Протирая глаза, депутат вернулся в палату и предложил дремлющему спикеру прекратить прения. Только тогда этот первый человек палаты смог отправиться в постель. Это не анекдот. Говорят, что такие случаи бывали не один раз.

— Человек на часах, — вздохнула Зинаида Афанасьевна. — Военная дисциплина.

Сияя безмятежной улыбкой, Минский сказал:

— Так это же прекрасно! Если депутат, слуга народа, выполняет свои обязанности самоотверженно, как на военной службе, чего еще можно пожелать?

Экое непробиваемое благодушие! Степняк поглядывал на него с печальным интересом. Как перерождаются люди! Давно ли Минский писал стихи, полные гражданского протеста, не сходившие с уст студенческой молодежи, а нынче готов умиляться лицемерной английской бюрократической машине. Помолчав, он сказал:

— Я ведь рассказал про забытого спикера, чтобы было понятно, как и в законы свято чтут в парламенте. А когда дело доходит до увеличения расходов бюджета на нужды бедноты — на школьное строительство или, к примеру, богадельни, то палата пэров проваливает билль или затягивает решение вопросов на десятилетия, и роль спикера сводится в этих случаях к нулю.

Времени на дальнейший осмотр не оставалось. Минские заспешили домой переодеваться. У Степняка такой надобности не было, так же как и второго костюма.

Завтрак в ресторанчике на Флит-стрит, кажется, удался.

Говорили все сразу, и все — о разном.

— Надо иметь исторический такт!

— Прямолинейная принципиальность холодна. Даже мертвенна. Теплота жизни только в компромиссе...

— Однако люди умели умирать за идею?

— Англичане обладают чудодейственным свойством превращать любое вино в воду...

Шум за столом, разноголосица напоминали Степняку сборища юных лет. Только возраст у собравшихся другой, и сервировка другая, и вина... А запал молодой, и, кажется, все довольны. Все молодо. Даже степенный Чайковский, по имени которого был назван питерский кружок, хохотал, прислушиваясь к остротам Шоу.

Степняк сидел с торца стола, по правую руку — Оскар Уайльд, слева — Фанни. Помалкивал, наблюдал исподлобья, слушал, стараясь оставаться в тени. «Магнит», по словам Кропоткина, «возбудитель исповедальных признаний», как когда-то дразнил его Клеменц, он не хотел и не умел быть душой общества. Но почему-то всегда оставался его центром. И сейчас он поймал взгляд Зинаиды Венгеровой, призывавший его оценить шутку Уайльда о

безалкогольности англичан, а сам Уайльд склонился к нему и доверительно сообщил:

— Порок — элемент прогресса. К сожалению, это редко кто понимает.— Он был уверен, что он-то, Степняк, поймет его с полуслова.

Обсуждать парадоксы не было нужды. Собеседнику важно совсем не его мнение, а лишь его внимание.

Хлопали пробки, костлявый официант со скулами, похожими на ключицы, с суровой важностью водружал на стол индейку в кружевных манжетах. Он был заметно шокирован шумом за столом и нецеремонным весельем гостей.

Кажется, больше всех довольны оживлением отъезжающие — будет что рассказать в Петербурге. Зинаида Афанасьевна в белом платье — настоящая муха в сметане — сияла. Даже стеклышки пенсне поблескивали задорно. Элеонора Маркс-Эвелинг задалась непосильной задачей расшевелить отяжелевшего Чайковского. Ее четырехугольная шляпка на манер конфедератки — дань симпатии полякам — сбилась несколько набок. Она кричала ему через стол:

— Вы знаете, что сделал сатана? Он выдумал грибы. Чтобы люди смотрели в лесу не на небо, а себе под ноги.

— Вы забыли о боге, леди,— нашелся Николай Васильевич.— С какой же целью бог выдумал цветы? — И он протянул Элеоноре розу из вазочки.

Спокойнее всех, против обыкновения, держался Шоу. Может, не решался состязаться с Уайльдом? «Молода ще дытына», — подумал Степняк словами тетушки Федора Ивановича Шпоньки и тут же услышал голос огненно-рыжего ирландца:

— Социализм? Мне кажется, что он может существовать только в стране, где дороги обсажены апельсинами и их никто не обрывает.

— А зачем они тогда? — с деланным простодушием удивился Волховский и добавил: — Люблю либералов. Медленно поспедают.

Уайльд что-то рассказывал Фанни, потом повернулся к Степняку и сообщил:

— В наш век нужны только ненужные вещи.

— Это про тебя, — шепнула Фанни.

Что она хотела сказать? Что он любит покупать и дарить всякие безделушки? Или что все, что он делает, ненужно и бессмысленно?

Он немного помрачнел, но его тут же развеселил Шоу, объявивший Минскому:

— Когда со мной соглашаются, я чувствую, что неправ.

Минский опешил от такого афронта. Поднятый кверху указательный палец вяло опустился и поник, но, пожалуй, никто, кроме Степняка, не обратил внимания на эту маленькую сценку.

Почти всех, кто сидел за столом, он видел не в первый раз, со многими его связывала давняя дружба. Чайковский был основателем питерского кружка. Потом его занесло к сектантам, духоборам, потом — к богоискателям, и, как водится, был судим и потом эмигрировал. Леонид Шишко — товарищ по артиллерийскому училищу, тоже бывший чайковец, бежал из Сибири. Волховский, самый ближайший друг, хлебнул горя больше других. Шоу и Уайльд хоть и не близкие, но давние знакомые и еще человек пять неизвестных, незнакомых даже в лицо — наверно, английские журналисты. Собраны они все вместе, чтобы ответить гостеприимством на гостеприимство, проявленное лондонцами.

Выпито было много, и Минский уже оправившийся от парадокса Шоу, говорил теперь стоя:

— ...На этот счет существуют разные мнения. Чехов, например, сказал: «Какие они декаденты, они здоровен-



нейшие мужики. Их бы в арестантские роты отдать». Но это шутка, конечно. По сути, волна новой поэзии отражает жизнь и... ее разочарования. Если углубляться в гущу жизни бесполезно, надо углубляться в себя...

— На какую прикажете глубину? — ерничал, все больше хмелея, Волховский.

— Полезно получается? — спросил Степняк.

— Первый вопрос я отметаю, — с академическим педантизмом сказал Минский, — а что касается пользы, то тут начинается извечный вопрос: что раньше — яйцо или курица? Содержание рождает форму или форма — содержание? Мне кажется, вернее последнее...

Уайльд повернулся к Степняку:

— Как приятно встретить на Флит-стрит единомышленника из снежной России. Все равно что белого медведя в Сицилии.

Степняка взбесило это инфантильное высокомерие, но ответил он обычным мягким тоном:

— Я вас понимаю. У меня было такое же чувство, когда я встретил в России Артура Бенни. Единственного англичанина, принимавшего участие в русском революционном движении.

Уайльд, по-видимому, понял свою бестактность, промолчал. Лицо его показалось Степняку грустным и беспомощным.

В соседнем зале заиграл маленький оркестрик, но он не заглушил Минского. Тот продолжал витийствовать:

— ...Общая тоска облаком окутала русскую литературу. Юная Зинаида Гиппиус признается в своем полном бессилии: «Не ведаю, восстать иль покориться, нет сил ни умереть, ни жить, мне близок бог, но не могу молиться, хочу любви, но не могу любить». Ей вторит Мережковский: «Как из гроба, веет с высоты мне в лицо холодное молчанье беспредельной мертвой пустоты». — Он процитировал эти строчки, отбивая ритм ножом. — И я, греш-

ный человек, не смог не отдаться этому общему течению. Каюсь. Есть и у меня такие строчки: «Для тонко-эстетической натуры самоубийство только — вид купюры». Но то, что мы теряем в гражданственности, мы обретаем в форме. Теперь, после прозы Чехова, уже нельзя писать такие фразы: «Под неуклюжей, грубоватой внешностью Федота билось очень нежное сердце». Нельзя-с. Засмеют-с. И бросят книжку. Даже в переводах. Даже диккенсовские сентиментальные страницы надо сокращать...

— Кощунственное словоизвержение, — пробормотал Шишко, перегнувшись к Степняку.

— Сантиментов нельзя, а словоерсы можно? Нельзя-с. Засмеют-с, — громко сказал Волховский.

Русские засмеялись. А Зинаида Афанасьевна, смешавшись, стала объяснять англичанам, что Волховский вспомнил забавную идиому, непереводимую, но очень смешную.

Подавали десерт, завтрак приближался к концу, последние парадоксы Шоу и Уайльда, последние тосты... И опять из уст Шоу, как и не раз, Степняк слышал, что он самый жизнерадостный, самый солнечный баловень судьбы... Друзья поддакивали — счастливый Кит... И снова его одолевали чувства противоречивые, — приятно, что он не вызывает жалости, как многие изгнанники, и грустно оттого, что, в сущности, никто его не понимает.

На улицу вышли все вместе и сразу разбежались, разъехались. Он попросил Волховского проводить Фанни, сказал, что хочет побродить по городу.

Было еще светло и солнечно. Прохожие сновали с видом озабоченным, деловитым. Флит-стрит — улица издательств, газетных и журнальных редакций, репортеры спешат, стараясь опередить время.

Торопливая толпа мешала думать. Он сел в первый попавшийся омнибус и решил ехать до конечной остановки — куда судьба занесет.

Не хотелось сознаваться, что этот шумный завтрак — речи, остроты — совсем не развеселил его. И всего обиднее — монологи Минского. Дело даже не в том, что этот, еще совсем недавно захваченный гражданским пафосом поэт, почти издевался теперь над гражданственностью, цитировал собственные фельетонные строчки. Царапнула больно фраза, что после Чехова нельзя писать как прежде. Еще в ресторане он пытался спорить про себя. А после Толстого? А после Тургенева? Но тут же понимал всю несостоятельность своих возражений. Нельзя писать, то есть невозможно писать, как Толстой, или Тургенев, или Шекспир, или Пушкин. Тут мера таланта, а не печать времени. Пушкин не мог писать, как Державин. И не был бы Пушкин, если бы писал так. Сын века. Смешно сравнивать себя с великими и даже с Чеховым. А как помотришь на себя...

«Карьеру нигилиста» писал для англичан. Вольно или невольно принаравливался к их пониманию, даже к их беллетристическим канонам. Ох, не то чтобы под Диккенса, где уж! Скорее, под Мередита. А доведись Чехову владеть таким жизненным материалом, очутиться, как он, в круговороте революционных кружков...

Омнибус качнуло, видно, кучер натянул поводья, взял лошадей на себя. Он глянул в окно. Дорогу пересекал черно-желтый, блестящий лаковой поверхностью, и неуклюжий и стремительный новомодный экипаж — автомобиль. Говорят, их всего восемь или десять в Лондоне, но не пройдет и пяти лет, как они вытеснят и кэбы, и омнибусы с лондонских мостовых. Это невозможно представить. Но легко вообразить, как жалко будут выглядеть старомодные экипажи рядом с этими нуворишски сверкающими сухопутными кораблями!

Вот так и ты. Ты тоже жалок. Живешь воспоминаниями, мемуаристикой по сути, и забываешь, что все это было, было и не повторится.

Да и не в том дело, что было. А какими глазами видеть это былое. Андрей Кожухов смотрит на Женевское озеро и восхищается нерукотворным совершенством природы — революционер накануне возвращения на родину, в гущу нелегальщины, смертельной опасности, угрозы гибели! Риторика. Все риторика! А надо бы... Надо бы вспомнить одно из писем Ольги Любатович, жены Коли Морозова. Еще в ранней молодости она судилась по «процессу 50-ти». Бежала из ссылки, эмигрировала в Швейцарию, снова вернулась на родину, чтобы устроить побег из тюрьмы мужу. И вот эта молодая женщина приходит к отцу.

Когда-то была усадьба на Сетуни, большой барский дом, добрая, веселая мать, маленькие братья и сестры, отец, крупный промышленник, щедрый, смелый, уверенный в себе. Горелки в старом саду, гости в будни и праздники. Из этого дома она ушла в женские фабричные казармы «Трехгорки», а оттуда — в ссылку. Мать умерла с горя. Отец разорился. Прошло десять лет. Тогда ей было двадцать. И вот, беспаспортная, бесприютная, она пришла к отцу в ветхую дачку в Петровском парке. О нет, не жить! Разве можно ей, беглой, затравленной, жить под отчим кровом?

На веранде обедали. Дети в грязных рубашонках, мятая скатерть в пятнах, обрюзгший седой отец. Он женился на гувернантке. И теперь эта скучная, бездарная женщина шарахнулась от нее, как от зачумленной, вышла из комнаты. А дети смотрели на старшую сестру с надеждой и тревогой — может, теперь что-нибудь изменится? Все будет по-прежнему, как при матери, раз сестра вернулась?

Потом они с отцом бродили по парку, не разбирая дороги, прямо по высокой зеленой траве, между редкими старыми липами. Отец каялся: «Не дворянское это дело заниматься какими-то спекуляциями, махинациями, век-

селями...» Он банкрот. Просил прощения за то, что пропали и те десять тысяч, какие завещала Ольге бабушка. И она утешала его.

А ведь для нее это было крушение надежд. В Женеве, в чужой семье, осталась ее шестимесячная девочка, и нужно было платить... И нужны деньги, чтобы устроить побег мужу, осужденному на бессрочную каторгу.

Она утешала отца. Он ни словом не упрекнул ее за безумно, бесплодно растраченную молодость. Так и шли они по Петровскому парку молча. Две разбитые жизни, непохожие, чуждые по стремлениям и мечтам. Но у нее была цель и надежда. Он был пуст и жалок, сморщенный, съезжившийся, как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Бездомная, нищая, больная, она была счастливее его.

Вот это и надо писать. Пора идти на глубину. «Карьера нигилиста», «Домик на Волге» — все не то, не то. Спешка, штампы, риторика, все н а з в а н о, а что п о к а з а н о? Как это сказал сегодня Минский: «Под неуклюжей, грубоватой внешностью Федота билось очень нежное сердце». Не в бровь, а в глаз. Знать бы, кого он имел в виду.

Омнибус остановился. Кто-то рядом сказал:

— Станция Степни. Конечная.

Так вот куда его занесло! Ист-Энд — район самой отчаянной нищеты.

Он вышел из омнибуса и сразу погрузился в облако зловония. Лачуги, хибары, бесконечно унылые казармы так закоптили в дыму, что можно только угадывать под слоем черноты, что они сложены из кирпича. Надо всем плотное неистребимое дыхание выгребных ям, гниющих овощей. Нет, нищеты, подобной лондонской, он не видал ни в одной стране! Ни в нищей Италии, ни в азиатской России. Не в парламент, сюда надо было притащить

Минских и послушать, что бы они сказали о благородной роли спикера и правительства, где сила подчинена разуму.

Две зловещие старухи и благообразный старик в рваном плисовом костюме копались в свалке грязными костлявыми руками, откладывали в мешки железные коробки от крекера, прогорелые кастрюли, заржавленные вилки... Прошли мимо три пьяные женщины — скопище тряпья и грязи. Одна из них кокетливо, как, наверно, ей казалось, передернула плечами и крикнула ему:

— Эй, франт! Поставь стаканчик джина. Мне холодно, — и, не останавливаясь, прошла мимо.

Стаканчик джина — повсеместная формула. Так говорят и красотки в страусовых перьях с Пикадилли. Но те бесцеремонно хватают за рукав и тащат в ближайший бар, а эта даже не остановилась. Полная безнадежность. Стаканчик джина — только ритуал, бездумное бормотанье, вроде предобеденной молитвы. Смертельная инерция, за которой распад.

Около помойной ямы копошились ребятишки. Они выскивали еще не сгнившие листья капусты и салата. Тут же их ели, хвастаясь друг перед другом своими находками. Неужели они выживут?

Он пошел быстрее, не понимая, зачем пришел сюда, и зная, что он не уйдет отсюда, пока... А что — пока? Разве можно что-нибудь изменить? Но по крайней мере — знать и помнить. Уклониться от этого зрелища, щадя себя, — подлость, недостойная человека.

## ЗАПЛУТАВШИЙСЯ

Шифровальщик подарил Гуденко гитару. В безысходно тоскливые сумерки, когда соседи по пансионату еще не возвращались с работы, а суета хлопотливой горничной, громыхавшей в коридоре щетками и ведрами, затиха-

ла, он сел к окну и начал мурлыкать под простенький аккомпанемент одну и ту же песенку:

*У тебя есть алмазы и жемчуг,  
Все, что люди привыкли искать,  
А еще есть прелестные глазки,  
Милый друг, чего ж больше желать?*

Это была дань элегическим воспоминаниям о Васильевском острове, о тех временах, когда чувствительная квартирная хозяйка Минхен протянула ему руку, вытащила со дна и наступила кратковременная пора семейного счастья. Поэтическая дымка, которой вдруг окутались эти воспоминания, была вызвана недавно полученным письмом из Америки. Писала тетка. По ее словам, Минхен было слишком тяжело сообщать, что она связала свою судьбу с прекрасным, добропорядочным человеком, а также нотариально присоединила свою мастерскую бандажных изделий к его галантерейной лавке, благо они находились по соседству, «дверь в дверь». Минхен надеется, что он тоже найдет свое счастье в Старом Свете, и просит считать их узы расторгнутыми. Одновременно тетка сообщала, что забытый им бархатный жилет цвета сливы, три пары носков и связанный его женой набрюшник из козьей шерсти, о котором она позаботилась, зная, что в Лондоне отапливаются лишь каминами, высылает заказной бандеролью. От себя тетка добавляла, что такое сокровище, как Минхен, он вряд ли обретет второй раз в жизни, но надо уповать на волю божью и смиряться с любыми ударами судьбы.

Из-под ног уходила почва. Жену он не любил и не вспоминал о ней, но знал, ничуть не задумываясь об этом, что когда его судьба окончательно сломается, на свете есть уголок, где он сможет приклонить голову. Теперь все было кончено. Общая вывеска над лавкой и мастерской, деловой компаньон-итальянец. О нем тетка сообщала не без удовольствия.

Погасив первый взрыв негодования, он с меланхолическим умилением погружался в картины прошлого.

Сгущались сумерки. Одинокий фонарь под окном зажегся и, как всегда, подмигивал Гуденке одним непослушным язычком пламени. В этом была какая-то фамильярность, может быть насмешка. Она задевала Гуденку, и он упрямо и независимо продолжал петь:

*Я на эти прекрасные глазки  
Выслал целую стройную рать  
Звучных песен, лобзаний и ласки,  
Милый друг, чего ж больше желать?*

А за всем этим — тревога. Курочкин исчез. Не показывается в типографии, прислал записку, что болен. И трудно было понять, затянувшийся ли это запой или в самом деле серьезная болезнь.

Меж тем Рачковский получил через посольство атташе бумагу с водяными знаками, торопил и уже начинал выказывать признаки недоверия ко всей затее. Надо было разыскивать наборщика, вдохновлять этого унылого олуха, сочинять сказки про мировой пожар революции, но письмо из Нью-Йорка ударило обухом по голове, лишило энергии. Что теперь ждать от Рачковского? Пока что он жил на проценты от сообщения о побеге Войнича. Но не каждый день в Лондоне появляются такие визитеры.

Войнич единственный в эмигрантской колонии вызывал раздражение и даже злобу. Его пылкость казалась фразерством, польский акцент — пренебрежительностью именно к нему, к Гуденке. Войнича сразу же пристроили к работе в Вольном фонде, и теперь с транспортировкой литературы приходилось держать ухо востро. Того и гляди, со своей бешеной энергией попытается, куда уходит часть тиража. Именно его надо опасаться в затее с фальшивыми ассигнованиями. Такой проворный, что, пожалуй, опередит Скотланд-Ярд. Но самое обидное, оскорбительное, как оплеуха, было то, что с ним не расставалась



Лили Буль. Теперь уж и она, кажется, стала постоянным сотрудником Фонда, они вместе уходили из типографии, вместе появлялись у Степняка и Волховского, и надо было видеть преданный взгляд, каким она смотрела на этого проходимца! На какую дешевку ловятся женщины! Запомнил, видите ли, ее лицо, глядя из окна каземата.

Нет ничего скучнее воскресных дней в Соединенном Королевстве. Все закрыто — рестораны, лавки, музеи, театры, балаганы. Все, кроме церквей. Лишь некоторые кабаки, рассчитанные на иностранцев, открываются после окончания обедни, да и в тех подают только холодные закуски. Какой-то писатель, кажется француз, сказал, что англичане по воскресеньям уничтожают седьмую долю человеческого счастья. Так что же, черт возьми, так и позволять себя обкрадывать?

Он накинул крылатку, схватил шляпу и выбежал из дома.

На улице было пустынно. Только на углу, у входа в Гайд-парк, какой-то добровольный проповедник, с непокрытой головой и блестящей лысиной, с толстой Библией в руках, верно из сектантов, громко ораторствовал. Народу вокруг было не густо. До Гуденки донесся зычный голос:

— Оглянитесь вокруг! И вы удивитесь лжи и лицемерию тех, кто забыл лик божий, но поминает имя бога всуе.

— Сам и оглядывайся, — пробурчал Гуденко и незамедлительно свернул за угол в ближайший трактир.

Там было шумно, хотя по случаю воскресенья механический органчик безмолвствовал. Компания мексиканцев в широкополых соломенных шляпах, нелепо выглядевших в этот серый мартовский вечер, галдела за большим столом. Гуденке показалось, тосты они произносили хором и хлопали в ладоши в такт каждому слову. Трое французов, положив друг другу руки на плечи, выпля-

сывали нечто напоминающее одновременно и матлот и канкан, напевая при этом какую-то эпиталамную шансонетку. В ней предлагалось некоей Женевьеве сбросить флердоранж и жакетку и даже белую юбчонку. Он слушал со вниманием, запивая каждый куплет пивом. Потом эта музыка надоела, и он взялся за газету.

Внимание его остановил заголовок: «Всемирный рекорд бильярдной игры». Сообщалось, что некий Гуго Кернау сделал за четыре часа 428 карамблей. Сначала пришел в восторг, потом рассудил, что это невероятно.

Далее в восторженных тонах говорилось о том, что Ипполит Тэн напечатал во французской газете «Фигаро» венок сонетов, посвященный трем его кошкам — Блохе, Чернушке и Пуховке, и подписался под ним: «Ваш друг, хозяин и слуга».

Это возмутило. Писатель с мировым именем — кошачий слуга! Он заказал еще пинту пива и медленно пил, все больше закипая негодованием на Тэна, мексиканцев, англичан и более всего — на тетку Минхен. Слишком хорошо живут. Сыто, безмятежно. Занимаются пустяками. Ничем их не прошибешь. Обыватели. Буржуа. Все они одинаковые. И Минхен со своим галантерейщиком, и Ипполит Тэн со своими кошками, и Гуго Кернау с карамблями, все, все!

Он сделал последний глоток и, не задумываясь, сами ноги понесли, отправился к Степняку. Впервые он не искал предлога для посещения. Он шел к самому чуткому, самому терпеливому человеку из всех, кого знал в этом городе, даже не вспомнив о страшном предательстве, какое он ему готовит.

Степняк сам открыл ему дверь. Не здороваясь, не снимая шляпы, Гуденко выпалил, уставившись на него в упор:

— Меня покинула жена.

Степняк молча провел его в столовую, спросил:

— Что будем пить, чай или... Но, мне кажется, вы уже?..

И оттого, что он так доверительно говорил, не называя вещи своими именами, не договаривая, как с близким человеком, какой всегда поймет тебя с полуслова, Гуденко почувствовал прилив благодарности, даже нежности, желание отплатить таким же доверием.

— Я пришел к вам потому, что мне больше некому сказать об этом.

— Понимаю. Одиночество очень страшно. Из всех бед, какие мне угрожали в жизни, больше всего я боялся одиночки.— Он помолчал и добавил: — Больше виселицы.

Впервые Гуденко услышал от Степняка, что над ним нависала такая страшная угроза. Но продолжать этот разговор, воспользоваться минутой откровенности что-то мешало. К тому же он слишком искренне вошел в роль покинутого, оскорбленного. Спросил:

— Что бы вы сделали на моем месте?

Степняк пожал плечами, но улыбнулся мягко:

— Я слишком мало знаю обстоятельства вашей жизни, чтобы решиться давать советы.

И хотя в этой фразе чувствовался обычный холодок и желание сохранить дистанцию, Гуденко уже не мог отказаться от неудержимого желания излить душу.

В доме никого не было. И пока Степняк носил из кухни в столовую чайники и чашки, отыскивал зачерствевший кекс, сахарницу, Гуденко следовал за ним по пятам и, захлебываясь, вываливал скудное богатство впечатлений, накопившихся в его жизни. Все, что составляло счастье его детства и озлобление отрочества. Все, что навсегда сковало его волю и силы.

Все было в его рассказе: и шестиколонный барский дом на холме над прудом, и запущенный парк с мраморными нимфами, гувернер-француз, почерневшие портреты литовских и украинских предков в огромной темно-

ватой гостиной, оркестр скрипачей — он сохранился еще от крепостных времен, и маленькая нянька-плясунья со сказочным именем Вириная, и ликующий хор «Христос воскрес» в деревянной северной церкви. Отец, широкая натура, до последнего дня давал обеды на двести человек. Он никак не мог взять в толк, что времена другие и он уже разорен. А когда понял — умер.

Устав от воспоминаний, он плюхнулся в кресло, широко расставив ноги, и Степняку, пожалуй впервые, стало жалко этого заплутавшегося человека. Он сам никогда не вспоминал своего детства. Не говорил о нем. Даже друзьям, даже Фанни. Для всех его судьба начиналась с артиллерийского училища. А все, что до этого...

Гуденко задыхался, с жадностью пил чай чашку за чашкой.

— Успокойтесь, — сказал Степняк, — ведь все это давнее, как я понимаю.

Гуденко с минуту помолчал, будто опешил. Все, что он рассказывал до сих пор, было правдой, и его вдохновляло сочувственное, сострадающее выражение лица Степняка. Но дальше говорить правду было постыдно и просто невыносимо. Дальше надо дать волю воображению.

— Вы говорите — давнее, — повторил он, — но это давнее сломало мою судьбу. Вылетел из полка. Неделями не обедал. Пятачка не было на зубной порошок. Но, как говорят французы, дьявол помогает своим молодым друзьям. Вдова крупного немецкого коммерсанта влюбилась в меня. Свадьба у Николы Морского, я всегда любил эту церковь, подарки немецкой родни, шампанское рекой...

Он передохнул, чтобы собраться с мыслями, постараться сколько-нибудь правдоподобно развить сюжет. Спросил у Степняка:

— Я вас не утомил своим рассказом?

— Нет, продолжайте. Вам это необходимо, а для меня даже слова «Никола Морской» — музыка...

— Так вот, медовый месяц в уютном гнездышке на Литейном. Но кто такой я? Альфонс? Я не из тех офицеров, что женятся на купчихах и проматывают чужое состояние. Не персонаж из пьес Островского. Я — дворянин из рода Гедиминовичей из псковского имения Барыбино!

— Ах, зачем вы так об этом убиваетесь? — вдруг совсем по-бабьи подперев щеку рукой, сказал Степняк.

— Это мое кредо, — заносчиво ответил Гуденко. И долго плел неправдоподобную историю об очаровательной, но ревливой жене, о месте в посольстве в Вашингтоне и о множестве перипетий своей сказочной жизни в Америке. — Вы презираете меня? — вдруг перебил он сам себя.

— Бог с вами! Все, что вы рассказываете, такое русское. Как будто читаешь роман в «Отечественных записках» эдак годов шестидесятых. Роман, написанный женщиной где-нибудь в Елабуге или Ельце. Может, вы и приукрасили что-то, но все равно, это такое русское...

Он говорил не поднимая головы, держа стакан с чаем обеими руками. Он был смущен. Чем же? Испытывал неловкость, как всякий совестливый человек, когда догадывается, что собеседник фальшивит, завирается, и в то же время не хочет показать, что ложь разгадана. Но и Гуденке было не по себе. Совестно, как всегда, когда совершаешь бессмысленный обман. И, не глядя в глаза собеседнику, он тихо повторил:

— Так что же вы сделали бы на моем месте?

— Уехал бы в Россию. Я бы и на своем месте уехал, если бы мог.

— Господь с вами! В эту нелегальщину? Да вас бы там в два счета... — он осекся и с пафосом продолжал: — Здесь вас все уважают. Все передовые люди Англии и

Америки превозносят. Кругом друзья. Соотечественники, иностранцы, общественные деятели, знаменитые писатели! Да чем же вам плохо? Ну, денег нет, так там вовсе нищенствовать! Покуда не переведут на казенный кошт.

Он говорил с полной искренностью, не отдавая себе отчета, даже на минуту не вспоминая, что сам готовит Степняку отъезд на родину не только что на казенный счет, а прямым трактом на перекладину. Как все слабые эгоистические натуры, он считал, что все, что делается для его пользы, хорошо и справедливо, даже если эта польза будет оплачена чужим страданием и самой гибелью. И то, что, совершая свое предательство, он не испытывал к Степняку ни ненависти, ни даже неприязни, еще более помогало отметать всякую мысль о предстоящей провокации.

Похоже было, что Гуденко насмешил хозяина. Он уже не смотрел исподлобья, поднял голову, улыбался светло и весело.

— Что ж, откровенность за откровенность. Пожалуй, я вам скажу то, чего не говорю ни старым, ни новым друзьям. На одних не хочется наводить хмару, у других — вызывать жалость. Я живу и действую тут в четверть силы. Все говорят — такой живой, такой подвижный, деятельный, веселый, жизнерадостный, а я, как майский жук, перевернулся на спину и очень деятельно сучу лапками, но пребываю в неизбывной тоске.

— Вы очень весело говорите о своей неизбывной тоске, — с завистью заметил Гуденко.

— Многолетняя привычка казаться веселым.

— И про майского жука вы напрасно. Если подсчитать, что вы сделали за границей, ваши книги, ваши выступления, наконец «Свободная Россия» и Вольный фонд...

Степняк нахмурился.

— Вся беда, что вы не можете подсчитать, что бы я сделал в России.

Гуденко встал из-за стола, подошел к окну. Его раздражала бессмысленная уверенность Степняка, так и хотелось вlepить: «Качался бы ты там, батюшка, на перекладине». Но он несколько смягчил грубость и заметил:

— А что тут подсчитывать? Сколько раз вынесли бы из камеры парашу? Так это цифра астрономическая. Не подсчитаешь.

— Зато совесть была бы чиста.

— Чем же она у вас тут-то испоганилась?

— Да тем, что мои товарищи гниют в сибирской каторге, как Стефанович, Дейч, Ольга Любатович, гибнут от чахотки, как Веймар, Ольга Натансон, сходят с ума еще в предварилке, как Шура Малиновская, и самое страшное, без надежды на настоящую жизнь, ждут своей смерти в каменных мешках крепостей, как Коля Морозов, Герман Лопатин, Обошешев, Фигнер...

— Вы сказали Обошешев? — странно встрепенулся Гуденко.

— Сказал. А что?

— Так, ничего. Знакомая фамилия. А что он совершил?

— В том-то и ужас, что кара несоразмерна проступку. Он изготовлял паспорта вместе с Шурой Малиновской для отъезжающих за границу. За это дают несколько лет каторги, но бессрочная — произвол. Почему такая кара?

Гуденко как-то неуместно улыбнулся:

— Действительно непонятно. Так-таки и не знаете?

— Откуда же?

— Действительно неоткуда. Но я все-таки не пойму, мучение вашей жизни составляет то, что вы не можете

занять помещение рядом с вашими невинно пострадавшими за вас товарищами? — настойчиво допрашивал Гуденко.

— Из-за меня еще, к счастью, никто не пострадал. Адриан Михайлов был посажен по другому делу. Кажется, был измучен допросами, назвал мое имя, но это не к делу. Если бы я услышал, что за меня кто-то пострадал, не знаю, как бы я смог это выдержать. А вина перед теми, кто там мучается сейчас, невольная. Вина неравенства. Меня понимают те, кто сами это пережили. Вера Засулич, может, и Жорж Плеханов.

Он вдруг встал из-за стола, грубо сказал:

— Пойдемте наверх.

Гуденко затрепетал. Неужели он как-то догадался, что в письменном столе был произведен обыск? Быть не может, прошло столько времени. Но поднялся с места, твердо решив в крайнем случае от всего отпираться.

Черная Паранька, стуча когтями, побежала впереди них по лестнице.

Степняк, не зажигая света, подвел Гуденко к окну кабинета. Там неярко сияла полная одутловатая луна, освещающая серебристым светом островерхие крыши, вывеску лавчонки на противоположной стороне улицы.

Степняк показал на нее:

— Видите вывеску на зеленой лавке? Что она вам напоминает?

Гуденко посмотрел на него, потом на вывеску, удивленно пожал плечами:

— Вывеску на зеленой лавке. Таковую же, как в Рязани, в Борисоглебске, в Липецке. Разницы большой не вижу.

— Вот, вот! Какая там разница — капуста, морковь, свекла — полное сходство. Когда мне становится очень тоскливо, я смотрю на нее и вижу Лебедянь, Касимов, какой-нибудь Гороховец, вижу мостовую в розовых и



серых булыжниках, травку, пробивающуюся между камнями, слобожанку с коромыслом на плече, и я на минуту счастлив. В нашем кругу забыто слово патриотизм, а ведь, по сути, это слово вмещает в себя только два понятия — землю и народ. Не какое-то там — самодержавие, православие и народность, не катковские бредни. Земля и народ, — повторил он, заметно волнуясь.

— Каткова вы — ни во что? Катков — патриот. Человек большого ума и образованности. Не стоило бы отмахиваться!

— Милый Владимир Семенович! Ну что мы с вами будем толковать о Каткове? Во-первых, позавчерашний снег, а во-вторых, извините меня, у вас такая каша в голове, такая каша... Перевоспитывать вас не берусь, и споры наши бесполезные. Вы просили у меня совета. Одно могу сказать — поезжайте в Россию. Забудьте всю эту вашу аристократию, гедиминовичей, рюриковичей, безродных нуворишей, присосавшихся к власти... Поезжайте в Россию и делайте там любое дело во всю силу понимания пользы народа и родины. Вы человек искренний, честный. Поезжайте. Это единственное, что бы я сделал на вашем месте.

Он подошел к столу и зажег лампу. Гуденко быстро повернулся к окну. Честный, искренний... Стыдно в глаза смотреть. Искренний... Честный... Не понимает в простоте своей, что его уже ударили по правой щеке, подставляет левую. Только поддайся этому сочувствию, и расколется недолго. Надо уходить от этих исповедей. Он поглядел на Параньку, спросил:

— Дворнягу завели? Тут много породистых собак.

— Тоже напоминает Россию. Все эти ньюфаундленды, сеттеры-гордоны, таксы слишком иностранцы.

Искоса посмотрел на письменный стол, где лежала куча книг и наполовину исписанный беглым неразборчивым почерком лист бумаги. Гуденке только сейчас при-

шло в голову, что он оторвал человека от работы, что надо бы попроситься. Но мучительно не хотелось уходить. Никто больше в этом городе не скажет доброго слова, никто не сумеет так приподнять его в собственных глазах. Честный. Искренний. Сумел же добраться до глубины души, растревожить сердце.

Разговор, однако, был полностью исчерпан. Он как-то глупо спросил:

— А где же Фанни Марковна? Развлекается?

И, не слушая ответа, стал прощаться.

Дребезжащий вагон одноколейки довез его до Трафальгар-сквера. Он вышел, позабыв, в какую сторону ему надо идти. Остановился перед конным монументом адмирала Нельсона. Бронзовые львы на пьедестале смотрели недоброжелательно и брюзгливо. Черные, еще голые кустарникигнулись на ветру и тянули к нему свои колючие ветки. Одиночество было непереносимо. Возвращаться в свою комнату — невыносимо.

Он пересек пустынный сквер и, увидев желтые запотевшие окна незнакомого бара, не раздумывая, зашел и сел за столик прямо у дверей.

Скрипели двери, впуская запоздалых забулдыг, звякала посуда в дрожащих руках мальчика-официанта, кто-то ссорился в дальнем углу, какая-то женщина в тальме с черным стеклярусом пела высоким пронзительным голосом песню, похожую на псалом. Он слышал и не слышал, видел и не видел все, что происходило в зале. Пузатая бутылка с элем постепенно пустела. Он тупо следил, как жидкость спускалась все ниже и ниже — до края этикетки, до половины, и, когда дошла до дна, щелчком по стакану подозвал мальчика-официанта, пробормотал почему-то по-французски:

— Répétez! <sup>1</sup> — и уронил голову на стол.

---

<sup>1</sup> Повторить! (франц.)

## СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Степняк молчал. С той минуты, как на промежуточной станции у судостроительных верфей в его купе ввалилась компания говоривших по-русски молодых инженеров в форменных фуражках и тужурках, скучная поездка приобрела неожиданный интерес. Из разговора он понял, что инженеры возвращались в Лондон, чтобы ночью пересечь на пароход и отбыть на родину.

Слегка прикрывшись развернутой газетой, он наблюдал за новыми пассажирами, размышляя, можно ли было бы догадаться, что они русские, если бы не родная речь, не форменные тужурки. Конечно, можно. Не было в этих юношах опасливой отгороженности от внешнего мира, такой характерной для англичан, ревниво оберегающих даже в мелочах свою независимость, а может, и покой. Ставшую ходячей фразой, что русские ленивы и нелюбопытны, Пушкин обронил, верно, в минуту досады и раздражения. Взять хоть этих молодых людей — лица открытые, взгляд любопытный, манеры доверчиво-непринужденные. Все они примерно одного возраста. Только бородатый, в пенсне на шнурочке, как будто постарше. Его и величают по имени-отчеству — Егор Ильич. Самый молоденький, внезапно вспыхивающий румянцем — Вася-Василек. В нем живость характера все время борется с застенчивостью, он просто прелестен в своей неподдельной искренности. Самый красивый — Олег, с яркими голубыми глазами, щеголеватый, самоуверенный. В России студенты назвали бы его белоподкладочником. Двое других, довольно бесцветных, странно похожих друг на друга именно своей серостью, больше помалкивали.

Он тут же мысленно осудил себя. Как часто вот такие незаметные оказываются самыми интересными. Впрочем, сейчас интересно все. И прежде всего их разговоры, хотя говорили о чем попало. О превосходном пиве в при-

морском трактире, о некоем мистере Смите, который почему-то хотел разговаривать с русскими только по-французски, а произношение у него как у какого-нибудь попика из Чухломы, о том, что стыдно, прожив в Англии несколько месяцев, не увидеть ни одной шекспировской пьесы, в Питере совестно будет людям в глаза смотреть, а англичанам тоже должно быть стыдно, что не догадались повезти их в Стратфорд. И чего тут больше — пренебрежения к иностранцам или отсутствия патриотизма? Егор Ильич, до тех пор почти не принимавший участия в болтовне, вдруг вскипел и стал доказывать, что если кого и можно обвинять в отсутствии патриотизма, то уж, конечно, не англичан. Они так благоговейно относятся к своей истории, так бережно оберегают даже самые нелепые традиции, а вот русские готовы чуть ли не каждые пятьдесят лет начинать свою историю заново.

Мнения разделились. Егора Ильича поддержал Вася-Василек. Густо покраснев, он выдвинул в виде неопровержимого аргумента, что неуважение к родине чувствуется на Руси в любой мелочи.

— Все гостиницы и рестораны у нас носят иностранные названия: «Мадрид» и «Лувр», «Ливорно», «Англетер». Жалкий кабаk на Лиговке и тот называется «Александрия», — негодовал он.

Кто-то возразил, что сам государь Александр Третий — большой поклонник русского стиля в архитектуре.

— Псевдорусского, — процедил сквозь зубы бородач.

За разговором вынули из саквояжа палку кровяной колбасы и с непринужденностью чисто студенческой стали закусывать, сокрушаясь, что не захватили спиртного. Учтиво предложили попутчику присоединиться. Степняк отказался. Ему нравилось сидеть в этом купе, как в театре, молчаливым зрителем, слушать русские слова, русские споры. Пусть молодые люди посчитают его за англичанина.

Судостроителей было шестеро, но в купе поместилось только пять из них. Одно место занял Степняк, и шестой появлялся откуда-то из конца вагона, раздвигал трехстворчатую стеклянную дверь, ронял иронические замечания и удалялся к себе. Крутолобый, с высокими острыми скулами, решительным подбородком, он чем-то напоминал Степняку портреты Белинского и, верно, поэтому вызывал особую симпатию. В других обстоятельствах Сергей Михайлович обязательно предложил бы ему поменяться местами, но сейчас ему доставляло неизъяснимое удовольствие оказаться слушателем этой беспорядочной русской болтовни. Когда еще удастся увидеть сразу столько молодых соотечественников, далеких от литературы, да и, наверно, от политики? Он еще старательнее загородился газетой, уселся поглубже на скамейке.

— Ну как? Покончили с квасным патриотизмом? — спросил стоявший в дверях и добавил: — Выдайте человеку колбасы. Что я у вас, отщепенец?

Егор Ильич щедрой рукой отломил ему кус, но возразил:

— Ты меня не понял или не захотел понять, Иван. Речь шла не о квасном патриотизме, пусть им занимаются наши рептильные газетенки. Мне до этого дела нет. Я говорил о любви к родине, к ее духу, к народу, о котором в наше безвременье даже стесняются говорить. И вот тебе еще одно доказательство, — он вынул из саквояжа книжку, отряхнул ее от хлебных крошек, поднял над головой. — Русский писатель, надо думать, душа и совесть своих мыслящих соотечественников, написал роман о русских революционерах на английском языке!

Степняк закусил губу. Бородач показывал всем «Карьеру нигилиста».

— Я читал эту книгу, — сказал Иван, — по-твоему, ее могли бы издать в России? В издательстве Суворина, например?

— Пусть в подпольной типографии! Пусть хоть полсотни экземпляров! Но на русском языке,— горячился Егор Ильич.

— Это ты слишком размечтался, брат. Подпольные типографии давно разгромлены. Исчезли вместе с последними народовольцами,— вмешался Вася и опять густо покраснел.

— А чего ты так кипятишься, Егор? — спросил, закуривая сигару, Олег.— Что тебе Гекуба?

— А того я горячусь, что мне нравится эта книжка. Я ее товарищам везу, а им — что английский, что санскрит. Выходит, я им вслух буду читать и с листа переводить? Это уж не роман получится, а воскресная школа.

— Да в чем там суть-то, в романе-то? Вы хоть расскажите, а то спорят, спорят...— спросил один из двух помалкивавших инженеров.

— Сюжет очень прост. Молодой революционер, вынужденный пребывать за границей, спасаясь от преследований, томится бездействием, любит на Женевское озеро, ловит вести с родины и все такое прочее. Но вот товарищи вызывают его на родину, на помощь. Арестован очень деятельный член революционной организации — надо спасать, устроить побег. Герой возвращается в Россию, но все усилия его и товарищей оказываются тщетными. И в довершение всех неудач арестовывают еще троих и среди них жену того, которого пытались спасти. Всех приговаривают к смертной казни, и, как говорится, приговор приведен в исполнение. Потрясенный этими событиями, герой решает мстить. Среди товарищей идут споры, кого надо уничтожить — прокурора или губернатора, но герой, кстати сказать добрый и уравновешенный человек, считает, что надо убить главного деспота. Покушение на царя не удастся, и герой погибает. Конечно, в моем пересказе все выглядит очень плоско. Но ведь там все дело в психологии героя, в его внутренней борьбе, в

его перерождении. Этого своими словами не расскажешь...

— Вот и читай и переводи своим друзьям,— сказал стоявший в дверях, тот, кого называли Иваном.— Тебя смущает, что получится воскресная школа? По-моему, в наше время воскресные школы нужны не только малограмотным рабочим, но и гимназистам и студентам, давно откачнувшимся от общественных интересов. Да и стоит ли так сокрушаться, что роман написан по-английски? Наверно, в России уже кое-кто читал его и был увлечен искренностью автора. Конечно, это апология терроризма, но нельзя не поверить, что он досконально знает быт революционного подполья. Помнишь, как здорово описана подготовка к побегу из тюрьмы, переправа через границу? Это не игра воображения, не из пальца высосано. Видно, что описано пережитое. А вот любовь... Это уж слишком старомодно. Нельзя так описывать любовь после Толстого и Чехова.

— Да это же совсем не главное,— возражал Егор Ильич.— И потом, что мы знаем о любви людей, стоящих на пороге казни? Может, потому и старомодно, что так было всегда — во времена инквизиции, у христианских мучеников, во времена...

— Да будет вам, господа! Завели литературные споры, как в гимназическом кружке,— сказал Олег, позевывая.— Мы еще не решили, какой подарок поднести благодетелю нашему мистеру Смигу. Я предлагаю — сигарочницу с инкрустациями.

Сразу заспорили, позабыв о романе, и Степняк, который слушал, прикрывшись газетой, мог, наконец, вздохнуть свободно. Он очень боялся выдать себя.

Поезд шел под гору, набирая скорость. В купе было душновато, он обмахивался газетой с непроницаемым видом, не очень-то понимая, почему его так взволновал разговор судостроителей. Может, потому, что впервые ему пришлось выслушать мнение нелицеприятное от самых

простых и к тому же русских читателей? До сих пор «Карьеру нигилиста» хвалили писатели, журналисты, ученые, профессиональные революционеры. Все они жили в кругу литературных или общественных интересов. Кое-что критиковали и они, но больше хвалили. Отношение к книге было не бескорыстным в том смысле, что каждый восхищался, находя в романе то, чего он не знал, или радовался, воскрешая давнее и пережитое. То, что Степняк услышал сегодня, заставляло задуматься надолго.

Теперь поезд замедлял ход. Подходили к Лондону. Уже остались позади поля и перелески, уютные станционные домики, крытые красной черепицей, крошечные палисадники с кустами вечнозеленого остролистника. На сумеречном светло-сером небе уже нависали черные клубы дыма фабричных строений, похожие на гигантские страусовые перья. Взгрустнулось. Подумалось, что этот вечный траурный убор лондонского неба сродни катафалкам, факельщикам, черным сеткам попон кладбищенских лошадей.

За окном теперь уже тянулись бесконечные закопченные кирпичные заборы, мелькнул тусклый огонек семафора.

Молодые люди высыпали в коридор, так и не решив, что нужно подарить мистеру Смиту. Поезд остановился, а Степняк все еще сидел в странной задумчивости, уронив на пол газету.

Дома — радостное повизгиванье Параньки, кипа газет и писем на столе. Фанни спала. Видно, не ждала его так рано. Он постоял у изножья кровати. Спокойное, счастливое лицо. Младенческая безмятежность. Вот это выражение счастливого покоя бывало у нее и бодрствующей, и больше всего он любил его. Любовь... Что такое любовь? Этот крутолобый судостроитель Иван сказал, что любовь в романе старомодна. Ему возразили: не



это главное. Нельзя сказать, что это оправдание. Что греха таить, в «Карьере нигилиста» он пересказал любовь, а не изобразил ее. Проклятая спешка — пишешь, как будто за тобой собаки гонятся, за икры кусают. А к чему эти самооправдания, самоутешения? Если по совести, тенденция портит дело. Темперамент публициста. Торопись сказать, какие они хорошие, благородные, твои герои. А любовь вся из подробностей, где поэзия мешает с прозой и часто проза оказывается поэтичнее самой поэзии. Хорошо, что Фанни спит. Не надо будить. Если проснется и начнет рассказывать о случайной встрече, вскинется, как тигрица, будет спорить. Все, что он написал и пишет, — хорошо, очень даже замечательно.

Ну так. Покаялся перед самим собой. Должно бы полегчать. Но отчего же он так раздражен, взволнован? Все давно отгорело, роман написан, издан. Получено множество хвалебных, даже восторженных отзывов, а вот кому-то неизвестному, к тому же молодому, не понравилось, как изображена любовь, и ты злишься на него и на себя. Да, на себя, как будто сжульничал, обманул чьи-то ожидания. Неумно. Очень неумно. За стол! За стол без промедления и всяких поблажек!

Он вынул из ящика папку с записями к новому роману, полистал страницы, задержался ненадолго на эпизоде встречи Нового года, где участники тайного общества скрестили кинжалы над чашей с пуншем. Когда-то, еще совсем недавно, этот кусочек нравился ему, радовал своей правдивостью, а сейчас...

— После Толстого и Чехова... После Толстого и Чехова... — бормотал он.

А ведь это не в первый раз. Кажется, и Минский на прощальном завтраке говорил что-то похожее.

Он схватил начало главы, разорвал на четыре части — и в корзину, под стол.

Полегчало. Но взяться за перо сейчас немыслимо. Он вскочил, зашагал по комнате, все убыстряя шаг. Тишина в доме оглушительная, аж в ушах гудит. Надо бы выкинуть из головы всю эту вагонную болтовню бородатых и безусых милых русских ребят. Без них хватает забот и неприятностей, мелких удач и крупных разочарований. И все-таки...

Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Фанни, он спустился вниз, схватил шляпу, пальто и оделся уже на крыльце. Повезло. Запоздалый кэбмен уныло тащился по улице и, не глядя на поздний час, охотно согласился отвезти его в порт.

Часы в портовой таверне пробили ровно полночь, когда осоловевшие от пива и усталости судостроители увидели в дверях Степняка. Вася-Василек протер глаза и спросил:

— Не то я допился до галлюцинаций, не то этот англичанин со львиной головой просто преследует нас?

Все повернулись к дверям, не проронив ни слова.

Степняк твердым шагом подошел к отъезжающим, взялся за спинку стула, сказал:

— Мы даже не успели попрощаться, а надо бы познакомиться...

— Вы говорите по-русски? — изумился Егор Ильич.

— Я даже пишу по-русски.

Иван встрепенулся, посмотрел на Степняка внимательным, сочувственным взглядом, подвинул стул.

— Вы хотели что-нибудь передать в Россию? Письмо? Посылку? Известно ведь, что оказии бывают часто надежнее почты.

— Мы к вашим услугам. Пожалуйста, — охотно подтвердил Егор Ильич.

— Тайна вклада будет обеспечена, как в банке.

Это сказал Олег, с откровенным интересом разглядывавший Степняка, а Вася спросил:

— Но почему же вы ничего не сказали в вагоне? И только теперь, среди ночи, вам пришлось...

Сергею Михайловичу стало смешно. С такой предупредительностью и мягкостью обычно говорят с сумасшедшими. Ему захотелось озадачить их еще больше:

— Нет, нет, не беспокойтесь. Мне не нужна оказия. Я пришел оправдаться.

— Оправдаться? В чем? Выпейте пива. Вы, по-моему, волнуетесь. Волноваться не надо.— Егор Ильич подвинул к нему кружку.

— А вы... из дому пришли? — брякнул вдруг молчавший до тех пор бесцветный и безымянный судостроитель.

Степняк не выдержал и расхохотался.

— Вы хотели бы узнать, не сбежал ли я из лондонского Бедлама? Уверяю вас, пока что я совершенно здоров. Но вы, — он повернулся к бородачу, — угадали. Я действительно волнуюсь и выбираю слова неточные. Надо бы — я пришел объяснить.— Теперь он перестал смеяться и говорил серьезно.— Я впервые увидел в вагоне тех читателей, для кого, по сути, и была написана моя книга. Долго и не к месту сейчас объяснить, почему она написана по-английски. Скажу одно: если бы я писал ее по-русски, то она не была бы издана, а стало быть, и прочитана. А я сам был бы теперь уже кадавром<sup>1</sup>. Это к вопросу о патриотизме, но не это хотел я объяснить.

Он передохнул, отпил из кружки и посмотрел на своих собеседников. Его спокойная речь ничуть не уменьшила их изумления. Теперь они смотрели на него, как на существо из другого мира, этакое небесное пришельца, возникшего из лондонского тумана. Вася даже робко дотронулся до его рукава, то ли чтобы успокоить, то ли чтобы убедиться, что он не призрак, как ему почудилось вначале.

---

<sup>1</sup> Трупом (лат.)





— Я готов взять свои слова назад, — смущенно сказал Егор Ильич. — Как-то не пришло в голову, что гонорар за этот роман был для вас единственным средством, чтобы просуществовать на чужбине.

— Карась-идеалист, — пробормотал Иван, — и, как все идеалисты, — пальцем в небо.

— Но и ты, Иван, великий скептик, ты тоже не проявил большого такта, — вступился за бородача Олег. — Вряд ли автору приятно слышать, что он пигмей по сравнению с Толстым.

— Нет, нет, не думайте, что меня привела сюда обида. Только одно желание — желание быть понятым. Мне приходилось писать по-итальянски, по-французски, по-английски. Так складывалось. Но каждый раз я мысленно обращался к русскому читателю, говорил с ним. И сейчас, увидев наконец его глаза в глаза, я хочу одного — быть понятым. Еще несколько слов о патриотизме. Как ни наивно прозвучало это обвинение, я должен ответить. Патриотической книгу делает не язык, на котором ее написали, а изображение национального характера. Той цельности, того высокого нравственного примера, какой он несет в себе. Не знаю, как вам, а мне пришлось много кочевать по Европе, и, к сожалению, нигде, ни в одной стране я не видел такой самоотверженной, такой бескорыстной самоотдачи борьбе за свободу народа, как в России. И это не единицы. Это армия русской революционной интеллигенции!

— Разбитая армия, — прервал Иван.

— Ошибаетесь... Можно уничтожить пушечное мясо, но нельзя убить идею. Даже если она воплощена в одном человеке. Вспомним Гарибальди. Как часто его победы оборачивались поражением, а он снова, не теряя веры и энергии, начинал все сначала.

— Эх куда хватили! Гарибальди! — засмеялся Олег, — Гарибальди! Другая кровь, другой темперамент.

— У Софьи Львовны Перовской была другая кровь и другой темперамент, но способность пренебрегать неудачами, возрождаться из пепла, начинать сначала, казалось бы, самое невозможное предприятие...

— Вот я и говорю — апология терроризма, — перебил Иван.

Степняк перегнулся через стол и, глядя в упор на Ивана, отдельно произнес:

— Не было в моем романе апологии терроризма, была апология героя.

Все притихли. Молчаливый инженер даже немного отодвинулся от Степняка. А тот продолжал уже спокойно:

— Во второй раз вы повторяете эту фразу. Если хотите знать, эти ваши слова, произнесенные в вагоне, и привели меня сюда. Я хочу, чтобы в России, говоря со своими товарищами, вы не толковали ложно мою книгу. Никогда, ни раньше, ни теперь, я не радовался перспективам терроризма. Опыт показал, до чего рискованны, трудны, до чего, в сущности, медленно действуют методы терроризма. Они суживают поле действия, ограничивают боевые силы — в борьбу включаются одни революционеры, а те, ради кого борются, остаются в стороне. В конце концов революция превращается в чистейшую азартную игру. Это худший из всех революционных методов. Хуже этого только раболепная покорность и отсутствие всякого протеста.

— Но разве вы это хотели доказать в своем романе? — осторожно спросил Егор Ильич.

— А разве не ясно, что террор для моих героев был не целью, а печальной необходимостью? Кто из русских революционеров, кроме одержимого фанатика Нечаева, обожествлял террор? Для остальных просто не было других способов бороться с обрушившимся градом казней, каторги, арестов. Не там вы ищите пороки романа.

Впрочем, и многие другие критики искали не там. И только один человек... — он запнулся. Почти автоматическая привычка к конспирации помешала ему назвать имя Волховского. — Так вот, лишь один человек, хваля в общем роман, сказал о его главном недостатке. В нем нет народа. Из-за чего сыр-бор? Казни, побег, аресты — ради кого? О народе сказано, но он не показан. Не участвует в борьбе.

— И вы принимаете этот упрек? — спросил Егор Ильич.

— Да. Тут нет оправдания. Может, так получилось оттого, что я писал в то время публицистическую работу «Русское крестьянство», а повторяться не люблю.

— Вы были так уверены, что каждый читатель прочитает все ваши книги? — спросил Олег.

Ему, как видно, наскучил весь этот разговор. Тон был вызывающий, дерзкий, с явным расчетом переменить тему. Но Сергей Михайлович даже не заметил насмешки и продолжал думать вслух:

— В том-то весь мой дилетантизм, что я временами забывал о читателе, целиком отдавался воспоминаниям. А то вдруг опоминался — книга пока что на английском языке, нужна фабула. Ну и старался заинтересовать. Но это соображение мимоходом. Спешка, вечная спешка! Теперь, когда прошло время, многое видно издалека. Я мало и бледно прочертил очень важную тему — эгоизм самопожертвования.

— Ну уж это какой-то парадокс! — возмутился Иван. Его поддержал Егор Ильич:

— Самопожертвование — лучшее, что мы сумели в себе выработать за всю историю человечества. Парадоксы, каламбуры, вышучивание тут неуместны. Да этого и нет в вашей книге. Почему же вы сейчас...

Степняк улыбнулся снисходительно, положил руку на плечо бородача:



— Вот теперь и вы волнуетесь. Стоит ли? Разве вы не замечали, что вся наша жизнь полна парадоксов? Та же Софья Перовская, которая могла бы блистать на придворных балах, стала цареубийцей. Не из ревности, не ради дворцового переворота, не к выгоде своей, а блага ради униженных и поработченных. Декабристы, отпрыски аристократических семейств, — на виселице и в каторге. Герцен, Бакунин, анархист князь Кропоткин, не избежавший даже французской тюрьмы...

— Ваш список можно долго еще продолжать, — перебил Иван. — Все верно. Самопожертвование налицо. Но где же эгоизм?

— У террористов.

— Так вы же сами их воспели!

— Воспел. И буду воспевать до конца дней моих. Потому что не знаю более благородных и более оклеветанных людей. Они не стремились ни к власти, ни к почестям, ни к душевному покою, какого ищет всякий эгоист. Про них даже нельзя сказать: они р и с к о в а л и жизнью. Они е ю ж е р т в о в а л и.

И вдруг, как это часто с ним бывало, когда он слишком увлекался, ему стало скучно и неловко. Он, как бы очнувшись, посмотрел на лица — слушают ли? Двое близнецов-инженеров сидели потупившись, будто разглядывали клетчатую скатерть. Вася, напротив, весь подался вперед, держась обеими руками за край стола, вот-вот вскочит. Егор Ильич сидел прямо и слушал с некоторой важностью и спокойствием, как слушают ученые сообщения. Склонив голову набок, недоверчиво поглядывал Иван, а Олег, поигрывая вилкой, пробормотал:

— Мне ваша искренность мила...

Но Егор Ильич тотчас прикрикнул на него:

— Зря иронизируешь, Олег!

А Вася подбежал к Степняку, схватил его за руку, сбивчиво забормотал:

— Не обращайтесь внимания! Он всегда так. А вы говорите, говорите! Мы благодарны... Это самая интересная встреча в Англии

Иван спросил:

— Но в чем же все-таки эгоизм?

— В самопогружении. Революционер, идущий на террористический акт, так поглощен воспитанием в себе пренебрежения к своей судьбе, что уже выше его сил и возможностей сосредоточиться на том, как он будет совершать этот акт, в особенности если он действует в одиночку. Он знает только, что он должен сделать. Он полон возвышенной готовности принять на себя все последствия своего поступка. Он ничуть не жалеет себя. Этого нет ни на секунду. Он просто растворен в грядущем небытии...

Он снова остановился, посмотрел на сидящих за столом. Теперь уже все слушали его с напряженным вниманием, силясь понять непостижимое.

— Не знаю, понятно ли я говорю, но вот вам пример: в романе Андрей Кожухов довольно долго готовится к акту возмездия и справедливости, иначе не назовешь это убийство. А потом идет, погруженный в свои мысли, опаздывает на несколько минут против назначенного срока, и вот — неудачное покушение. По дороге он думал о себе как о несуществующем. Без сожаления, избави бог! Даже не о себе, а о каких-то влюбленных, попавшихся на пути. И все реальные, технические, что ли, условия предстоящего для него уже не существовали. То есть как он совершит свой поступок. Вот это самопогружение я и называю эгоизмом самопожертвования. И об этом я не сказал достаточно ясно. И странно, что никто, кроме меня самого, не поставил мне это в вину.

— Должен признаться, что такая мысль мне тоже не приходила в голову, — как бы винясь, сказал Иван.

— Да разве же в этом суть? — горячо вступился Егор Ильич. — Показаны натуры героические, правдивые и в

то же время удивительные. Показана жизнь, о которой мы, да и почти все читатели, и понятия не имели. Дан нравственный пример, достойный подражания. Чего же еще надо? Зря вас терзают угрызения совести.

Степняк улыбнулся, махнул рукой.

— Уверяю вас — меня ничто не терзает. Просто, когда проходит время, видишь, что работа могла бы быть объемнее, многограннее, глубже. После Толстого и Чехова. — И он хитровато поглядел на Ивана.

Он испытывал огромное облегчение, оттого что выговорился с этими незнакомыми людьми. Только на чужбине начинаешь по-настоящему понимать, что за народ русские. Никто из этих молодых людей, верно, никогда не помышлял об убийстве царей, о побегах из тюрьмы, а поди ж ты! Говорят как о будничном, естественном деле, даже называют нравственным примером.

— Как ни печально, но я не откажусь от своих слов о Толстом и Чехове, — упрямо сказал Иван.

— И не надо! Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы переубеждать вас.

Иван развел руками и раскланялся, как бы благодаря за отпущение грехов, а Олег поднялся и, разливая пиво по кружкам, взмолился:

— Вы сказали вначале, что пришли оправдаться, но мы не судьи, не прокуроры, так давайте же, братцы, выпьем наконец.

Он посмотрел на товарищей в надежде, что его поддержат и можно будет снова вернуться к обычной застольной трепотне. Но никто не торопился взяться за кружки, а Степняк сказал:

— Никак не хотите меня понять. Мой приход не оправдание, а предостережение. Когда ваши товарищи будут читать мой роман, ночью ли при свече или вслух своим друзьям, как в воскресной школе, я хочу, чтобы все понимали, для чего и почему написана эта книга. И не

испытываю угрызений совести за то, что прервал вашу застольную беседу. Впереди у вас длинный путь.

— А мы благодарим вас за то, что вы сочли возможным нас проводить, — сказал Олег.

Его дружно поддержали остальные, а Вася, пожимая руку Степняку, говорил:

— Мне сегодня в первый раз не захотелось уезжать отсюда. Вернее сказать, я впервые почувствовал себя здесь как дома. Как здорово один человек может изменить обстановку.

— Сделать чужбину родиной, — пояснил Егор Ильич.

— Это самое приятное из всего, что я мог услышать, — сказал Степняк. — Я так долго не был в России, что стал опасаться, что меня могут принять за космополита. Слава богу, этого не случилось. Спасибо. Мне хочется верить в вашу искренность.

За окнами прорезался пронзительный и протяжный гудок парохода.

— Наверно, наш, — сказал Егор Ильич. — Пора идти, хотя и грустно расставаться.

Все потянулись к дверям.

На пристани было темно. Черная вода, черные силуэты барж и катеров, и только огромный пароход «Королева Виктория» сиял тускловатыми сквозь туман огнями. Прощальные минуты тянулись недолго. Убрали трап, последний гудок, и, стоя на берегу, Степняк долго еще махал шляпой, хотя знал, что его давно никто не видит.

## ТОПОТ КОПЫТ

Из типографии Степняк вышел, вытирая пот со лба. О, эти эмигрантские склоки, распри! Он пытался примирить Волховского и Войничу, но добился не душевного согласия, а только прекращения спора. Каждый

остался при своем. Уселись по углам спиной друг к другу и занялись делами.

На улице его сразу повлекла за собой озабоченная торопливая толпа, а после жаркой схватки в Вольном фонде хотелось быть празднующимся. Не получалось. Город диктует свой ритм. В Лондоне беспечность выглядит нелепо. Издавна замечено. Об этом еще Гейне писал, находил, что в Лондон надо посылать философа, а не поэта. Столица Англии создана для энергичной работы, полна мрачного однообразия, машинообразного движения. Даже удовольствия в ней угрюмы. Огромные масштабы тяготят воображение и гнетут сердце.

Так оно и есть. И сейчас, как во времена Гейне, струятся вереницы вечно занятых, спешащих по делу людей. Стремительно шагает солидный, выхоленный барин в серебристом цилиндре, с раздувающимися на ходу крыльями пелерины на белой атласной подкладке. Верно, какой-нибудь богатейший аристократ, может быть, лорд-пэр. Торопится на одну из бесчисленных парламентских комиссий, но отпустил кучера, чтобы заодно совершить и положенный утренний моцион. За ним бежит в Вестминстер судья в черной мантии. Она напоминает плащ наемного убийцы, этакое брави из пьесы Марло. Рядом громыкает своей тачкой разносчик овощей. Здоровенный матрос с раскачивающейся из стороны в сторону походкой не поспевает за этими коренными горожанами. Носильщик тащит чемоданы провинциала в клетчатом рединготе. Тот заглядывается на витрины и все время отстает. И кроме этой вечной спешки — еще одна особенность лондонской толпы, к которой глаз никак не может привыкнуть, — все одеваются одинаково. Плотник носит фрак, как лакей или лорд. Торговки гнилыми апельсинами в миниатюрных шляпках с цветами или перышками, продавцы лимонада в широкополых черных шляпах. Только все эти копии одежды богатых куплены у старьев-

щика, каких здесь тьма-тьмушая. Фраки залоснившиеся, в жирных пятнах, цветы на шляпах облезлые, перышки ощищенные. И от этого нищета кажется еще более кричащей и унижительной. Русская Матрена в оранжевом полушубке, повязанная платком в розанах, показалась бы здесь нарядной, как игрушка. Ну да что там травить сердце подобными сравнениями.

«Угрюмые удовольствия» — вернее не скажешь. В клубе лондонец читает газеты и ведет деловые разговоры, в парке играет в крокет или теннис с таким видом, будто решает государственные дела, даже фехтует или ездит верхом степенно, обдуманно, стараясь любому развлечению придать вид серьезного занятия. Но может, эта целеустремленность и деловитость и позволяет им сохранять корректность и величайшую терпимость к взглядам, убеждениям и даже заблуждениям ближних. А эмигранты! Сколько он перевидал на своем веку ссор из-за выеденного яйца, из-за ложных самолюбий! Сколько разбежавшихся в разные стороны друзей, сколько легенд, сплетен, даже клеветы из-за озлобленного нежелания понять друг друга. Ничтожный прыщик превращался в гнойный нарыв, и все это из-за отсутствия настоящего дела, из-за болтовни на пустом месте, ревнивого оберегания собственного престижа. Стоит только вспомнить письмо, адресованное народовольцами из Питера Плеханову и задержанное в Париже Тихомировым и Ошаниной. За этим злосчастным письмом из Швейцарии отправилась целая делегация — Плеханов, Дейч и он сам. Тихомиров уверял, что неистовый Дейч грозился застрелить его, если он не отдаст письма. Правда ли? Сомнительно. Но что-то похожее могло быть. Шли длительные переговоры, впутали в это дело Лаврова и, наконец, вернули нераспечатанное письмо. Из-за чего же загорелся сыр-бор? Из-за престижа. Члены Исполнительного комитета почти полностью разгромленной партии «Народной воли» Тихо-

миров и Ошанина должны были знать, что нужно их соратникам от «освобожденца» Плеханова. А что было в Швейцарии! Эмигранты перестали здороваться с Драгомановым из-за его украинофильства, именовавшегося злостным шовинизмом. Сам он, Степняк, остался единственным, не покинувшим этого умного, одинокого, озлобленного человека. Случалось, что вопли раздоров доносились до других континентов. Когда отплыл в Америку с лекциями, Волховский слал вслед отчаянные письма. Линева и Войнич обвиняли Феликса в слюнявом либерализме, в том, что журнал «Свободная Россия» подлаживается под вкусы англичан, и опять впутали Лаврова, и опять Лавров писал невнятные, высокопарные, осуждающие письма... Эх, да если начать все вспоминать...

Возвращаться теперь домой рискованно. Нет никакой уверенности, что Волховский или Войнич не завернут к нему, чтобы излить душу, и нескончаемый разговор не затянется до вечера. Надоело. Хочется побыть среди людей, далеких от этих мелких и скучных, как пыль, словесных междоусобиц. Есть такой человек. Прелестный, чистый человек, очень близкий, хотя и не разделяющий его мыслей и надежд, — Вера Ивановна Засулич. После первой колючей встречи в Лондоне они объяснились, пообещали друг другу больше не пускаться в дебри отвлеченностей и не раз мирно проводили вечера. Далековато живет, да что там лениться в такой ясный майский день.

Он сел в омнибус.

На перекрестке в центре произошел затор. Омнибус остановился. По главной магистрали маршировал внушительный отряд шотландских волынщиков, бородатых, в клетчатых юбках, с голыми коленками. Они двигались торжественно, неторопливо, смешно раздувая щеки, изо всех сил стараясь заглушить грохот экипажей своими гнусавыми дудками. А справа и слева тянулись вереницы

экипажей, одноконных, пароконных, с нарядными дамами под яркими зонтиками, заметно стеснявшими цилиндры их спутников. Пешеходы тут уже валили густой толпой, не уместаясь на тротуарах. Что это? Карнавальное шествие? Да ведь почти так оно и есть! Сегодня день Эпсонских скачек. Как он мог забыть! В этот день веселится весь Лондон, устремляясь на ипподром. Дерби. Один из двух дней в году, когда лондонцы забывают угрюмое веселье и город несколько напоминает воскресный базар где-нибудь в Милане или Риме. Такое случается еще и в первый день пасхи.

Забыв доuku и раздражение, он не отрываясь разглядывал яркие фраки всадников, гарцевавших около ландо и шарабанчиков, волосатые ноги шотландцев, пушистые страусовые перья, свисающие с дамских шляп, сверкающие ботфорты гвардейцев, маленьких девочек в длинных кружевных платьицах, разноцветные ленты серпантина, взлетающие над толпой. Дважды в году Лондон бывает по-южному живописен.

К Вере Ивановне он приехал в отличном настроении, и даже отчаянный, нигилистский, как он отметил про себя, беспорядок в ее комнате показался ему живописным. На столе — порыжевший огрызок яблока, кровать еле прикрыта мятым пледом, под столом — россыпь клочков рукописи, пролетевшая мимо корзинки для бумаг. Сама хозяйка этого логова — в шлепанцах на босу ногу, но, как всегда, в строгом черном платье.

— Хандра? — спросил он, не поздоровавшись.

Она молча кивнула.

Хорошо, что на свете есть человек, с которым можно начать разговор с середины.

— Как у царя Саула? — продолжал он допрашивать.

— Самоцитирование равно самодовольству, — наставительно сказала Засулич и рассмеялась. — Как я рада, что вы приехали. Нет ничего приятнее приятной неожиданности.



— Так давайте продолжим. Едемте на скачки.

Вера Ивановна даже отшатнулась:

— Но ведь это же надо одеваться!

— Вот-вот. Это единственное, чего вам не хватало. Надевайте чулки и туфли. Принесите мне эту жертву. Я свою уже принес. Если по совести, я ехал сюда, чтобы орошать вашу жилетку слезами. Но ваш радушный прием заставил меня круто изменить свое намерение.

— Отвернитесь.

Он послушно подошел к окну. Бог весть почему, разговаривая с Засулич, он иногда впадал в полуиронический тон провинциального фата. Он чувствовал какую-то фальшь интонации, тяготился ею и не мог изменить тона. Почему? Может, потому, что поддавшись искреннему чувству, он впал бы в такую ненавистную Вере патетику, что она высмеяла бы его, а то и просто вытолкала бы за дверь.

С высоты пятого этажа были видны только кроны деревьев ближнего сквера. Океан яркой зелени колыхался на ветру, то затихал, то снова начинал ходить бурными курчавыми волнами. Вдали высилась колокольня какой-то церкви. Острый шпиль, казалось, протыкал пышное ватное облако, медленно плывущее к скверу.

— Звонница, — сказал Степняк. — Прелестное слово. И какое точное.

Вера Ивановна откликнулась не сразу. Он слышал, как за его спиной шуршала бумага, передвигались стулья, падали на пол книги. Видно, она что-то разыскивала. Потом сказала:

— Если бы вы знали, как временами я скучаю по русской речи! Не той космополитской, на которой мы часами спорим — имманентный интернациональный конгломерат, — а по звоннице, лаптю, прохиндею... Вам смешно?

— Нет. Понятно.

Через час они уже были на ипподроме, среди ослепительно-ярких красок, бравурных, как бы блистающих медью звуков духового оркестра, среди наступающей вдруг тишины очередного заезда, когда слышен лишь глухой и таинственный топот копыт по утопанной дорожке, среди зевак, рассеянно разглядывающих публику, и охваченных жаром азарта игроков.

Вера Ивановна, застенчивая, терявшаяся даже на товарищеских вечеринках, ежилась, горбилась, искала глазами место, где можно было бы уединиться, недовольно бормотала:

— И зачем только я вас пожалела. С первого взгляда мне показалось, что вы очень расстроены, а теперь... Вы даже с каким-то маклером вступили в переговоры.

— И вовсе не с маклером, а с букмекером. И раз уж вы сюда попали, извольте выражаться профессионально. Кстати, этого господина у нас в России назвали бы просто жучком. Почти что так любезным вашему сердцу прохиндеем. Он объяснял мне, какие лошади имеют больше шансов занять первые места, уговаривал воспользоваться его советом. Конечно, не бескорыстным. Но я пренебрег. Не хотел падать еще ниже в ваших глазах. А теперь, снисходя к вашему одичанию и равнодушию к спорту, мы пойдем в такое место, где вы будете себя чувствовать легко и свободно...

И он повел ее на небольшой пригорок, в стороне от скакового поля, вблизи загончика, где после заезда взвешивали лошадей. Там перед клумбой в анютиных глазках и маргаритках стояла садовая скамейка.

— Уютно? — не без самодовольства спросил Степняк.

Но Вера Ивановна как-то нервно дернулась, вытянула шею и вперилась в загончик, где на широкую платформу весов водружали крупного вороного коня.

— Почему взвешивают лошадь? Ее будут убивать? На мясо?

— Верочка! Вера Ивановна! Великая гуманистка, поймите, — лошадей взвешивают, чтобы жульничества не было. Ведь жокеи могут быть немного легче или немного тяжелей, а условия для всех должны быть в заезде равные. Лошадям подкладывают под седло груз, чтобы уравнивать шансы, ну а на бегу можно сбросить этот груз, и тогда будет легче бежать. Вот поэтому после каждого заезда проверяют лошадей. Понимаете?

— Вы правду говорите?

— Забавно! Ну зачем же я буду вас обманывать? Я, слушая вас, напомнил сам себе одного чудака. Тут к нам пришвартовался некий меценат. Делает взносы в Вольный фонд. Небольшие, но регулярные. Очень недалекий малый, но простодушный. Так вот он восхищается русскими революционерами — какие мы все благородные, бескорыстные, образованные... И вдруг сам себя останавливает: «А ведь руки-то в крови?» Полный тупик. Так и меня ваше волнение из-за этих лошадей удивило. Нам ли вдаваться в такие сантименты?

— Вы хотите сказать, что и у меня тоже... — Вера Ивановна отвернулась и тихо досказала: — тоже руки в крови?

Степняк схватил ее за руку:

— Простите меня. Я вовсе не хотел... Ляпнул. Не подумал. Но неужели до сих пор?.. Неужели то, что произошло в полицейском участке сто лет назад, до сих пор тяготит вашу совесть?

— Мою совесть тяготит не выстрел в Трепова, а то, что я оказалась первопроходцем, указала путь ложный. Путь бессмысленной, бесплодной борьбы. Пагубной прежде всего для самих борцов.

Она говорила, медленно роняя слова, не поворачивая головы. Степняк тоже не смотрел на нее, сидел, уставившись в землю, и, помолчав, сказал:

— Вы ведь знали Ольгу Любатович? Очень неглупая

женщина, жена Коли Морозова. Она не любила слово «нигилист». Помню, в Женеве с таким пылом доказывала мне, что мы, народовольцы, дети Кирсановых, а не Базарова и...

Вера Ивановна с неожиданной живостью обернулась и спросила в упор:

— А на самом-то деле чей вы сын? По метрике, по бумагам?

Глядя вдаль, в сторону загончика, где взвешивали лошадей, Степняк рассеянно ответил:

— Кажется, сын военного врача. — И тут же, несколько встрепенувшись, встревоженно добавил: — Удивительно редкая масть! Что-то никогда не видел скаковых лошадей вороной масти. Извините меня, Вера. Я на минуту вас покину. Подойду поближе. Этот жеребец — вылитый Варвар.

И он быстро побежал вниз.

Вера Ивановна пристально посмотрела ему вслед. Она не случайно задала свой вопрос, и сейчас ей показалось, что Степняк убежал, чтобы не продолжать разговора. Тут была какая-то тайна. У открытого, доверчивого, простодушного Степняка было единственное белое пятно в биографии. Никто из близких и друзей ничего не знал о его детстве... Даже Фанни. Известно было только, что он вырос в маленьком городке в Малороссии, где стоял полк его отца, военного врача, и что был у него младший брат. И сейчас, когда Засулич услышала его небрежную фразу, ее поразило слово «кажется». Разве так говорят об отце? А уж если рассуждать по старинке, такая неуверенность задевает и честь матери. А что, если так оно и было? Если его мать — сирота, воспитывавшаяся в институте или пансионе, потом попала в гувернантки в богатый дом, влюбилась в хозяйского сына или племянника, в какого-нибудь блестящего офицера-лоботряса, и, как водится, он ее обольстил и бро-

сил? В ожидании ребенка ей пришлось покинуть место. Нищета, одиночество, впереди страшное будущее... И вот некий благородный военный врач, а может, и совсем неблагородный, а движимый лишь желанием подчинить, поработить благодетельствованную, как ростовщик из «Кроткой» Достоевского, женится на несчастной, беспомощной, верно, еще совсем наивной девочке. Вскоре родится нелюбимый отцом ребенок. А когда появляется на свет младший брат, Сергей видит, что суровый, даже жестокий отец способен любить, баловать, быть нежным и внимательным. Каторжное детство! Кому захочется его вспоминать? Зачем вызывать к себе жалость? Сергей очень самолюбив. Может, и самолюбие его и дьявольская работоспособность, смелость, размах — все, чтобы доказать им, изуродовавшим его детство, да и самому себе, что он человек незаурядный?..

Она вздрогнула от резкого звука фанфар. Вдали по скаковой дорожке проводили под музыку лошадь, выигравшую дерби. Опомнилась, устыдилась. Вот что значит оказаться среди этого праздного, нелепого сборища. Ничему нельзя изменять. Даже образу жизни. Разыгрывается воображение, а его принимаешь за интуицию, сочинишь целый роман. А ведь, кажется, никогда не занималась беллетристикой, не завидовала славе Жорж Занд. Все эти домыслы — пустое. Гипотеза без точных данных. Но почему же все это мгновенно пришло в голову и так стройно выстроилось? Должно быть, всякому свойственно подставлять чужую судьбу под свою собственную. Так близки и понятны самой все обиды безрадостного детства.

С трех лет росла в чужой семье. Отец — отставной капитан — горький пьяница. Умер, когда была еще малюткой. Оставил мать с пятью детьми. Беспомощная, слабохарактерная женщина, она не могла растить такую ораву и отправила младшую в имение своих сестер. Там она оказалась на попечении полугувернантки, полуприживал-

ки Мимины, старухи, подавленной тревогой о своем безотрадном будущем, мыслями о смерти, о болезнях, о бездомности. Детства не было. Никто не брал ее на руки. Никто не приласкал. Вместо колыбельной песенки — сиплый лепет старухи: «Где стол был яств, там гроб стоит. Надгробные там воют лики...» И, засыпая, она видела лики, огромные, почерневшие, как на старой иконе в людской, без туловищ, одни зловещие головы. А старческий голос снова молитвенно шептал: «О ты, в пространстве бесконечный, — един в трех лицах божества...» И виделись вовсе не божества, а три черепа с треугольными дырками вместо носов, с огромными оскаленными зубами. О, как страшно быть маленькой! Когда ее несправедливо наказывали, она убегала, бросалась на колени перед образом, шепотом жаловалась богу. Тетка настигала ее, допрашивала, что там она шепчет. И услышав почти беззвучное «так», сварливо объясняла, что к богу не обращаются с пустяками, а только с молитвами.

Какой-то пьяный джентльмен, в сбившемся набок галстук, нетвердо держащийся на ногах, балансируя палкой в одной руке и беговой программой в другой, с трудом взобрался на пригорок. Остановился перед Верой Ивановной, посмотрел остекленевшим взглядом и спросил:

— Вы монахиня?

Она молча кивнула.

— Офелия! О нимфа! Помяни меня в своих молитвах. Если Бедуинка не придет первой, я отправлюсь в мир иной...

И, спотыкаясь, поплелся вниз.

Вера Ивановна вздохнула облегченно. Хорошо, что разговор оказался недолгим. Но где же все-таки Сергей?

А Степняк в глубокой задумчивости стоял около загончика с весами. Близорукость, как это часто случалось, и на этот раз подвела его. Только масть оказалась такой же. Вороная кобыла. Кор-де-бра, прелестная, тонкопогая,

легкая, ничуть не была похожа на могучего орловского жеребца Варвара. В тот памятный августовский день стремительный, сказочно резвый, он унес его с Большой Итальянской, только искры брызгали из-под копыт. Варвару он навсегда обязан жизнью и свободой.

В какой-то газетенке написали: «Злоумышленника умчал апокалипсический конь. Конь Блед». Ох уж эти желтые борзописцы! Можно ли вороного коня назвать конь Блед?

...Он вернулся тогда в Петербург из Швейцарии, все еще не опомнившийся от счастливого избавления из итальянской тюрьмы, охваченный неколебимой верой в чудеса. В майском солнце победно сиял шпиль Адмиралтейства, розовые закаты безмятежно тонули в Неве, по вечерам над ней разверзались огромные черные пасти разводных мостов, всегда ввергавших его в волшебное средневековье. Прогулки за полночь с любимой, и Фанни виделась тогда не курсисткой-медичкой Фанни Личкус, а Кармен с кровавой розой в зубах.

Нет, это был не только угар счастливого избавления, хмель молодости и весны. Не один он, все кругом ждали отрадных перемен. С разбегу, с размаху, ему казалось, вот-вот начнется небывалое. Ведь только что оправдали Веру Засулич. Вся Россия за нее. Даже суд присяжных — все эти отцы города из Гостиного двора, сенаторы не смогли преодолеть в себе чувства справедливости, а может, и восторга перед отвагой и кристальным бескорыстием молодой девушки. Это огромная нравственная победа над заскорузлыми сердцами, над чиновничьей угодливостью, над рабской покорностью. Самодержец-то жаждал крови!

И в это же время счастливо бежали из киевской тюрьмы Стефанович, Дейч, Бохановский. За «чигиринское дело» их ожидала виселица. А главный устроитель побега Ва-

лериан Осинский не обнаружен, спокойно разгуливает по Крещатику. Выходит, теперь и рачительные жандармы работают спустя рукава? Все вселяло надежды. И была весна, и приближались белые ночи — лучшее время года в лучшем в мире городе.

Он жил тогда на площади Пяти Углов. Во флигель с мезонином, стоявший в глубине двора, не раз забегали студенты в обтрепанных тужурках, мятых косоворотках, подпоясанных шнурком, а то и стриженные курсистки. Кажется, дворник принимал нового жильца за ростовщика, а может, и за скупщика краденого.

Друзья ожидали, что приговор по «процессу 193-х», находившихся почти два года под следствием, будет не слишком суровым, а там все силы можно бросить на устройство побегов, а там, глядишь, и все переменится... Такие были детские наивные мечты, такое юношеское малиновое сердцебиение.

На самом деле все шло не так, все было иначе, все крепче стягивался узел бедствий.

В Петропавловской крепости умирал двадцатипятилетний Михаил Куприянов, любимец чайковцев.

Полиция рыскала по городу в поисках Веры Засулич, оправданной судом и снова подлежащей аресту.

Царь отклонил ходатайство особого присутствия сената о смягчении наказания осужденным по «процессу 193-х».

Решение было принято по настоянию шефа жандармов генерала Мезенцева. Сознывая свое бессилие справиться с неудержимым революционным движением молодежи, генерал надеялся подавить его свирепыми репрессиями.

Все стало черно в эти солнечные июльские дни. С каждым, кого посылали на медленную смерть и нескончаемые муки, были связаны дни прожитой жизни, — с едиными мыслями, работой, отчаянным риском, братской любовью.



Он перебирал имена.

На Кару отправляли Дмитрия Рогачева. Митяй — наезженная дорога из Переслегина, признания в алексеевской полутемной избе, классы артиллерийского училища, где этот богатырь робко следил за «гордецом» Кравчинским. Клятва в лесу в декабрьскую лунную ночь.

Войнаральского — в Новобелгородский централ. Волшебные дни безумного московского лета. «Салон мадам Рекамье» — сапожная мастерская пьяницы латыша на Самотеке, сумка с деньгами на стене. А споры о ремесле, с каким надо идти в народ, а мечты вместе издать собрание сочинений Чернышевского?

Феликса Волховского — в Сибирь. Еще не так давно вместе с товарищами принимал участие в устройстве его побега по дороге из пересыльной тюрьмы, а в душные неаполитанские ночи столько было переговорено о нем с его умирающей женой Марией, столько общих мечтаний и планов у них, что, казалось, будто жизнь прожили бок о бок.

Вслед за Войнаральским отправляли в Новобелгородский централ Михаила Сажина, беззаветного бакуниста, писавшего под лихим псевдонимом — Арман Росс. Встречались и в России, и в Швейцарии, и в Сербии, а потом оба приняли решение участвовать в герцеговинском восстании, почти таком же скоротечном и неудачном, как беневентское. Все оказалось пустое, но почему-то ярко запомнилась сроднившая их минута. Ничтожный эпизод: на скале на фоне багрового заката стояли два огромных, красивых, плечистых повстанца, у каждого на шее что-то вроде крупного ожерелья, свисающего до пояса. Загадочное украшение. По близорукости показалось было, что это просто связки сушеных грибов, но Сажин схватил за плечо и в ужасе прошептал: «Так это же уши! Уши убитых турок. Трофеи!» И отвращение, с каким он произнес эти

слова, навсегда примирило с его ярким якобинством. Вся его напускная свирепость — отвлеченная болтовня, чистая абстракция. Человек остается человеком...

С каждым из осужденных уходил не только друг и единомышленник, но и отрывался кусок прожитой жизни. Единственной, неповторимой, страшной и, несмотря ни на что, прекрасной.

Этого нельзя простить.

Отбывающие на каторгу прислали товарищам проект воззвания к русскому обществу. На сходке он тогда заявил, что воззвание обращено не по адресу и написано не теми словами. С ним согласились. Наутро он принес письмо, обращенное прямо к царю и русскому правительству. Как хотелось ему произнести вслух, в упор, в лицо тем, к кому это письмо было обращено. Он называл этих людей шайкой разбойников. От трусости они потеряли разум. Слишком долго чудилось им, что высятся они на неприступной скале, а когда увидели, что под ногами яичная скорлупа, — обезумели от страха. Оправдание Веры Засулич доказало, что вся Россия, без различия классов и сословий, осудила русское самодержавие. В беспамятстве страха оно озверело. Но довольно! Всепрощения не будет. Месть! Месть кровавая, беспощадная — вот ответ на все злодеяния.

Бумага кричала, но многие ли слышали этот грозный крик? Хотелось вопить во всю глотку на улицах, на площадях. Ближе этих людей, угоняемых на медленную смерть, не было никого на свете. Сейчас Вера спросила, кто был его отец. Какое имеет значение, чья кровь течет в твоих жилах? Только общая цель связывает людей неразрывными узами.

— Сэр, я вижу, вы тоже подозреваете жульничество? — вкрадчиво спросил ирландец с длиннейшей золотистой бородой.

Степняк удивился:

— Жульничество? Чье?

— Не отрицайте. Вы же глаз не сводите с Кор-де-бра. И вы правы. У нее не хватит веса. Судите сами, как могла выиграть эта дохлая кобыла у Гладиатора? У внука Монарха, у сына Субретки! У нее же конца нет! Она в обрез становится на финишной прямой!

— Однако же не стала и заняла первое место, — возразил Степняк.

Он понятия не имел, что произошло во время заезда, но его забавлял пыл золотобородого ирландца, оторвавшего его от воспоминаний, к которым он не любил возвращаться.

— Еще бы она не выиграла приз! Вы, наверно, впервые на ипподроме, но даже новичку понятно: один тащит на себе груз в тонну, а у другого в кармане сюртука спичечный коробок. Кто придет быстрее? Кто кого обгонит?

— Тот, у кого больше сил, — улыбаясь, ответил Степняк. Ему очень хотелось подразнить ирландца.

— Ошибаетесь. Первым добежит тот, кому легче. Но жульничество! И где? В Англии! Какое падение нравов! В стране классического коневодства, где созданы все породы лошадей, потребные в европейской жизни. Никто другой, как Великобритания, создала стройного, эффектного каретного клевеленда, пивоваренного норфолка, могучего, но гибкого гунтера...

— Вы бы влезли на бочку, — иронически заметил низкорослый жокей, стоявший у загона, — а то не всем слышно.

И верно, вокруг уже начинала собираться публика. Несколько джентльменов, пребывавших в состоянии явного подпития, почтительно прислушивались к его речам, толстая дама с огромным ридикюлем, нестеснительно расталкивая их, пробиралась поближе к ирландцу. Трое жокеев в пронзительно-ярких камзолах прислушивались к нему,

обмениваясь неодобрительными шуточками. А ирландец, не замечая насмешек, довольный лишь общим вниманием, легко прыгнул на маленькую бочку и продолжал:

— ...И, наконец, именно Англия создала стального по крепости и упругости мускулов резвого скакуна. Путь, по которому она шла, усвоен всей Европой и Америкой, — в голосе его уже звучали торжествующие, проповеднические ноты. — Весь иппический мир теперь признал, что незачем оглядываться в тьму веков, возвращаться к миниатюрному коню Аравии. К этому прообразу лошади, созданной под раскаленным небом, на огненной земле...

— Слушайте, слушайте, — завопил один из пьяненьких джентльменов. Он несколько пошатывался и, как бы дирижируя, размахивал тростью. Похоже было, что в эту минуту он представлял себя депутатом парламента.

Его призыв, по-видимому, еще более вдохновил ирландца. И он стал выкрикивать с новой силой:

— Ведь та же чистая арабская кровь течет и в английских скакунах, но уже в формах более мощных и... — и тут он запнулся и, устремив взгляд на табличку, появившуюся на фонарном столбе, заорал: — Не признали! Не признали! Веса не хватило. Кор-де-бра не засчитали места! Деньги обратно!

И сделав неожиданное антраша, помчался к кассам.

Степняк хохотал. Его рассмешил финал этой сценки. Он любовался ирландцем во время его патетического монолога, а теперь тот просто привел его в восторг.

Какая счастливая увлеченность! Он всегда завидовал нумизматам, игрокам, филателистам, шахматистам. Для него самого погрузиться в ничтожную страсть, сделать ее целью жизни, уйти от мыслей о самом себе, о долге, о близких — удовольствие недоступное. Однажды в страшную минуту душевного разброда он с особенной остротой испытал такую зависть.

...Он пришел в татерсаль. Так назывались тогда в Питере некие предприятия, соединявшие в себе платные конюшни, манеж и нечто вроде конской ярмарки. Там продавали и покупали лошадей, опытные наездники «работали» кровных рысаков, там же «квартировали» и сами лошади. В многоэтажном Питере во дворах доходных домов не было места для конюшен.

Он не должен был приходить в татерсаль. Не имел права даже показаться на улице. Наступила пора полного одиночества, строжайшей конспирации. В окно выглянуть нельзя, а он позволил себе ввалиться в татерсаль, где можно встретить кого угодно — старого товарища из артиллерийского, студента из Лесного института, наконец просто шпика. Шпики в те жаркие дни кишели в местах общественных, и некоторые из них отличались прекрасной зрительной памятью.

Со дня на день он должен был совершить то, к чему стремился и к чему испытывал непреодолимое отвращение. Готовился террористический акт.

Убить человека... Нет, он не считал его за человека, но это было живое существо. Бог знает с каких времен возникло убеждение, даже не убеждение, а чувство, что нельзя лишать живое существо того, что никогда ни за что не сможешь ему вернуть. Чувство это мучило, душило, теснило грудь.

Весь Питер знал, что царь отклонил ходатайство сената по настоянию Мезенцева. Решение это было понято всеми судебными инстанциями как приказ ужесточить немедленно меры наказания политическим. И в Одессе военный трибунал вынес смертный приговор Ковальскому.

Мезенцев должен был ответить за все. План мести разрабатывался не одну неделю.

Сам он меньше всего думал о том, что с ним будет, когда возмездие совершится. Но друзья не могли пренебречь его судьбой. Жизнь Кравчинского за жизнь Ме

зенцева — цена непомерная. Его должен спасти Варвар — могучий орловский вороной конь. Не в первый раз он приходил на помощь. Клеменц назвал его действительным членом партии «Земли и воли» после того, как он умчал Кропоткина из тюремной больницы.

Все было обдуманно до мельчайших подробностей. Доктор Веймар, владелец Варвара, охотно дал согласие. Адриан Михайлов — за кучера, ему не впервой. Баранников — сопровождающий. Ах, какой милый, добрый, юношески влюбленный в Марию Николаевну Ошанину, неуклюже изображавший лермонтовского героя молодой офицер! Как он хвастливо буркнул: «Мне жандарма убить — что капусту рубить». И тут же чуть не до слез огорчился, что отдал лапу коту.

Полного одиночества в Питере не было. Товарищи приходили, пытались развлечь, рассмешить, заботились о здоровье, чтобы он ел, пил, кто-то даже принес гантели. Ехидный Тихомиров говорил, что его готовят, как рысака, к большому призу. Но дни проходили как в тумане. Духовное одиночество было в самом деле полное. Самый простой деловой разговор не отвлекал. Все чудилась та минута, когда он возьмется за рукоятку кинжала...

Оставшись один, он вынимал из ящика стола кинжал, подаренный Малатестой в ту зимнюю ночь в итальянском трактире, вспоминал пророческие слова: «...и пусть он разит врагов свободы!» Так просто казалось тогда «разить». Но и то сказать, после беневентского восстания полагали разить в сражении, на поле боя. Теперь, через два-три дня, он должен напасть на ненавистное, седое, жирное, розвомордое животное, пусть гнусное, но живое.

Тянулись нескитанные дни в маленькой солнечной комнате, и оттого, что она такая светлая, было еще тоскливее. К вечеру приходили товарищи, обсуждали предприятие озабоченно, трезво, как можно обсуждать поездку на дачу или подготовку к путешествию по сибирским рекам.

И однажды он не выдержал, вышел из дому. Зашагал куда глаза глядят.

Конюшенный мальчик «работал» Варвара на кругу позади татарсаля.

Конь был прекрасен и свиреп. В крутом изгибе лебединой шеи, когда он оглядывался на ездочишку, во взгляде темно-лиловых глаз, с немного вывороченными веками, сверкающими белками, горел адский огонь.

Он мчался. Нет, не распластываясь на ходу, как бы летя над землей, как летят кровные скакуны. Не семенил настойчивой, упорной, тягучей рысью, как американские рысаки. В размашистом крутом полете передних ног чудилась невиданная мощь. Сила и легкость. Земное притяжение не тормозило его, а как бы трамплинило и придавало еще большую стремительность.

Старый конюх, сопровождавший его, долго смотрел на круг и сказал только одно слово:

— Плывет...

С непривычки от свежего воздуха, порывистого ветра закружилась голова. Оперся на плечо конюха. Чей-то голос над головой монотонно бубнил, будто вычитывал:

— Еще арабы говорили: четыре части тела должны быть у лошади широкие — лоб, грудь, крестец и ноги. Четыре длинные — шея, подплечья, голова, уши. Четыре короткие — спина, бабки, уд и хвост. И еще они говорили, что тело лошади должно быть твердо, как у зебры, рот и уши мягкие, как у газели, а ноздри расширены, как львиная пасть, дабы она могла ими поглощать воздух. Смотри и наслаждайся. Второй раз не увидишь такое совершенство.

— Скажи лучше цену, — откликнулся жирный бас.

— Цены ему нет, — сказал, будто припечатал, старый конюх.

Голова все еще кружилась, и в глазах чуть потемнело.

Но слова звучали громко и отчетливо, будто их произносили в рупор, и запомнились на всю жизнь.

Он оглянулся. Длинный, тощий кавалерист, не отрываясь, смотрел в бинокль на Варвара, рядом квадратный, по-купчески франтоватый бородач — верно, тот, что спрашивал о цене. Старенький конюх почтительно держал руки по швам, но смотрел на купчика с торжествующей нагловатой улыбкой.

Это был старик с небритыми, заросшими белым пухом щеками, в ореоле белого пуха на лысеющей голове, закутанный в чудную бабью кацавейку, подбитую пожелтевшим овечьим мехом. Как выяснилось потом — бывший крепостной графа Орлова-Чесменского, состоявший при графских конюшнях в Хреновом не одно десятилетие.

Что-то не понравилось ему во франтоватом купчике, приценивавшемся к Варвару, и он обернулся к Кравчинскому с торжествующим видом, как бы ожидая похвалы за свою стповедь. Но, видно, что-то встревожило его. Он подхватил позднего гостя под руку, повлек на скамейку, к кустам пыльной городской акации.

— Сиди, барин, пока оклемаешься. Кваску принести?

Он помотал головой. Сам не понимал, что с ним происходит. Неужели можно отравиться кислородом?

А старик, стараясь не замечать его дурноты, певучим, убаюкивающим голосом принялся рассказывать о Хреновском заводе, о его знаменитом управляющем Василии Шишкине, о потомстве знаменитого рысака Летучего, о том, как лошадей привозили в Москву на зимние бега за Краснопресненскими прудами. Дурнота проходила, сменялась уютнейшей сонливостью и доброй завистью к старику, весь интерес жизни которого свелся к высоте холков, крепости бабок, провислости поясиц каких-то жеребцов и кобыл. А убаюкивающий голос старика все вязал забавную вязь о том, как Хреновое посетил сам император Николай Первый, как загодя готовили к этой встрече



не только всю дворню, но и лошадей, как устроили в конюшнях раздвижные ставни, которые поднимали только перед выдачей овса, и лошади ржали в ожидании раздачи. А когда император подошел к конюшням, ставни одновременно раздвинулись, и он был встречен оглушительным ржанием сотни лошадей.

— Даже бессловесные приветствовали прибытие государя, — и старик посмотрел на него, ожидая ответного умиления или хотя бы удивления по поводу счастливой выдумки графа Орлова-Чесменского.

Он расхохотался. Смеялся, может быть, впервые за эти тяжкие дни. Трудно было понять, почему он испытал чувство облегчения. Давно бы, давно бы надо было пренебречь всей этой конспирацией, к какой он никогда не испытывал пиетета, выйти из своей светлой солнечной темницы, оторваться от назойливых бесплодных размышлений, быть самим собой. Быть самим собой! Радоваться закату над рабочим полем татарсаля, ветру, темным тучам, надвигающимся с востока, простодушному старику, топоту копыт Варвара, доносящемуся издалека...

Он вернулся домой спокойный, трезво-счастливый, готовый к тому, что сам себе назначил и о чем никогда не хотелось вспоминать.

— Где вы пропадали? В какой преисподней? — сердито спросила Вера Ивановна, когда Степняк подошел к ней. — Меня тут уже за монахиню приняли. А могло бы быть и хуже.

— Угадали, Верочка, угадали! Я провалился в преисподнюю воспоминаний, но все-таки удержался на краю самой страшной бездны ради того, чтобы вернуться к вам. А сейчас вы поедете к нам на Вудсток-род и будете есть украинский борщ, приготовленный Фанни, это тоже будет воспоминание, но самое безмятежное.

Он подхватил ее под руку и повлек к выходу, но тут же остановился и уставился на проходившую мимо девочку-подростка с распущенными по плечам волосами.

— Что с вами? — спросила Вера Ивановна. — Вас все время заносит в сторону.

— Эта девочка так похожа на мою старшую сестру Анну, но... — он грустно улыбнулся, — ей сейчас уже сильно за сорок, а я не могу представить себе, как она выглядела даже в двадцать.

— У вас была старшая сестра? — живо спросила Засулич.

— Да. А что?

— Так. Крушение одной беспочвенной гипотезы. Нельзя поддаваться игре воображения.

## КРАХ

— Что нового во Франции? Чем дышит Париж? — расспрашивала Ольга Алексеевна Рачковского, сидевшего перед ней в напряженно-почтительной позе.

Вторичное посещение Рачковского вызвало у Ольги Алексеевны двойственное ощущение — покорило, но и поманило надеждой на бурную деятельность, какой ей уже давно не доставало.

— Гнильцой дышит Париж. Ничего не поделаешь. Fin de siècle, конец века. Все будто состязаются в распущенности, аморальности. Нынче уж и Мопассан кажется пресным, благостным. Не читают. Забыли. В моде Гюисманс — это для снобов, а публика предпочитает Марселя Прево, зачитываются его романом.

— Ах, это «Полудевы»? Чистая порнография.

— Вот именно. Я и говорю — гнильца. Во всем одно и то же. Художники работают не кистью, а пульверизатором. Масляный портрет из точек. Пуантилисты называются. Париж в восторге: вместо музыки — какофония.

Тоже нравится. Шансонетки и те... — Он смутился и с опаской посмотрел на хозяйку.

Ему очень хотелось угадать, что может понравиться Новиковой, и, предполагая в ней поклонницу старины, даже говорил брюзжащим, несвойственным ему тоном барина-ворчуна, фрондера справа. Издавна он относился к Ольге Алексеевне с трепетом и восхищением, несколько переоценивая ее петербургские связи и влияние. Более всего воображение его поражало, что она была крестницей Николая Первого. Для мещанина герцогине всегда тридцать лет...

— Так что же шансонетки? — смеясь, спросила Ольга Алексеевна, польщенная его смущением.

— Шансонетки ужасны. Возьмите хоть Мистангет, она у вас в Лондоне гастролировала, — костлявая, рыжая, колючие локти, голос хриплый, как у старого унтера. Станет плясать, так это не канкан, а какой-то *dance macabre* получается. То ли было в наше время? Помните Жюдик? Уж на что Некрасов, и тот воспел: «Мадонны лик, взор херувима, мадам Жюдик неотразима». Помните?

Ольга Алексеевна нахмурилась. Жюдик гастролировала в Питере в шестидесятых. Что, они все сговорились, что ли, записывать ее в старухи? Нет, всю эту жандармскую шваль надо ставить на место. И притворно-любезным тоном, но не скрывая насмешки, спросила:

— Вас привело ко мне желание поделиться воспоминаниями молодости?

— Помилуй бог! — Рачковский побагровел. — Простите великодушно мою болтовню. Я ведь только потому, что вы спросили о Париже. Не смею задерживать. А если разговор чисто деловой — имею поручение от Вячеслава Константиновича.

— Что-то не помню такого имени.

Рачковского начинало раздражать это бессмысленное высокомерие. Он решил поставить все точки над «и».

— Да Плеве же, Плеве Вячеслав Константинович! — сказал он, повышая голос. — Как же вы забыли, что еще в Париже обещали ему статью о лондонской эмиграции! Как вы изволили выразиться, не статью, а бомбу.

Ольга Алексеевна улыбнулась насмешливо:

— Чтобы сделать рагу из зайца, надо иметь зайца.

— Что вы хотите сказать?

— То, что я не располагаю материалами.

Рачковский поглядел на нее победоносно.

— Ошибаетесь, Ольга Алексеевна. Я как раз явился сюда, чтобы вернуть вам то, что в свое время вам прислал Гуденко. Эти материалы будут вам очень полезны.

Ольга Алексеевна вспыхнула, вскочила с места и подошла, вернее, подползла к Рачковскому зловеще-крадущимися шагами.

— Вы хотите сказать, что вы и ваше заведение или контора, не знаю, как ее лучше назвать, больше меня понимаете, что мне полезно? — Ее змеиный шипящий голос «испугал» Рачковского, и, держась за ручки кресла, он невольно подвинулся назад, как бы опасаясь удара, но она, нагнувшись к его лицу, продолжала: — Я еще не кончилась. Отставка Гладстона ничего не изменит. А вот что случится с вами, если сотрудники, подобные проходимцу, который посетил меня, будут продолжать у вас работать? Я не удивлюсь, если и сам Вячеслав Константинович Плеве взлетит на воздух в своем кабинете.

— Помилуй бог! Но вы не хотите меня выслушать. В ближайшее время в логове эмигрантов произойдет акция, которая покончит с лондонской колонией раз и навсегда. Антиконституционная акция. Я сейчас не имею права говорить о ее содержании, но, уверяю вас, всю эту шатию выметут из Лондона, как мусор.

Новикова, все еще нахмурившись, заносчиво спросила:

— При чем же тут этот... альбом мадригалов? — и показала на желтую папку.

Оправившись от испуга, Рачковский самодовольно разглаживал стрельчатые усы.

— Вы напишите статью. Зажигательную. Смею думать, это будет ваш бенефис, коронная роль. Уж больно акция неожиданная. Я согласен — из этих кирпичиков, — он показал на папку, — разоблачительной статьи не сложишь. Но как виньетка или заставка из цитат они будут выглядеть очень эффектно. Вы только представьте, что корреспонденты Степняка могут призадуматься, каким образом их мысли, взятые из личной переписки, и даже отдельные выражения стали достоянием гласности? Вы понимаете меня?

— Нет, — отрезала Новикова.

— Я хочу сказать, что при этом некоторая тень падает и на самого Степняка. Мало того, что он совершил недостойную акцию, но еще кое-кому передал личную переписку. Для англичан это, может, и не так важно. Вызовет только брезгливость. Но что поднимется у эмигрантов в Швейцарии, в Париже — уму непостижимо. Вы не представляете, как они чувствительны ко всяким намекам на связь с агентурной разведкой. Такая склока начнется... — Он подумал и веско добавил: — Разделяй и властвуй! Поймите, Ольга Алексеевна, мы перед прыжком. Теперь-то добыча не уйдет.

— Я все-таки должна знать, что затевает эта публика?

— Не могу, Ольга Алексеевна. Государственная тайна, можно сказать... Да и зачем вам сейчас?

Ольга Алексеевна опять покраснела.

— Я как-то привыкла, что мне доверяют государственные тайны. И поважнее, чем судьба этой ничтожной эмигрантской мелочи. Можете обратиться к кому-нибудь другому. Вы сказали — перед прыжком. Я не циркачка.

Рачковский сокрушенно покачал головой. Он понял, что затронул больную струну, совершил бестактность, и, вздохнув, сказал:





— В ближайшее время, а может, даже на днях лондонская полиция будет иметь возможность накрыть фабрику фальшивых денег, устроенную под эгидой Степняка, Волховского и прочих друзей-товарищей.

— Степняка! — вырвалось у Ольги Алексеевны. Глаза ее сверкнули.

Она с неугасимой ненавистью относилась к Степняку еще со времен полемики о взрыве на лондонском мосту. Возможность реванша мгновенно преобразила ее. И Рачковский, глядя на ее помолодевшее лицо, спросил:

— Так будет статья?

— Бомба, — твердо ответила Ольга Алексеевна.

Тяжкий, волнующий, мучительный и сладостный бред будоражил Курочкина все дни затянувшегося запоя. То мстились мексиканские прерии, заросшие колыхающимися высокими травами, то вихрь новеньких ассигнаций, но не нарядных, кремовых в розовых разводах «катенек», а желтых и синих рублевок и пятирублевок, метавшихся за окном, как осенние листья. Это пугало. Казалось дурной приметой, провалом задуманного предприятия. Он прикладывался к бутылке, и снова перед глазами возникали, как на старинных слабо раскрашенных гравюрах, толпы индейцев с киноварными лицами, с иссиня-черными перьями на головах, голые по пояс австралийские аборигены с вывороченными губами. Но странно, среди этих полчищ дикарей, сборища пик и томагавков он не видел самого себя. Впереди огромного войска высилась фигура Гарибальди на белом коне. На минуту мелькала трезвая мысль, что никакие богатства мира не могут поднять народного восстания, если у восставших нет вожака, человека железной воли, великой убежденности. А он лежит на убогой койке, не в силах дотянуться до бутылки на полу, поворошить поленья в затухающем камине.



Раза три заходил Гуденко. Курочкин избегал его, как избегал всех, кто мог нарушить великолепную оргию уединенного опьянения. Но тот, сметая на пути преграду в лице кудахтающей квартирной хозяйки, врывался в комнату и снова и снова говорил о Южной Америке, о далекой Австралии, о поработенных народах, которых только пальцем поманить и снабдить оружием, в каком не будет недостатка при их капиталах, и, глядишь, по всему земному шару побежит пламя мировой революции.

В последний раз он принес несколько листов бумаги с водяными знаками. Курочкин посмотрел осоловело, пощупал и все-таки сообразил:

— Да тут тысячи на три только хватит, да и то если печатать крупными купюрами.

— А зачем нам больше? — вырвалось у Гуденки, но он тут же поправился. — Это для начала. Для пробных экземпляров. Мало ли что? А вдруг не будет получаться? Вы не представляете, как трудно было раздобыть.

Не слушая его, Курочкин ощупывал одеревеневшими от неподвижности пальцами жесткие листы. Теперь, когда дело близилось к началу, ему пришла в голову самая простая, самая естественная мысль, почему-то не появлявшаяся раньше.

— А если нас накроют? — спросил он.

— Глупости. Мы же в Англии. Кто тут будет проверять?

— Но сами хозяева, — упорствовал, заметно трезвея Курочкин. — Ведь если узнают — заявят в полицию.

— Шутите? Их раньше нас с вами отправят по месту жительства. Прямым трактом в Петропавловку. Что, они сами себе враги? Уж если кому-нибудь тут может что-нибудь угрожать, так только им — нигилистам-террористам. А мы люди маленькие. С нас и спрос совсем другой. Давайте лучше примем. Что? Кончилось? Ну, до другого раза.

И он удалился, посоветовав на прощанье тщательно беречь бумагу.

Через минуту его голова снова показалась в дверях. Уставившись на Курочкина пристальным взглядом удивленных наивных глаз, как бы желая загипнотизировать, он сказал:

— И помните: пора начинать. Народы не ждут.

Дверь захлопнулась. Курочкин расхохотался и сразу помрачнел. Нелепый пафос Гуденки рассмешил его. Кого ждут народы? Эту тряпку, эту ветошь, валяющуюся на смятой постели, которая не в силах подняться и сходить в лавчонку за бутылкой? Он повернулся лицом к стене и попытался заснуть. Но новая тревожная мысль мешала. Из-за этой затеи с фальшивыми ассигнациями могут пострадать, больше того, погибнуть все устроители фонда вольной русской прессы, а может, и вся эмигрантская лондонская колония. Люди, которых он безмерно уважал, энергии и убежденности которых завидовал. Этого Гуденко не дождется.

Спустя три дня Курочкин появился в типографии еще более мрачный, чем обычно, работал усердно и безмолвно до позднего вечера, вызывая некоторое раздражение у Войнич. По свойству своего холерического темперамента тот любил разглагольствовать перед сочувственными слушателями по поводу судьбы притесняемых ирландцев, ослиного упрямства парламентских тори, бесстыдной колонизаторской политики Гладстона. Справедливости ради надо отметить, что судьбы Англии его мало трогали, он лишь переключал пыл негодования на английский парламент. В сущности, оно было направлено на репрессии русского правительства к еще уцелевшим революционерам. Обжегшись на молоке, он дул на воду и не слишком распространялся при Курочкине о русских нелегальных.

Наборщик молча выслушивал все ламентации Войнич, не меняя бесстрастного выражения лица, внимательно сверяя ручной набор с текстом, написанным четким почерком Волховского. Не найдя сочувствия, Войнич в сердцах заметил:

— Равнодушный вы человек, Сергей Геннадиевич! А впрочем я вам завидую.

Но и это признание не нашло отклика. В типографии воцарилась тишина.

К вечеру, когда Войнич уже ушел и появился Волховский с текстом очередного «летучего листка», Курочкин тихо сказал:

— Вы слишком доверчивы, Феликс Вадимович.

— Я? — удивился Волховский.

— И вы, и все остальные. Степняк, Кропоткин, Чайковский, Шишко... Около вас вьется авантюрист, прохвост и жулик. А может, и похуже.

— Кто же это, скажите на милость? — засмеялся Волховский. — Может, вы преувеличиваете? Бывают дни, когда все представляется в мрачном свете.

Намек на тяжелое похмелье попал в цель. Наборщик живо откликнулся:

— Вот это верно. Бывают дни, когда к вам липнет всякая дрянь и вы по слабости душевной не можете оттолкнуть от себя эту мерзость, она засасывает, как тряпина, а потом... Потом очухаешься, как от дурного сна, и видишь, что надо было сторониться, бежать...

Он осекся, крепко сжал губы, словно рассердившись на себя за прилив откровенности. Волховский, по-прежнему улыбаясь, смотрел на него:

— Не томите, Сергей Геннадиевич! Кто же к вам прилип? И кого нужно опасаться?

— Гуденку, — коротко буркнул наборщик и отвернулся.

— Вот оно что! Но он слишком глуп и бесхарактерен, чтобы оказаться опасным. Да и что нам может угрожать?

Все, что мы здесь делаем, не противоречит законам Великобритании.

— А разве я сказал, что умен? Сказал, что вы делаете противозаконное? Не вы, а он хочет превратить типографию Вольного фонда в фабрику фальшивых ассигнаций.

Волховский даже присел на верстак:

— Может, это была шутка? Он не слишком остроумен. И зачем? С какой целью?

— Эта шутка продолжалась полторы недели. Он задурил мне голову. Южная Америка, поход не гарибальдийской тысячи, а ста тысяч! Не поминайте имя божье всуе! — вдруг закричал он. — Как я мог ему позволить сравнивать себя с Гарибальди? Льстец! Низкий льстец. — Он опустил голову. — И иногда я соглашался...

Удрученный вид наборщика, неожиданная новость, нелепые намерения Гуденки и насмешили и встревожили Волховского.

— Бред какой-то, — сказал он. — Зачем Гуденке понадобилось это предприятие?

— Говорит, дела пришли в упадок. Управляющий проворовался. Но все это чушь. Импровизация. Концы с концами не сходятся. А какая истинная причина — понять невозможно. Лучше от него подальше.

И странно, не сама идея печатать фальшивую монету, а какое-то темное предчувствие Курочкина обеспокоило Волховского. Захватив с собой наборщика, он, не медля, поехал к Степняку.

В тот же день, не застав Курочкина дома, Гуденко отправился в типографию. Вышел с каким-то новым, еще не испытанным чувством, подобным творческому взлету изобретателя или художника, только что закончившего работу. Его нисколько не смущала угроза, готовая по его вине нависнуть над людьми, к которым он не испытывал ни тени недоброжелательства, а скорее, симпатию и даже уважение. Он просто не думал об их судьбе, весь поглощенный

и чувством самоуважения, и собственной значительности, и легкости необычайной в мыслях и во всем теле. По-новому он видел и ночной Лондон. Он не шел, а шествовал по Пиккадилли — улице театров и увеселительных заведений. Был час начала спектаклей, к дверям театров подъезжали вереницы экипажей, мальчишки-оборванцы и седовласые пьяницы состязались в проворстве, открывали дверцы карет и, получив свои пенни, быстро исчезали, чтобы не оскорблять взор блистательных дам в легких ротондах, шуршащих шелками, обдающих прохожих запахом духов, то крепких, как мускус, то легких, как аромат весенних фиалок. Еще не стемнело, но фонари уже зажглись, и их лучи в слабом сумеречном свете бледнели, почти погасали. Со все нарастающим ощущением легкости, почти невесомости, Гуденко неторопливо двигался в густой толпе, вдыхая запахи духов, осенних роз, которые цветочницы бесцеремонно совали джентльменам, направляющимся в театры. Он вглядывался в лица величественных светских дам и игривых молоденьких цветочниц и казался сам себе главнокомандующим, принимающим парад вечернего веселящегося Лондона.

Вдруг сердце екнуло. Он остановился. Там, впереди, у подъезда оперного театра выходила из экипажа Ольга Алексеевна Новикова. В разлете нахмуренных соболиных бровей, в крепко сжатых змеиных губах почудилось что-то зловещее, угрожающее. Он увидел ее издали, она не могла его заметить в толпе прохожих, и все-таки сделалось не по себе, как от неожиданно возникшего дурного предзнаменования. Он так и стоял, прижавшись к стене, не сводя глаз с закутанной в синюю ротонду фигуры, неторопливо плывущей к театральному подъезду, тупо следя, как колыхались белые эспри в ее высокой прическе. Дернул же черт выбрать дорогу в этот час через Пикадилли!

Она уже давно исчезла в дверях, а он все смотрел вслед, странно ослабевший, придавленный дурным предчувствием. «Пиковая дама», — прошептал он чуть слышно. Как это в голову пришло там, в гостинице у Рачковского. И вспомнив, что тот ничуть не рассердился, а даже обрадовался этому сравнению, сразу приободрился и повеселел. Все будет хорошо, убеждал он себя. Вот уж и достали гравировальные инструменты. Только бы расшевелить этого мрачного алкоголика хоть ненадолго.

Наборщика в типографии не было. Но зато в углу сидела Лилиан и, низко склонившись над столом, переводила на английский статью из только что сверстанной брошюры. «Старается для какой-нибудь английской газетенки», — подумал с раздражением. С тех пор, как она вышла замуж за Войнича, к прежнему чувству влюбленности и восхищения примешивалась обида. Ему казалось, что Лили не сдержала своего обещания, хотя она не подозревала о его чувствах и почти не замечала его существования. Меньше всего ему хотелось сегодня увидеть в типографии именно ее.

В другом конце комнаты сидел Михаил Войнич и тоже трудился над списками и ведомостями. Надо же было застать сегодня в типографии эту чету. Он хотел повернуть обратно прямо с порога, но был остановлен Войничем.

— Хорошо, что вы сами явились. По крайней мере не пришлось вас разыскивать.

Угрожающие нотки насторожили Гуденку, но не слишком испугали, и он сразу перешел в наступление:

— А почему вы разговариваете со мной в таком тоне? Я не служащий вашей типографии, не обязан, как вы выразились, «являться» сюда, и нет никакой нужды меня разыскивать.

— Ошибаетесь. Вам следовало бы радоваться, что пока что вас разыскиваем мы, а не сотрудники Скотланд-Ярда.

Все. Курочкин «раскололся». Ясно как божий день. Пьяная рожа! Но сопротивляться надо до последнего. И он сказал:

— Что за чушь вы городите? Какой такой Скотланд-Ярд? Скорее всего, это вас разыскивает международная полиция! Уж не собрались ли свалить свои неудачи с больной головы на здоровую?

Лили подбежала к ним, невольно загородив собой Войнича.

— В Англии не преследуют за политические убеждения. Это знает каждый иностранец, — сказала она. — Вам, должно быть, кажется, что вы все еще в России? Там очень любят угроживать...

— Угроживать? — переспросил Гуденко, как всегда любуясь ею, когда она коверкала русские слова.

— Да. Угроживать — пугать. Но как, по-моему, вам лучше самому бояться ваше преступление.

Она стояла, сложив руки на груди, крепко сжав губы, нахмурившись, всем своим видом давая понять, что дальнейший разговор бесполезен. Именно такой тип решительных и чистых женщин казался Гуденке неотразимо привлекательным. И хотя он понял, что все рухнуло, замысел его раскрыт, он продолжал сопротивляться:

— Какое преступление? О чем речь?

Войнич раздраженно и сухо объяснил:

— Вы хотели превратить типографию Вольного фонда в фабрику фальшивых ассигнаций. Степняк и Волховский, не желая продолжать с вами дальнейших сношений, уполномочили меня сообщить вам об этом и о том, что они требуют, чтобы вы прекратили участие в субсидировании Фонда и больше не появлялись ни здесь, ни у них дома.

Удар был так силен, что у Гуденки не хватило сил для искреннего негодования. С напускным пафосом он лепетал:

— Я не позволю... Задета моя честь. Какие-то инсинуации... Я потребую объяснений. Как бывший офицер, я явлюсь и потребую объяснений и удовлетворения!

— Сатисфакции? — расхохотался Войнич.

Лили недоуменно смотрела на них.

— А что есть удовлетворение? — спросила она.

Несколько войдя в роль, Гуденко выпятил грудь и от-  
рапортовал:

— Дуэль, с вашего разрешения, прекрасная леди.

Тут уже расхохоталась мало склонная к юмору Лили:

— Вы будете стрелять в Сергея Михайловича? Вы? Разве вы воин? Мужчина?

— А кто же?.. — совершенно растерявшись, спросил Гуденко.

— Так... Жидкость... — Она сделала жест рукой, как бы ловя что-то неосязаемое. — Вроде вода.

— Она хочет сказать — кишка тонка стреляться со Степняком, — подытожил Войнич и добавил: — Не советую вам пускаться в объяснения. Сгиньте.

## ДЕНЬ И НОЧЬ

— Этому надо дать отпор!

— Если мы будем молчать, кто же вступится за оклеветанных?

— Какая беспардонная наглость!

— Шулера!

— Я думаю, что наш голос услышат скорее, чем голоса этих наймитов, спрятавшихся под псевдонимами.

Шло заседание Общества друзей русской свободы в гостиной сэра Роберта Спенса Ватсона, бессменного председателя Общества.

Степняк молча сидел в глубоком вольтеровском кресле, любуясь искренним негодованием этих, по большей части уже немолодых, джентльменов. Усатые лица, чо-



порные сюртуки, сдержанные манеры — сплошная официальщина! И такое бескорыстное участие к чужой беде. Беде людей совершенно чужих, далеких, во многом непонятных им, может, даже отталкивающих. Что же, в этом, наверное, есть доля его муравьиной работы. Он не ошибся в своих расчетах. Давно, еще только приехав в Англию, в письме Исполнительному комитету «Народной воли» он писал, что пока движение русских социалистов не идет дальше завоеваний буржуазных политических свобод. Попросту говоря, завоевания элементарных человеческих прав. И именно поэтому они плоть от плоти, кость от кости мало-мальски передовой Европы. Но Европа этого не понимает и считает нигилистов чудищем огромным, озёрным, стозевным. Европа не признает в нигилистах частицы самой себя, и нужно долго долбить по одному месту, чтобы доказать, что современные террористы — это люди 89-го и 93-го годов во Франции, память которых ныне свято чтут. Избави бог скрывать от европейцев свой идеал социализма. Это было бы нелепо и постыдно. Но знакомить европейского читателя надо не с программами русских революционеров, а с нынешним этапом революционной борьбы в России. Временно эта борьба совпадает со стремлениями европейских радикалов. В таком духе он и писал свои статьи в «Свободной России». И вот теперь по единодушному сочувствию собравшихся англичан видно, что работа не пропала даром.

Поводом для совещания послужила непрерывная, настойчивая, как осенний дождь, травля «преступных эмигрантов» в заграничной печати. Заботами Рачковского пасквильные статьи появлялись то в английской, то во французской прессе.

«Капля долбит камень», — любил повторять начальник заграничной агентуры и без устали фабриковал фальшивки. Когда русские эмигранты собирали средства для голодающих в России, он с безрассудной наглостью выпу-

стил пасквиль в виде прокламации под заглавием «Вынужденное заявление». Под ним стояла подпись Плеханова, который якобы называл лондонских эмигрантов — Кравчинского, Шишко, Войничу и других — отребьем рода человеческого. Плеханов напечатал во французских газетах опровержение, разоблачающее подделку. В послесловии вышедшей в это же время брошюры Степняка «Заграничная агитация» тоже упоминалось об этом мошенничестве.

Кроме опровержения возмущенный поклепом Плеханов поместил в журнале «Социаль-демократ» целую статью под названием «Шпионские забавы». На что же рассчитывал Рачковский? По-видимому, все та же бесстыдная заповедь: «Клеветайте, клеветайте, всегда что-нибудь останется».

Спустя некоторое время — новый удар, статья «Анархисты, их методы и организация». Она была нафарширована сведениями из составленного русской полицией сочинения «Русский меморандум». А затем посыпались, как из рога изобилия, статьи в английских и французских журналах, полные инсинуаций по адресу Степняка. Чашу терпения друзей русской свободы переполнило «Открытое письмо доктору Спенсу Ватсону». Председателя «Общества друзей русской свободы» укоряли за дружбу с этим извергом Степняком. Подписано послание было именем П. Иванова, под которым мог скрываться любой сотрудник Рачковского. А вскоре в «Фигаро» появилась статья, где Степняка впервые без обиняков называли двойной фамилией — Степняк-Кравчинский и весьма произвольно описывали эпизод расправы с Мезенцевым.

Исполнительный комитет «Общества друзей русской свободы» твердо решил положить конец этой безудержной травле. На собрании у Спенса Ватсона было принято постановление издать сборник, показывающий в истинном свете деятельность русских эмигрантов, — «Нигилизм как он есть».

Споров не было. Собравшиеся оказались на редкость единодушными, предложенный план сборника не вызвал возражений. Англичане настаивали только на том, чтобы основные статьи были написаны Степняком. Ему и карты в руки.

Открываться сборник должен был статьей Спенса Ватсона. Его авторитетный голос даст отпор всем клеветническим измышлениям клеветов Рачковского. Затем последуют небольшая статья Степняка о том, почему возникла необходимость в такой книге, и две его публицистические статьи: «Чего нам нужно?» и «Заграничная агитация».

Как всегда, Степняк не без удовольствия отметил трезвую деловитость англичан. Пустой болтовни не было. Решив вопрос о содержании сборника и возможных сроках выхода его в свет, все быстро разошлись, но Ватсон попросил Степняка задержаться.

Когда вернулись в кабинет, он сказал:

— Раньше чем приступить к предисловию для сборника, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Надо ведь ясно представлять причины, а по сути, историю всякого явления. А я не могу понять, как случилось, что после жесточайшего гнета, полного оцепенения общественной жизни при Николае Первом так быстро, так невероятно смело разбушевалось движение народников?

Степняк пристально посмотрел на него и ответил не сразу:

— О, вы действительно копаете глубоко. Но тут есть некоторая ошибка. Общественная жизнь в России никогда полностью не замирала. Я не говорю о молодых Герцене и Огареве — это голубые мечты юности. Это еще не деятельность. Но и эти веяния не прошли бесследно для ближних. При том же Николае в сороковых существовал кружок петрашевцев, разгромленный в сорок девятом...

— Петрашевский? — переспросил Ватсон. — Никогда не слышал этого имени.

— А имена Бенкендорфа, Дубельта вам знакомы?

— Конечно. Это сподвижники императора Николая. Видные деятели времен его царствования.

— И чем же ознаменовалась их деятельность?

Ватсон несколько смутился. Окинул растерянным взглядом полку с книгами, стоявшую в нише у окна, ответил неуверенно:

— Кажется, железные дороги?..

— Железные дороги строили инженеры. А чиновники только получали взятки за утверждение проектов трассы. Выигрывал тот, кто давал больше. А что до Бенкендорфа и Дубельта, то они останутся в памяти русской интеллигенции как душиатели всякого проблеска свободной мысли. Да что там... — и он вдруг рассмеялся, спросил: — А имена Чернышевского, Добролюбова вам что-нибудь говорят?

Ватсон посмотрел удивленно, почти обиженно, но все же сказал:

— Чернышевский? Это тот, из-за кого пострадал Герман Лопатин? Друг Маркса? Лопатин жил в Лондоне. Я слышал о нем от Энгельса.

Степняк горестно покачал головой, взъерошил свою буйную шевелюру и повторил:

— Пострадал Лопатин! Лопатин сильный, серьезный человек, но тот, из-за кого он пострадал, — гигант. Если бы в шестидесятых не было Чернышевского, Добролюбова, не было бы и народников. То есть не было бы сегодня, а может, лишь спустя многие десятилетия. Шестидесятники открыли нам глаза на вульгарную политическую экономию, они обнажили все убожество либеральных усыпителей, призывавших к примирению с самодержавием. Чернышевский направил мысль целого поколения в сторону революции и социализма. Не сердитесь, дорогой сэ

Роберт, что я учиняю вам допрос или экзамен, называйте как хотите. И хотя ваша малая осведомленность в русской общественной жизни печальна — еще раз прошу, не обижайтесь, — но меня она воодушевляет. Чего же ждать от остальных, если даже такие люди, как вы, не знают о Чернышевском? И значит, нужна моя заграничная агитация! Иногда кажется, что повторяешь прописные истины, долбишь таблицу умножения. Тоска берет... — он поднял голову и упрямо сказал: — И все-таки я верю, что когда-нибудь имена Перовской, Желябова, Халтурина, Кропоткина целыми главами войдут в историю России, а все бенкендорфы и дубельты поместятся разве что в подстрочных примечаниях и...

Захваченный его волнением, Ватсон все-таки решил прервать монолог:

— Поверьте, я бесконечно ценю подвиг русских революционеров, их жертвенность, их преданность своему народу, своим убеждениям. Но признайтесь чистосердечно, сам-то этот народ угнетенный, порабощенный, темный, ценит ли он эти жертвы? Участвует в вашей борьбе? Это всегда оставалось для меня загадкой.

Степняк задумался. Он сидел, несколько расставив ноги, положив руки на колени, низко опустив голову, весь подавшись вперед, как бы готовый вскочить. Ватсон заметил, что щеки его горят, и подошел к окну.

— Здесь душно, — сказал он и распахнул окно. — Вы, наверно, не можете привыкнуть к нашей манере топить каминны зимой и летом. Сырость ужасная...

Не слушая его, Степняк встал и заходил по комнате.

— У вас удивительная способность, сэр Роберт, смотреть в корень. Народ... Великий наш поэт Пушкин закончил свою драму словами: «Народ безмолвствует». Но вот что мне рассказывал один русский статистик, побывавший недавно в Лондоне. Человек беспристрастный, далекий от политики, чистейший коллекционер фактов. Он

утверждал, что за десятилетие с семидесятого по восьмидесятый год только в одном Петербурге было шестьдесят пять стачек. В них участвовало около пятидесяти тысяч рабочих. Можно ли это считать заслугой русских революционеров? В первую очередь, конечно, заслугой бесправного деспотического режима. Но кто же открыл этим темным, невежественным, как вы говорите, глаза? Кто сказал им: вместе вы сила? Тут не обошлось без нас. Мы не только ходили в народ по деревням. Рабочие кружки, сборища по квартирам. Пропаганда велась на фабриках и заводах. Это там выросли Виктор Обнорский, Петр Алексеев...

— И этих имен я не слышал, — грустно заметил Ватсон.

— Откуда же! Стенографические отчеты о политических процессах не распространялись ни в России, ни в Англии. А жаль. Вы могли бы узнать тогда, что сказал один из этих темных, безгласных представителей русского народа, ткач Петр Алексеев. Я запомнил слова, какими он кончил свою речь на суде. Я готов цитировать их, как стихи: «Подыметесь мускулистая рука миллионов рабочего люда... и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

— Пророчество?

Степняк молча кивнул головой.

— Не все пророчества сбываются... Но это звучит очень сильно. Патетически, — сказал Ватсон.

— Патетика — ходули. А это — крик души.

В окно ворвался сильный порыв ветра. Степняк подошел, с наслаждением вдохнул холодный сентябрьский воздух:

— Если бы еще раз увидеть... Еще раз.

— Я не ожидал, что наш разговор вас так взволнует, — сказал Ватсон. — Отложим остальные вопросы до следующей встречи.

— Я готов продолжать хоть до ночи... Не знаю, знакома ли вам эта отрада изгнанников — погружаться в воспоминания? А впрочем... — он подумал, что у Ватсона еще множество дел, и закончил: — Лучше в самом деле отложим.

На улице моросил дождь, было ветрено, желтые листья ржавой спиралью кружились и падали на мокрые плиты тротуара, прилипали к подошвам. Надо было торопиться домой, к столу, работать. Доколе же? Новые работы неотступно, как лавина, обрушивались одна за другой, и все чаще вспоминались слова Толстого: «Если хочешь делать то, что хочешь, не делай того, что делаешь». Считают тебя сильным, волевым, дьявольски работоспособным, а роман о народовольцах, о котором с таким увлечением рассказывал Пизу, оставлен. Заготовки к нему заброшены в дальний ящик, и хорошо, если вовсе не потеряны. Слишком велики новые соблазны, возникающие чуть ли не каждый день. Коришь себя за слабодушие и тут же утешаешься тем, что новая работа пустячная, много времени не отнимет. Находишь для себя даже возвышенные оправдания, что эта новая работа нужна людям теперь же, не откладывая. Что стыдно думать о своих планах и мечтах, когда существуют потребности текущего момента.

Вдруг появилась возможность издать в Вольном фонде «Подпольную Россию» на русском языке. Велико ли дело перевести на родной язык? Но вкоренился в сравнение разноязычных вариантов, подыскивание идиом, близких русскому читателю, и время побежало, как с гор ручей.

А тут еще Хесба Стреттон, Сара Смит ее настоящее имя. И оставалась бы таковой, и прославляла бы свою банальную фамилию, какая в Англии звучит наподобие Сидоровых-Петровых. Тем более что ты энергичная общественная деятельница, автор многих сентиментальных романов. К чему тебе этот изысканный псевдоним?

Когда она предложила написать в соавторстве книгу о преследовании русских сектантов, не смог отказать. Задача показалась слишком легкой. Ведь ездил же к сектантам, досконально знал быт, характеры. А как углубился в работу, понял, что скучно, до тоски скучно писать сухое исследование. И понесло, и понесло... Против воли лепились бытовые сцены. В рукопись вселился Павел Руденко, похожий на встреченного в России штундиста, человека честного, чистого, работающего. Уверовав, что постиг истинную религию, он отказывается оставаться в лоне официальной церкви и в конце концов попадает на каторгу. Как легко писалось! Штундист был близок и дорог, как друзья молодости чайковцы, герои «Подпольной России». Они братья по духу. Пусть у него убогий кругозор, пусть примитивный взгляд на мир, но Павел Руденко с такой же страстью и стойкостью отстаивает свои убеждения.

Нельзя быть доверчивым, выбирая соавтора. Слишком поздно это понял. Судьба книги оказалась нелегкой. Хесба Стреттон, в меру своего ханжества и сентиментального безвкусия, сделала такие исправления и дополнения в рукописи, что превратила роман в назидательно-религиозный трактат, полный христианских поучений. Вся социальная острота — насмарку.

Не было желания ставить свою подпись на этой книге. Стыдобушка. Она и вышла-то под названием, которое невозможно всерьез принимать человеку, не лишенному юмора, — «Великий путь печали конца XIX века». Каждый раз вспоминалась насмешившая надпись надгробия на одной из могил на Ваганьковском кладбище: «От любящей жены и Московско-Курской железной дороги». Нет, никак невозможно было увенчать своей подписью это сочинение. На обложке поставили имя Хесбы Стреттон и восемь звездочек. Только немногие английские друзья знали, что он принимал участие в создании этой книги.



На свой роман «Штундист Павел Руденко» он потратил полтора года и положил его в стол.

Многие вокруг убеждают, что ты писатель. Настоящий. Божьей милостью. С этим приятно соглашаться. В это трудно не поверить. А ведь копнешь поглубже, заглянешь в себя и поймешь, что ты пропагандист по натуре, по призванию. Не зря же вера в значение горячего слова невольно всплывает в каждом сочинении. Вот и в «Штундисте» лучший эпизод — в церкви, где Павел страстной проповедью увлекает любимую девушку, и она идет за ним в Сибирь. А в пьесе «Новообращенный» тема эта становится уже главной. Повернул ее совсем по-новому, новообращенным делается отец юной революционерки. Это она увлекла его своей проповедью. Но суть-то та же, та же... И все это без заранее обдуманного намерения. Всплывает под пером то, чему не успел полностью отдаться в жизни.

А впрочем, стоит ли рефлексировать, копаться в себе, в своих опусах? Дома на столе лежит еще не читанная верстка новой публицистики — «Царь-чурбан и царь-цапля». Еще одна дань текущему моменту. В России произошла смена самодержца. На престол взошел Николай Второй. И, как водится, новый прилив интереса англичан к России. Можно ли не откликнуться на такое событие? Как не освободить эту простодушную неосведомленную публику от наивных иллюзий? Темперамент публициста не дает молчать. К тому же сам напрашивается отличный прием — сюжет древней басни. Лягушки, настрадавшись с царем-чурбаном, стали просить у богов нового царя — и променяли кукушку на ястреба. Оказались любимой пищей царя-цапли. Так и следовало понимать тронную речь Николая, призвавшего русское общество оставить бессмысленные мечтания, надежды на либеральные реформы.

И вдруг вся эта кипучая работа остановилась. Умер

Энгельс. Этого можно было ожидать. Семьдесят пять лет. Болезни. Одиночество... Да, конечно, давнее одиночество, хотя до последнего часа он был окружен людьми. Одиночество невосполнимое, наступившее после смерти Маркса.

Этого можно было ожидать, но к смерти нельзя привыкнуть, хотя нет на свете ничего более неизбежного. Как будто и не так часто встречались, но только теперь понимаешь, что он всегда существовал рядом как опора и защита. С первой встречи возникла эта близость, когда Энгельс принял его в своем лондонском доме запросто, «по-нигилистически», как он написал тогда в письме к Фанни, и еще сообщил, что Энгельс «умен и дьявольски образован». Восхищение так навсегда и осталось. И еще удивляла в необыкновенном этом человеке легкость, безудержная веселость, готовность прийти на помощь любому. Элеонора Маркс как-то рассказывала, что отец в шуточной домашней анкете на вопрос: «Ваше любимое изречение» — ответил: «Ничто человеческое мне не чуждо». Верно, когда писал, думал о своем ближайшем друге.

Энгельс умер. Об этом трудно не думать, а надо жить и работать дальше...

Вялый предосенний дождь тем временем перестал. Степняк закрыл зонтик, увидел бледное сентябрьское солнце, плывущее по улице, сияющие полушария мокрых черных зонтов, которые не торопились закрывать недоверчивые лондонцы. Кирпичные стены домов, пригретые последними лучами, излучали малиновое тепло, шелестела желто-зеленая листва в крохотных палисадничках, огненно-рыжий кот, низко присев на передние лапы, нацеливался на краснолапого голубя. Угрюмый Лондон вдруг загорелся теплыми красками. Степняк потянулся рукой к голове, чтобы взъерошить волосы, как он делал всегда, когда принимал какое-нибудь решение, но вспомнил, что

он в шляпе, и только сдвинул ее на затылок. Махнул рукой проезжавшему кэбмену.

— На Вудсток-Род! — сказал, усаживаясь в пролетку.

Войдя в дом, он крикнул Фанни:

— Сударыня! Вас ждет экипаж!

И она, мгновенно поняв его настроение, не задавая вопросов, быстро надела шляпку, накинула ротонду.

На улице зажглись огни, совсем бледные в свете гаснущего дня. Степняка немного знобило, хотя было еще тепло. Усталая лошадь тащилась медленно, как погребальные дроги, но это нравилось обоим седокам, и было приятно разглядывать в сумерках силуэты прохожих, будто нарисованные тушью, нечеткие, с расплывающимися контурами.

Шотландский кабачок, куда он привез Фанни, находился совсем недалеко от их дома, но Степняк не был бы самим собой, если бы, как добрый буржуа, потащился туда под ручку с женой. И хотя унылый кэбмен со своей тощей клячей не был похож на питерского лихача на дутиках, все-таки у Фанни должно было хоть на минуту возникнуть ощущение непривычной, легкой, беспечной жизни.

Он любил этот непритязательный кабачок, грубоватую непринужденность его завсегдатаев, козье бляенье шотландской волынки, бесцеремонное хлопанье дверей, выходящих прямо на улицу, клетчатые юбки оркестрантов, со скромным достоинством обнажавшие угловатые коленки. Не то чтобы это место напоминало ему родину, но укрепляло чувство протеста против английской чопорности. Испокон веков в этой стране считали северян грубиянами и невеждами.

Сейчас он был возбужден, не зная сам почему, и с какой-то обостренной ясностью замечал все вокруг. Усталого, обрюзгшего старика за столиком напротив, в сюртуке с оттопыренными карманами, серебряное кольцо с черепом на толстом пальце. Ему жали башмаки. Он снял их

под столом и по очереди ставил ноги в толстых носках то на одну, то на другую ступню.

Дам в кабачке было мало, и он заметил беспокойный взгляд Фанни, осматривавшей зал, но в тесном углу молодой человек, совсем непохожий на обычных посетителей, в смокинге, с гарденией в петлице, любезно подливал в бокал кукольно-нарядной старушке. Ее нисколько не смущала обстановка, выцветшие голубые глазки смотрели весело, бело-розовое, как пастила, личико доброжелательно и спокойно. Догадаться бы, почему эта пара попала сюда? Что хранится в оттопыренных карманах разутого старика?

— Сегодня заходил Гуденко, — сказала Фанни. — Как в воду опущенный, с поджатым хвостом. И бравой выправки как не бывало.

— Если придет еще раз, скажи, что меня дома нет. Не имею никакого желания с ним объясняться.

— Вот и прекрасно. Нечего попусту волноваться. Но... — она вопросительно посмотрела на мужа, — все-таки он очень жалок. Понять бы, зачем это все?..

Он заглянул ей в глаза, положил руку на руку:

— Жалко? А мне ничуть. Это слизь, не человек. Слизь, она жалкая, но ее не жалко.

— И все-таки я не могу понять. Ведь он же взрослый человек! Ребенку ясно, какому риску подвергалась типография, если бы начали печатать фальшивые деньги...

— Думаю, что это его ничуть не волновало. Может, и деньги-то он вкладывал в Вольный фонд в расчете впоследствии превратить типографию в фабрику фальшивых ассигнаций.

— Но ведь он появился уже давно.

— Ну и что же? Он подыскивал себе компаньона-гравера довольно долго. А топор-то оказался под лавкой — Курочкин! Но как неуклюже, с какой тупой уверенностью, что любой согласится за деньги пойти на грязное

дело, он соблазнял наборщика! Дилетантская работа. Авантюрист-дилетант!

Ему понравилось это словосочетание, и он начал напевать:

— Он дилетант-авантюрист! Авантюрист и дилетант...

Фанни внимательно посмотрела на него и сказала:

— Что-то ты развеселился не к месту, и лицо горит. Здоров?

— Пока здоров, не болен, то всем доволен, — посмотрел победоносно и добавил: — Вот какие мы. Можем работать во всех жанрах.

— Не сомневаюсь. Только не хотелось бы, чтобы в жанре простуженного. Не нравятся мне твои глаза.

— Мои глаза видят сегодня как никогда ясно, — он вдруг вздрогнул. — Смотри-ка! Вон тот старик в носках вынул нож, завернутый в газету. Как это неприятно.

— Не все ли равно?

— Не спорь, это неприятно.

Фанни с удивлением посмотрела на него:

— Какая странная впечатлительность. Обыкновенный столовый нож.

Степняк остановил проходившего мимо официанта:

— Ваши клиенты всегда ходят в бар со своими столовыми приборами?

— Это вы про Маккензи? Он обедает у нас каждый день и всегда ругается, что ножи тупые. А теперь стал носить нож с собой. Немножко того... — и он покрутил пальцем около виска.

Фанни оказалась права. Когда вернулись домой, Степняк пожаловался на головную боль, свалился на диван не раздеваясь и впал в забытие. Вызывать врача было уже поздно, и Фанни с прачкой, задержавшейся до вечера, занялись приготовлением домашних снадобий.

Сквозь сон, как будто издалека доносился их спор о том, что лучше при лихорадке — чай из сухой малины

или стаканчик можжевельной водки? А потом голоса стали удаляться, уползать, будто скользили на полозьях саней по снежному насту. Замолкли, а он уже стоял в своей маленькой, беспощадно солнечной комнате в Питере на Пряжке и заворачивал в газету кинжал, подаренный Малатестой. Куда девать сверток? Нелепо нести в руках. Куда девать сверток? Эта мысль не давала покоя. Ведь все было обдуманно, рассчитано по минутам, и никто не подумал, куда девать сверток.

Баранников стоял на углу Итальянской, спокойный, в широкополой шляпе, сказал:

— Освободи руки. Сунь в карман.

Фу, как просто! Полегчало. Но оттопырился карман, и это мешало чувствовать себя незаметным. Но тут завихрилась пыль спиралью до облаков, и вороной конь крутым нарядным ходом промчался над землей. И грянул гром.

— Дженни! Вы разбудите его! — крикнула Фанни. — Раз уж вы остались ночевать, гладить совсем не обязательно. Уронили доску... Больным нужен покой.

— А где же Баранников? — спросил Степняк, не открывая глаз.

— Какой Баранников? Это Дженни уронила гладильную доску. Выпей малиновый настой. Теплый, теплый... Почти горячий.

О, этот терпко-сладкий вкус малины! Шурочка Малиновская говорит:

— Паспорта готовы. Пока пейте чай с малиновым вареньем. Малиновым, малиновым, как моя фамилия. А мы с Оболевшевым только сделаем печать. В Польше наши паспорта проходят безотказно.

Оболевшев стоит рядом — черные, гладкие, лакированные волосы на косой пробор, лицо монашески строгое, объясняет заботливо:

— В Польше вас встретят — и прямо к границе. А там контрабандисты в два счета...

Заботливый. Наивный. Не понимает, что не впервой же через эту самую границу.

Шурочка подкладывает варенье. Какая она кудрявая!

— Что гладишь меня по голове,— говорит Фанни.— Это я тебя должна. Ты у меня бедный, больной, ты у меня маленький...

Маленький мальчик пробежал по Михайловскому скверу. Маленький мальчик играл в серсо, ловил на палку ярко-желтые колечки, и серо-голубая шинель загородила мальчика. Генеральская шинель шефа жандармов Мезенцева. А карман-то оттопыривается. Как же так? Вынуть, развернуть? Как попку, как коробку конфет или новые ботинки? Развернуть кинжал. Разве разворачивают кинжалы?

Адриан Михайлов на углу. Он на козлах на Большой Итальянской, стрижен в скобку, соломенные волосы изпод низенького извозничьего цилиндрика, тупой равнодушный взгляд — настоящий ванька. Но как он спокоен! Варвар стоит как вкопанный. Изваяние. Когда же выйдет на прогулку генерал? Тупой, сытый, ненавистный... Нет, нет! Не надо ненависти. От ненависти дрожат руки. Но как развернуть кинжал? Дурацкая газета! Да он уже давно развернут. В Женеве. Оля Любатович принесла суп в большой голубой кастрюле из ближней харчевни. Щепок нет для печурки, чтобы разогреть. Приходится стругать какой-то чурбачок, найденный во дворе. У Оли большие глаза.

— Откуда этот кинжал?

— Мне подарил его Малатеста.

— И ты им же, тем самым, можешь стругать лучину, чтобы разогреть обед?

— Могу... Фанни, Фанни! Теперь бы не смог! Ничего не смог!

— Глупости какие. Чего это ты не сможешь? Ты все можешь, всегда можешь и будешь мочь. Это от жара. Так

кажется. А мы на голову холодный компресс, а к ногам горячую грелку...

Как хорошо наяву в комнате. Оказывается, он не в спальне? Как вошел в кабинет так и рухнул на диван. Не нести же его вниз на руках двум женщинам. И Паранька на коврик улеглась около дивана. И фонарь за окном освещает вывеску зеленой лавки. «Мир на земле и в человеках благоволение»...

— Я, кажется, выздоравливаю, Фанни. Просветление.

— От холодного компресса, милый. За два часа лихорадка не проходит. Потерпи, усни.

— Постараюсь.

Почему же снятся эти противные сны? Никогда прежде не было такого. Гнал от себя наяву воспоминания о событии на Большой Итальянской, а во сне бог миловал. Экая глупость: засел в голове старик с ножом в газете, впечатляющая деталь. Запомнить значение детали, когда руки дотянутся до романа. Деталь — реальность, доказательство, что так оно и было. Гарантия правды. А воображение? Оно несет с неудержимой силой.

— Фанни, — крикнул он, перевесившись с дивана. — Кто это говорил? Наполеон?

— Что говорил Наполеон? Жар у тебя. Тридцать девять. Может быть, уснешь?

— Наполеон или кто другой говорил, что хороший полководец должен быть начисто лишен воображения, потому что оно ежеминутно сбивало бы его с толку. Забавно? У нас было все — воображение, энтузиазм, вера...

— О чем ты, Сережа?

— О нас. Видишь нимб? Вон он, вон! В углу проступает. Это Соня...

Белый воротничок, сияющие лучики нимба над лицом школьницы-пансионерки. Сонечка... Коснуться бы рукой платья, стать на колени... Но он ползет, рвется в куски, белый воротничок, там толстая серая веревка...



— Пеньковый воротник!

На толстой тумбе афиша — «Софья Перовская» аршинными буквами. И дождь моросит, все сплывается. Да нет же, нельзя! Надо малярной кистью, чтобы навсегда — Софья Перовская!

— Проснись, Сережа! Ты хрипишь, что-то рвешь руками, скрутил простыню...

— Я не спал. Пеньковый воротник. Это же было, было!

— Было и прошло. Дай я сменю компресс.

— Не надо! Он холодный. Холодный, как кинжал.

Зелень в Михайловском сквере такая запыленная, седая, как щеки небритого старика. Дворняжка пробежала, черная с рыжими подпалинами. Позвольте, позвольте! Откуда же пальма? С блестящими листьями, с мохнатым стволом...

— Из трактира выставили, — говорит Баранников.

Какой сообразительный, спокойный. Вспомнилось, как он сказал, когда еще обсуждали подготовку к ликвидации Мезенцева: «Мне жандарма убить — что капусту рубить». И все решили, что он-то и должен быть сопровождающим. Страховать. Но где же генерал? Сказано, что каждое утро он совершает прогулку по Михайловской площади в сопровождении полковника Макарова. Черт его знает, в какой роли этот Макаров — охранителя или собеседника? Впрочем, какие могут быть сомнения, конечно охранитель. Он же всегда в штатском. Переодет.

Баранников зашел в какой-то подъезд, чтобы не мозолить глаза дворникам. Начали поливать улицу. Чего доброго, польют и генерала. Напоследок. Ах, нет ничего невыносимее ожидания! Грязная вода стекает с плит тротуара на мостовую. В детстве не верил ни в какие приметы, но боялся наступить на черту, отделяющую одну плиту от другой. Не надо наступать на черту. Как хорошо, что не думается о том, что через несколько ми-

нут... Вон он! Показался. Медвежья туша в серо-голубой шинели, а за ним Макаров в жандармском мундире. «А вы, мундиры голубые...» Почему не в штатском? Да это же не Макаров! Гуденко! Гуденко — жандарм?..

Идут рядом, разговаривают. Повернули обратно. При чем же тут Гуденко? Балбес, авантюрист Гуденко?..

Но вот он отстал. Не терять ни минуты! Прыжок... Отвратительно. Упругое и мягкое сразу...

Лети, Варвар, лети!

— У тебя озноб, — говорил Баранников.

— У тебя озноб. Я принесла стеганое одеяло, — говорит Фанни. Трясло, прямо-таки подпрыгивал на кровати. Может, в самом деле стопочку джина?

— Как я рад тебя видеть! Значит, ничего не повторилось.

— Хорошенькое дело — не повторилось! Новый приступ. Может, это малярия? Может, из Индии какую-нибудь лихорадку занесли? Кажется, малярия не заразная... Пожалуй, все-таки надо джина.

— Джина так джина. Качай, Басманная! Делай что хочешь. Мне хорошо.

Свеча горит под розовым стеклянным колпачком. Так спокойно...

Колеса стучат, как сербский бубен в палатке у сердара: «дихтили-дахтили», «дихтили-дахтили»... Уютный женевский домик, хозяйка в высоком чепце:

— Месье по утрам пьет кофе или чай?

Но вот беда: Стефанович носит его шубу с бобровым воротником. Вся Женева знает эту шубу, слишком полярную для этих краев. А кругом говорят, что Швейцария будет, наподобие Германии, выдавать России политических, если можно приплюсовать к инсургенту уголовщину. Бежать в Италию? Где наша не пропадала — пешком через Альпы! Лихо. Только пусть Стефанович продаст эту шубу и купит себе другую. Полиция местная не очень

разбирается в приметах. Достаточно и бобрового воротника. Только не хватает, чтобы из-за тебя пострадал другой. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»...

— Сережа! Ты смеешься? Тебе лучше?

— Совсем хорошо.

## ВСТРЕЧА ПОД МОСТОМ

— Подайте отставному офицеру pour boir, manger<sup>1</sup> и ездить в омнибусе.

Гуденко безошибочно узнавал русских в толпе посетителей театров и варьете на Пиккадилли. И надо сказать, что просьба о подаянии, пришедшая ему в голову в минуту полного отчаяния, действовала тоже безотказно. Русские подавали хорошо, не глядя на пенсы, а то и шиллинги, зачерпнутые в кармане. Беда только в том, что не так уж много русских в Лондоне.

Костюм его так же изменился, как и образ жизни. Он носил теперь русскую офицерскую фуражку без кокарды, выменянную у старьевщика на цилиндр, в придачу к красному мундиру зуава, плохо сходившемуся на его могучей груди.

Перемена в его жизни началась с того дня, когда Войнич посоветовал ему оставить попечение о Вольном фонде и не входить в объяснения с его учредителями. Он сунулся было к Степняку, не застал его дома и увидел в этом перст судьбы. Почему-то он был твердо уверен, что лондонские эмигранты знают об истинной причине, заставившей его попытаться превратить типографию в фабрику фальшивых денег. А как русские революционеры расправляются со шпиками и провокаторами, он узнал еще в Петербурге.

Благоразумие помогло ему до неприличия долго оття-

---

<sup>1</sup> Пить, есть (франц.).

гивать свидание с Рачковским. Он понимал, что фиаско с предприятием в типографии будет крахом его карьеры. И не ошибся. Рачковский был разгневан выше всякой меры. Назвал его олухом царя небесного, самодовольным неудачником, неспособным завоевать авторитет и симпатию даже у таких ротозеев, как лондонские эмигранты. Среди этого потока брани Гуденку больше всего поразил упрек в том, что он «небрежничал в донесениях». Не сообщал, с кем переписывается в России жена Степняка, какие связи у лондонцев с швейцарскими и французскими эмигрантами. Все это Петр Иванович знал досконально, вплоть до того, что у старого бакуниста Жуковского брат прокурор, отказавшийся в свое время выступать в процессе Веры Засулич, что Аксельрод и Плеханов, приехав на четыре дня в Лондон, посетили Энгельса и знакомство состоялось с помощью Степняка, и множество других подробностей, казалось бы не имевших к делу никакого отношения, вроде того, что Степняк любил столярничать и сделал кухонный буфет своими руками. Кому же придет в голову сообщать высокому начальству об этаких вещах? Энциклопедичность сведений Рачковского поразила его, но еще больше мучила мысль, что он, Гуденко, был не единственным внутренним агентом, приставленным к лондонцам. Как? Значит, он сидел за столом и пил чай, может, рядом со своим коллегой, который так же выискивал в каждой фразе собравшихся отзвук тайных замыслов и грядущих заговоров? Кто же он, этот комбатант<sup>1</sup>, этот конкурент по доноситељству? Загадка эта снова так поразила его, что на несколько минут он перестал думать о своем будущем. Тем временем Рачковский опять заговорил об уме и проницательности Новиковой, о том, что она сразу раскусила «полезного человека», как аттестовал его сам Рачковский. Он сказал:

— Если вам было угодно мистифицировать ценную

---

<sup>1</sup> Соратник (здесь — иронически).

для нас особу письменными дифирамбами Степняку, пусть это останется на вашей совести. Но неужели вы не могли снять копий с писем Короленко? Не хватило элементарного политического нюха?

— Но их там не было!

— Надо было знать, где они находятся. За это вы получаете жалованье.

Упоминание о жалованье заставило Гуденку вздрогнуть. И не зря. Рачковский объявил, что он больше не нуждается в услугах такого халатного сотрудника, и посоветовал немедленно возвращаться на родину, где у него, возможно, будут некоторые шансы сделаться внешним агентом в Питере. На прощанье припугнул:

— Не советую идти с покаянием к вашим бывшим подопечным. Вас выслушают, вывернут наизнанку, выпотрошат из вас все сведения о нашей работе, а потом... Вспомните судьбу Рейнштейна и Судейкина. Ваши бывшие друзья ничего не прощают.

Просьбы снова отправить его в Америку или в Париж ни к чему не привели. Рачковский хотя несколько остыл и говорил с брезгливой снисходительностью, но был неумолим.

Понадобилось всего пять месяцев, чтобы превратиться в нищего бродягу.

Падение произошло не сразу, но вниз он катился с неуклонной стремительностью. У него хватило решимости на другой же день после разговора с Рачковским покинуть свой унылый, но комфортабельный пансион и снять грязную конуру в Уайтчепеле, но стеснять себя по части выпивки и прочих телесных радостей было выше его сил. Последовали займы у посольского дьякона, у шифровальщика, он даже написал письмо в Нью-Йорк. Жена не ответила, а тетка прислала пятнадцать долларов и полное благочестивых назиданий письмо... Ослепительные жилеты и белье голландского полотна оптом и в розницу ухо-

дили к старьевщику. Попытка пристроиться к докерам тоже не увенчалась успехом. Он оброс бородой, белокурой и лохматой, которую зачастую приходилось расчесывать пятерней, неделями не умывался, испытывая отвращение к самому себе. И пил, пил при малейшей подачке, когда случалось открыть дверцу кареты какой-нибудь дамы или выклянчить подавание у русских туристов.

С ужасом он убеждался, что у нищеты нет дна. Его еще держали в конуре, а многие вокруг ночевали на грудах мусора на свалках. Он еще носил замызганный мундир зуава, а жители его квартала зачастую прикрывались тряпьем, состоящим из одних дыр, сквозь которые просвечивало голое тело. Ни в каких кошмарах не могло прежде присниться убожество лондонской бедноты.

Страх смерти мешал ему написать Рачковскому, уже давно отбывшему в Париж, попроситься на должность внешнего агента. Не было ли тут ловушки? Долго ли пришить незадачливому агенту какое-нибудь дельце и отправить в Якутию?

Он лежал на спине, закинув руки за голову, смотрел на тяжелые, пышно взбитые облака и теперь уже с тупой покорностью думал о несправедливости судьбы.

Постепенно мысль о не оцененных судьбой его добродетелях прочно завладела им. В часы досуга, остававшиеся от забот о пропитании, он неизменно возвращался к ней. Однажды в сильном подпитии он даже отправился к Степняку, презрев угрозу разоблачения и страх мести. В окнах было темно, хозяева, по-видимому, отсутствовали, и, испытав облегчение от того, что сама судьба снова спасла его от опасности, он удалился восвояси, даже не дернул шнур колокольчика.

В другой раз он отправился к нему в приступе отчаяния, просто чтобы занять денег. Застал дома одну Фанни, смутился и сбежал, не переступая порога.

И все же желанная и пугающая встреча состоялась в ноябрьский вечер, когда Степняк возвращался из доков, под мостом Ватерлоо.

Они столкнулись лицом к лицу. Степняк узнал его не сразу — всклокоченная борода, рваная одежда, лоснящееся от грязи лицо и только прежние широко расставленные, наивные вопрошающие глаза и выпяченная с неуместной надменностью богатырская грудь.

— Что с вами? — вырвалось у Степняка.

— Жрать, — ответил он и опустил глаза.

Негодование, недоумение, отвращение — все это давно остыло, перегорело. Сейчас Степняк видел человека глубоко несчастного, опустившегося на самое дно, голодного. Он не мог ему не помочь. Проще всего было бы сунуть деньги. Но денег было так мало, что это выглядело бы как нищенское подаяние, а накормить в каком-нибудь злом месте он, пожалуй, мог.

По счастью вблизи на набережной виднелась вывеска какой-то харчевни, из открытых дверей доносились протяжные звуки губной гармоники и пиликанье скрипки.

— Пошли, — сказал Степняк, указывая подбородком на открытую дверь.

И они молча поднялись по ступеням набережной.

Ели тоже молча. Вернее, ел один Гуденко, постепенно багровел и вытирал губы тыльной стороной ладони, Степняк очень медленно потягивал эль из глиняной кружки. Наконец он не выдержал и спросил:

— Зачем вы так долго и упорно рисковали?

Гуденко поперхнулся, весь съежился, но, оправившись, спросил не без гонора:

— Что вы называете риском, позвольте спросить? Чем я, по-вашему, рисковал?

— Деньгами. Ведь на деньги, что вы вложили в Вольный фонд, можно было бы прожить целый год и заняться в конце концов каким-нибудь делом. А вместо того...

— Откуда вы знаете, вместо чего?

Он навалился локтями на стол и пытался сверлить Степняка наивными, уже помутневшими от эля глазками. Но тот отмахнулся.

— Ну зачем теперь юлить и запираяться? Наши отношения кончены и никогда не возобновятся. И если я сейчас оказался рядом с вами, то только из... — он запнулся. Хотел сказать из сострадания, но удержался, — из пустого любопытства. Хотя и так все довольно ясно. Вы тратили остатки своего состояния, чтобы потом немедленно феерически разбогатеть, выпуская фальшивую монету. Но это же совершенно детская авантюра. Поспешная, нелепая! Вы потратили массу времени, чтобы втереться к нам в доверие, начали с Америки. А потом, не спросясь броду, кинулись в воду. Согласитесь, это глупо и бессовестно. И потом...

Девушка в черном платье, подпоясанном широким кожаным кушаком, в черной накидке и плюшевой шляпке, похожей на котелок, подошла к ним в сопровождении дюжего молодого человека с Библией в руках.

— Даже самые последние, — сказала она тонким голосом, — погрязшие во зле грешники, обращаясь к всевышнему...

— Обратитесь к чертовой бабушке! — свирепо вскинулся Гуденко. — Брысь!

По-видимому, девушка поняла незнакомое восклицание и испуганно метнулась к соседнему столику, а дюжий молодой человек неразборчиво пробормотал что-то о нераскаившихся грешниках и тоже последовал за ней. Не слушая его, Гуденко продолжал:

— Вы, кажется, сказали «бессовестно»? Я не ослышался?

— Ничуть. Не могу себе представить, что вы не понимаете, чем угрожало ваше предприятие всем нам. Каторгой, виселицей в России, позором для всего революцион-



ного движения, полной компрометацией всех наших английских друзей. Вы могли рисковать собственной судьбой, но какое право у вас губить десятки невинных? Вот что я называю бессовестностью!

Гуденко сидел, откинувшись на спинку стула, по-наполеоновски скрестив руки на груди, и с зловещей улыбкой смотрел на Степняка. Кто-то сильно хлопнул входной дверью, и газовый рожок на тонком шнуре закачался, то освещая его лицо мертвенным зеленым светом, то превращая его в зверскую черную маску.

— А вам не приходилось губить невинных? — спросил он, не переставая улыбаться.

— Вольно или невольно я, должно быть, в жизни делал много плохого, но в этом неповинен.

— А кошечка? — теперь уже со своей обычной ангельски невинной улыбкой спросил Гуденко.

— Какая еще кошечка? Вы в уме?

— Я-то в уме. А как сходила с ума Александра Николаевна Малиновская, рисовальщица, паспортистка, вы осведомлены? Могу пролить свет. Не сразу это с ней приключилось, не сразу. Она в предварилке просидела почти два года. Натурально, допросы — что известно по делу об убийстве Мезенцева. Кто да что, откуда лошадь, чей кинжал? Стойкая барышня. Не отвечала. А и отвечала, так путала. А нервы за такой срок сдали. Сначала ей из угла камеры стали приходить друзья. Может, и ваш облик являлся, хотя вы в то время в Швейцарии благоденствовали. Галлюцинации. Для них пространства не существует. А потом покинули ее друзья и из того угла повадились враги — жандармы там, следователи, может, и сам Плеве, и прочая нечисть. Тоже плод расстроенного воображения. Но она уже этого не понимала и хотела на себя руки наложить. Но не удавалось. И тогда барышня придумала защиту. Нарисовала страшную кошку с оскаленным ртом, ошестинившуюся, с выпущенными когтями.

Галлюцинации пропали. Но и барышня тоже. В Казанскую тюремную психиатрическую попала. Прямым трактом.

— Откуда вы это знаете? — крикнул Степняк. — Выдумали?

У него было такое чувство, как будто снова навалилась на него недавняя лихорадка и ночные кошмары, и пот проступил на лбу и мучительно хотелось проснуться, а Гуденко, так же невинно улыбаясь, отвечал:

— Разве такое выдумаешь? Мы не писатели, фантазировать не умеем.

— Откуда же?.. — потерянно спросил Степняк.

— Докладывали. Ближайший помощник полковника Селиверстова, правая рука...

Он не мог не заметить, с каким выражением слушал его Степняк, и, наслаждаясь его отчаянием, продолжал:

— А Обошешев?

— Что Обошешев? Я его мало знал.

— Зато он вас знал слишком хорошо. Боготворил, по-видимому. И дорого расплатился за своего кумира. Жизнью. Ни больше ни меньше.

— За меня?

— Представьте себе. Именно за вас.

Степняк вытер пот со лба. Можно ли верить этому проходимцу? Сомнений нет — это месть. Вот так он расплачивается за свое провалившееся предприятие. Но откуда подробности? Кошечка? Он прав, конечно, он слишком бездарен, чтобы выдумать такое. Может, где-нибудь вычитал? И при чем Обошешев?

— Брехня, — сказал он не очень уверенно.

— Конечно, так приятнее думать, но факты остаются фактами.

— Какие факты? Что Малиновская была арестована и сошла с ума, я знал раньше вас.

— Допустим, хотя и неправда. А шесть анонимных писем?

— Кому?

— Его величеству государю императору Александру Второму.

— Прекратите этот бред. Вы что-то слышали краем уха. Остальное — брехня.

— Не думал я, что вы такой слабонервный.

— Меньше всего меня интересуют ваши оценки.

— Зря вы так. Я о вас много думал и... щадил вас.

Гуденко наслаждался. Он ничуть не сожалел, что выдает себя. Минутная радость власти над этим сильным, спокойным, известным, даже знаменитым человеком опьяняла его, заставляла забыть все тревоги. Вот он, день реванша! Он видел смятение Степняка, хотя тот и старался держаться спокойно, только непрерывно комкал бумажную салфетку да слишком часто ерошил волосы.

Налюбовавшись Степняком, Гуденко снова начал свой бессвязный ёрнический рассказ:

— Барышня-то, собственно, не на вашей совести. Барышня — это гарнир. Основное блюдо — Сабуров.

— Какой еще Сабуров? Долго вы собираетесь морочить мне голову?

— Сколько вам будет угодно слушать меня.

— Тогда прекратите этот бред и рассказывайте все по порядку. Только без вранья.

— Идет. Но без полштофа здесь не разберешься. История путаная. Третье отделение в ней полтора года разбиралось. И вынесло решение в противовес всем юридическим нормам, но зато во вкусе азиатских деспотов, как вы изволите называть царствующих на нашей родине императоров.

— Я жду, — сказал Степняк и отвернулся от Гуденки.

— «Два голубя, как два родные брата жили, а где же тут с наливкою бутылки?» Знаете, чьи это стихи? Козьмы

Пруткова стихи. Любимое гусарское присловие. Так где же они в самом деле?

Степняк смутился:

— Боюсь, что я не смогу расплатиться.

— А вы не стесняйтесь. Здесь принимают натурой, а также и в залог, — сказал обнаглевший Гуденко и бесцеремонно схватил его за руку. — Колечко обручальное имеется? Ах да, гражданский брак, дань вольномыслию. Тогда можно предложить часики. Тоже нет? Не много же вы нажили на литературных трудах. А если сигарочницу? Сойдет и черепаховая.

Бармен в грязном фартуке, поморщившись, взял портсигар в обмен на бутылку эля.

Было поздно. Харчевня почти опустела, уже потушили большую карселевую лампу посреди комнаты, и только в глубине над стойкой горели два рожка.

Гуденко оглянулся и спросил все с той же ласковой улыбкой:

— А не страшновато будет с вашим чувствительным сердцем в таинственном зловещем полумраке?

— Хватит! — стукнул кулаком по столу Степняк.

Он давно бы ушел от этого жалкого и торжествующего типа, наслаждавшегося обладанием какой-то тайной, но все семнадцать лет, какие он прожил в эмиграции, его не переставало мучить сознание своего неравенства с теми, кто погибал на виселицах, на каторге, в ссылках, хоть и не было в этом его вины, а была лишь удача. Незаслуженная удача, как он считал. И бессвязные, егозливые намеки Гуденки, что кто-то пострадал именно из-за него, заново ударили как обухом по голове. Он должен был смотреть правде в лицо.

— Если вы хотите, чтобы я вас выслушал, — а я вижу, вам это доставит огромное удовольствие, — рассказывайте все по порядку и перестаньте ёрничать, — сказал Степняк, стараясь казаться спокойным.

— Не долго ли будет — по порядку? — задумчиво спросил Гуденко и щелкнул пальцем по бутылке.

— Не беспокойтесь. Вам хватит до полуночи. Я не компаньон.

Глазки Гуденки злобно блеснули.

— Брезгуете? Зря. Ну ничего, рассчитаемся по ходу беседы. По порядку так по порядку.— Он налил эль в пивную кружку, глотнул, поморщился и начал таинственно-тихо.— После вашего, так сказать, героического акта на Большой Итальянской друзья ваши, возмутители спокойствия, конечно, ликовали, но и переполошились. Испытывали изрядный дражемент в ожидании возмездия. Но в третьем отделении жандармского управления наверняка переполошились еще больше. Хватали встречного и поперечного, сажали под арест по малейшему подозрению, день и ночь скрипели перья в канцелярии — записывали показания очевидцев. А они — вразброд. На редкость противоречивые показания. К примеру, некий полковник Массюра-Териани показал, что за два дня до происшествия он гулял в Демидовом саду и разговаривал с генералом Мезенцевым. А когда кончил, подошел к нему весьма прилично одетый молодой человек, в темном пальто, в цилиндре, довольно высокий, плотного сложения, темноволосый, в усах, с эспаньолкой, и попросил указать ему среди гуляющих генерала Мезенцева. Обозрев такового, быстро удалился.— Он поглядел на Степняка наивным взглядом и спросил: — Вы носили эспаньолку?

— Собираетесь вести следствие задним числом?

— Избави бог! Просто подумал: к лицу ли? А вот баронесса Гейкинг, вдова штабс-капитана, убитого в Киеве, та сама явилась с сообщениями. Заявила, что четыре дня подряд видела в Летнем саду бежавшего из киевской тюрьмы арестанта Дейча. Дала точный портрет — блондин, коротко стриженный, в очках, в светло-сером пальто.

Ей почудилось, что он наблюдает за Мезенцевым. Тот ходил ежедневно в Летний сад завтракать, но она не совсем была уверена, что наблюдал за ним именно Дейч. А когда утвердилась в своих подозрениях и поспешила сообщить Мезенцеву, как раз четвертого августа, тот уже сыграл в ящик. Вот ведь как опасны длительные колебания. Как по-вашему?

— У вас какой-то запоздалый интерес к моим мнениям, да и вообще к моей особе,— пробормотал Степняк, всем своим видом показывая, что он не желает отвечать на вопросы.

Гуденко, не смущаясь, продолжал:

— А вот допрошенный чиновник Греков показал, что по дороге на службу хотел присесть на скамейку в Михайловском сквере, но белокурый молодой человек, сидевший там, столь высокомерно посмотрел на него, что он сел поодаль. Рядом с белокурым был брюнет с пышной шевелюрой. Вскоре они удалились, а минут через семь раздался выстрел. А ведь вы вонзили кинжал? Ах да, Баранников стрелял в сопровождавшего генерала полковника Макарова, который замахнулся на вас зонтиком. Стрелял, но промахнулся.

— К чему вы все это? — раздраженно спросил Степняк.

— А для полноты картины. Говорю, что запомнилось.

— У вас подозрительно хорошая память.

— Подозрительно? Это уж вы напрасно. В 1878 году я еще в кадетском был, маршировал на плацу и строчил шпиргалки перед экзаменами. Но не будем уклоняться от сути дела. Я только хотел дать понять, что подобных сообщений было множество. Обезумевшие жандармы хватали брюнетов с эспаньолками, блондинов в светло-серых пальто, шатенов с пышными шевелюрами. Но всем им после долгих мытарств удавалось доказать свою непричастность к происшествию. Третье отделение бродило в потемках. Временно исполняющий должность шефа жан-

дармов полковник Селиверстов послал государю семнадцать донесений, в которых живописал свои энергичные, но бесплодные розыски. В них описывались бесчисленные и бессмысленные аресты лиц, к делу совершенно непричастных. Недовольство покойного царя-батюшки Александра Второго росло, а потемки по делу Мезенцева не только что не прояснялись, а становились все гуще, хотя прошло уже почти два месяца со дня гибели шефа жандармов. Тут вдруг генерал-майор Черевин, находившийся в свите царя в Ливадии, сообщает депешей, что в Царском Селе проживает рисовальщица Малиновская, связанная с лицами, виновными в смерти генерала. Представляете? Афронт для третьего отделения полный. Сам император всея Руси, пребывающий в далекой Таврии, оказался лучше осведомленным о месте жительства преступников, чем те, кому это знать надлежит.

Гуденко передохнул и посмотрел на Степняка, проверяя, достаточный ли эффект произвели его слова. Тот сидел, немного отодвинувшись от стола, опершись двумя руками на трость, упираясь подбородком в сложенные руки. Лицо его было непроницаемым и показалось Гуденке даже сонным.

— Маленький, можно сказать, ничтожный реванш полковник Селиверстов взял на том, что адрес оказался неверным. Не в Царском Селе жила в то время Малиновская, а на Обводном канале. О чем спустя два дня была послана депеша в Ливадию, а кстати, в ней же сообщалось, что особа эта взята под наблюдение. Это уточнение не спасло Селиверстова от недовольства царя, и впоследствии он утвердил на должность Мезенцева не его, а Дрентельна. Но тайна осведомленности обитателей Ливадийского дворца вскоре открылась. В ящичке хранилась эта тайна. Знаете, на Зимнем есть известный ящичек для просьб и жалоб? Вот туда-то опустил некий аноним свое послание. И самое интересное, что до события с Ме-

зенцевым ему и дела не было. Вот как российский обыватель относится к вашим подвигам.

Он посмотрел на Степняка в надежде вызвать у него взрыв негодования или хотя бы возражение, но тот по-прежнему хранил молчание. И, несколько разочарованный, Гуденко продолжал:

— Загадочный этот аноним сводил какие-то непонятные счеты с Малиновской, а еще больше — хотел насолить ее приятелю Николаю Федоровичу Анненскому, известному в Петербурге либеральному деятелю, к тому же женатому на родной сестре печально известного Петра Ткачева. Насколько я понимаю, тоже из вашей братии? Друг и последователь Нечаева?

— Плохо вы понимаете. Во всем разбираетесь плохо, кроме интриг в жандармском управлении, — вяло заметил Степняк.

Теперь он слушал Гуденку с ощущением человека, как бы вернувшегося с того света и узнающего, что случилось после его смерти. Это была смесь изумления, разочарования, любопытства и отвращения.

Гуденко неторопливо отхлебнул из кружки и снова начал:

— После загадочного послания пошли поголовные аресты лиц, находившихся под наблюдением. Малиновскую сначала не трогали, рассчитывали накрыть у нее целое сборище, но выдержки не хватило. Как же! Сам царь следит за ходом дела. Устроили у рисовальщицы обыск, а жившая у нее на квартире Коленкина, тоже из ваших, поторопилась и два раза выстрелила в жандармского подполковника, разбиравшего бумаги. Вы ведь на этот счет простые: судьба — индейка, а жизнь — копейка. Но девица промахнулась, пистолет не кинжал. Естественно, обеих в кутузку. Потом до Адриана Михайлова добрались, того самого, что у вас кучером был. Надо думать, что этого деятеля вы не могли забыть. И дальше ниточки



потянулись — взяли Оболенева, что жил под фамилией Сабурова и фабриковал для вашего брата заграничные паспорта. Загадочный аноним не прекратил свои доносы и сообщил в следующем письме, что среди арестованных за последнее время находится и убийца Мезенцева — Кравченский. Надо сказать, что во всех письмах ваша фамилия перевиралась именно таким образом. Не обидно ли? Нынче вашу фамилию вся Европа знает, ну пусть псевдоним, а Александр Второй, император всея Руси, так и отдал богу душу, считая вас каким-то Кравченским.

— Прекратите! — брезгливо поморщившись, пробормотал Степняк.

— Аноним этот много напутал, — будто не расслышав, продолжал Гуденко. — Он забрасывал письмами Ливадию и настойчиво утверждал, что среди арестованных находится Кравченский. Спросите, зачем ему нужно было это? А вот зачем. Письма он писал, чтобы напакостить своим недругам — Анненскому, Малиновской, припутал еще какого-то Зиновьева, будто бы работавшего в третьем отделении и выдававшего секретные сведения возмутителям спокойствия. До Кравчинского ему дела не было. Он его знать не знал, в глаза не видел, но понимал, что это главная приманка для жандармов. А третье отделение, слепо доверившись царскому корреспонденту, безуспешно искало вас среди арестованных. Наконец их выбор пал на Сабурова. Он единственный из всех подследственных не открывал своей фамилии — Оболенев. Умные головы и решили, что за Сабуровым и скрывается Кравчинский. Ну а что Сабуров небольшого роста, тщедушный шатен с гладкими волосами, а вы, даже по сбивчивым описаниям очевидцев, эвона какой богатырь — это никого не волновало. Помилуй бог! Царь считает, что Кравчинский в застенке, а он, видите ли, любуется на Женевское озеро! Впрочем, это для красного словца. Тогда ваше местопребывание еще не было известно.

— Хотел бы я знать, сколько в вашем рассказе правды, а сколько для красного словца? — спросил Степняк.

Он защищался не от Гуденки, а от самого себя, потому что с каждой подробностью убеждался в полной достоверности его рассказа. А верить ему не хотелось.

— Не думал я, что вы такой недоверчивый. Ну судите сами, зачем мне увлекать вас своим красноречием? Тут, как поется в одном романсе, «не одно воспоминанье, тут жизнь заговорила вновь». А жизнь, сами знаете, страшная штука.

Он посмотрел на Степняка с нескрываемой злобой, но тут же опустил глаза, взялся за бутылку, поглядел на свет, много ли осталось. Почему-то пополоскал в ней эль, налил в кружку, но пить не стал.

— Так вы сказали, что мало знали Оболенева? Трудно поверить.

— А вы и не верьте. Я не собираюсь вас ни в чем убеждать.

Но Гуденко уже не обращал внимания на реплики собеседника, он подходил к самому пику своего рассказа, предвкушая эффект и отдаляя его, чтобы полнее насладиться финалом.

— А впрочем, пожалуй, и можно поверить, что вы и не знали этого рядового вашей революционной армии. Что я говорю — рядового! Начальник паспортного бюро должен считаться по меньшей мере штабс-капитаном. Но все равно против него вы-то — полный генерал. Еще бы! Освободили отечество от злейшего врага свободы. Надо думать, что Оболенев-Сабуров так о вас и понимал. Для чего ему скрывать свое настоящее имя, если бы он не понял из прозрачных намеков следователей, что в нем подозревают Кравчинского? Вел он себя геройски, подобно христианскому мученику. Вы не представляете, на какие ухищрения шли следователи. Известно было, что Сабуров человек одинокий и никаких передач и писем не полу-

чал. Так изобразили, что будто некий арестованный, уже выпущенный на свободу, передал для него двадцать пять рублей. Как говорится, на табак и на чай. Надо было только расписаться в получении суммы, а там уж жандармские графологи разобрались бы, чья рука сделала свой росчерк. Оболезев отказался от денег, лишь бы себя не обнаружить. Не знаю, представляете ли вы, что значит сидеть в предварилке без помощи с воли. Вы ведь удачливый. Как говорится, родились под счастливой звездой...

Он попытался заглянуть в глаза Кравчинскому, но тот сидел, низко опустив голову, непривычно ссутулившись. Неузнаваемый силуэт в полумраке грязной харчевни.

— И еще одна существенная подробность — он не давался фотографироваться.

— Разве это возможно? — чуть слышно проронил Степняк.

— А то как же! Делайте гримасы, всякие там рожи, и карточка получится шевеленная. Родная мать не узнает. Но следователи не сдавались. Не поверите, что они придумали — четыре жандарма держали за голову Оболезева, а он... — для большего эффекта Гуденко остановился и отхлебнул из кружки, — он высунул язык и зажмурился. И получились на снимке четыре здоровенные пятерни, а между ними голова повешенного. Провиденциальный снимочек, как бы предваряющий приговор суда.

— Вы врете! — закричал Степняк. — Оболезев не был казнен! Я слышал...

— А разве я сказал, что казнен? Я только о приговоре. А до него Оболезев почти два года просидел в предварилке. И все два года его пытали допросами, а он не открывался. Пустили в ход козырного туза. Говорят, что сам диктатор Михаил Тариелович Лорис-Меликов соизволил посетить его камеру, не побрезговал. Обещал помилование, если откроется, дал неделю на размышление.

Из-за этого и назначенный суд на неделю отложили. Уж очень не хотелось разочаровать государя императора, что не пойман преступник. Однако Сабуров-Оболешев не поддался на уговоры ласкового диктатора, тот взбеленился, пригрозил виселицей, но не испугал. Тайна не была раскрыта. И представьте, суд вопреки всем статьям и законам, карающим за подделку заграничных паспортов несколькими годами каторги, приговорил Оболешева к смертной казни. Никто не мог понять причину такой вопиющей несправедливости. Повторяли навязшую в зубах фразу, что в нашей стране закон что дышло — куда повернули, туда и вышло. Но тут случился маленький поворот судьбы Оболешева. Объявился его родной брат, кавалерийский офицер, и опознал своего единокровного. Спрашивается, за что же его на перекладину? Сенат заменил смертную казнь двадцатилетней каторгой. Каково милосердие? Помню, у нас в полку один штабс-капитан любил говорить: лучше конец без мучений, чем мучения без конца. Впрочем, конец мучениям несчастного Оболешева пришел довольно скоро. Он ведь чахоточный был. Тщедушный, слабогрудый, скончался через несколько месяцев после суда в Трубецком бастионе.

Он повернулся и, глядя во тьму опустевшей харчевни, сказал:

— Так кто же, по-вашему, виноват в гибели невинных?

## ОГНЕННЫЙ ГЛАЗ

— «Ощёрых дней сухая меледа́»... «Ощёрых дней сухая меледа́»...

— Что ты бормочешь, Сережа? — спросила Фанни.

— Так. Вспомнилось.

К нему привязалась строчка, вычитанная когда-то в тощем сборничке стихов полуграмотного тверского ку

чика, насмешившая бессмыслицей, подбором нелепых слов. Забылась. А теперь вдруг возникла, назойливо вертелась на языке и стала казаться полной тайного, неразгаданного смысла, как нельзя более подходящего к дням этой мутной, слякотной зимы. А меж тем дни эти снова были полны радостной кипучей деятельности.

С удвоенной энергией он ринулся в хлопоты по изданию новой газеты «Земский собор». Идея земского собора возникла года два назад. Он призывал к созыву его во время голода, охватившего Россию в 1892—93 годах в своей брошюре «Чего нам нужно?». Только обдуманное, взвешенное решение всенародного собрания — земского собора — будет выходом из национальной катастрофы, писал он тогда. И его призыв находил отклик у многих.

Среди русских эмигрантов, рассеянных в Европе и Америке, существовало множество кружков и течений, так же как и среди либеральных кругов в России, но большинство из них были готовы поддержать мысль о созыве всенародного и полномочного парламента — земского собора. Однако осуществление идеи невозможно.

Но если нельзя созвать в деспотической, разоряющейся стране земский собор, то можно создать газету «Земский собор», которая вместит в себя мнения всех оппозиционных сил в России и за границей. Издавать газету должен был Фонд вольной русской прессы. В ней дали согласие сотрудничать русские и английские писатели и публицисты, Плеханов, по-прежнему живший в Швейцарии, Георг Брандес — датский литературовед и публицист, Лафарг и многие другие. Предполагалось широко освещать наболевшие вопросы русской общественной жизни, проблемы русского и международного революционного движения. Надеялись, что впервые предприятие Вольного фонда будет поставлено на широкую ногу. Русские либералы обещали газете субсидию в десять — двенадцать тысяч ежемесячно.

После ошеломившего его разговора с Гуденкой в харчевне у моста Ватерлоо жизнь его как бы раздвоилась. Теперь это была не прежняя ностальгия, где милые сердцу воспоминания о бурной юности перемежались со смутным ощущением невольной вины перед товарищами. Теперь эта вина как бы выкристаллизовалась и не давала забыть о себе.

Что же двигало Оболеншевым, этим хилым, слабогрудым, тихим юношей, во время двухлетнего заперательства в доме предварительного заключения? Желание навсегда похоронить имя убийцы Мезенцева? Дать ему время скрыться, а затем снова ввергнуться в очередное предприятие? А может, просто предоставить ему возможность выжить, существовать, наслаждаться жизнью? Умереть в Трубецком бастионе, чтобы тот, другой, почти незнакомый, счастливый, удачливый, мог радоваться солнцу, ветру, любимой женщине, любимой работе, любимым друзьям, своим успехам?..

Он пытался бороться с собой. К черту рефлексию! Все это домыслы подлого Гуденки. Он просто хотел во что бы то ни стало отомстить за свой провал и чутьем угадал уязвимое место. Все могло быть иначе. Меняются времена, меняются поколения, меняется поведение людей.

Услужливая память подсказывала долгие ночные беседы с Короленко, приехавшим в Лондон. Это были даже не беседы — размышления писателя вслух. Находившись за день по лондонским улицам, паркам, дворцам, музеям, пытаясь вникнуть в чуждую, еще недоступную жизнь, к вечеру придя к Степняку, он говорил о России, вспоминал годы ссылки. Слушая его рассказы о случайных встречах в пересыльных тюрьмах, на этапе, Степняк думал тогда о том, что нет неинтересных людей. Неинтересны только те, кому ничто не интересно. Рассказывал Короленко и о новом типе молодежи, появившемся в начале восьмидесятых годов. Среди них был и некий Петя Попов

неказистый, белобрысый курносый мальчик с неотразимым чувством юмора и детской отвагой. Его припутали в свое время к делу, связанному с убийством провокатора Рейнштейна. По этому делу была создана специальная комиссия. Расследованием занимались высокие чины, и один из подследственных молодых людей не то чтобы оказался предателем, но счел своим долгом дать самые откровенные показания и таким образом впутал в дело и правых и виноватых. Когда Попову предъявили на комиссии протокол этих показаний и потребовали чистосердечных признаний, он ответил, что еще не выработал твердых политических взглядов, но со школьной скамьи питает глубокое отвращение к доносам. Пытка допросами продолжалась больше года, но из Попова так и не исторгли оговора товарищей.

Другой такой же юный участник одного петербургского революционного кружка, Швецов, когда в Питере начались аресты, был отправлен в Тифлис — переждать опасное время. Там он немедленно вошел в кружок князя Орбелиани и был вскоре арестован и посажен в Метехскую крепость. Однажды в его камеру вошел картинно красивый офицер в черкеске с газырями и белой папахе. По-хозяйски небрежно бросил на стол папаху и сказал:

— Молодой человек, вы попали в опасную компанию, вам грозит длительное заточение. Но вы можете изменить свою участь, если расскажете все, что знаете о князе Орбелиани и о всех причастных к его кружку.

Швецов был вспыльчив. Он заорал:

— Возьмите свою папаху и убирайтесь вон! И никогда не являйтесь к честным людям с подлыми предложениями!

Офицер в белой папахе оказался великим князем Михаилом Николаевичем, а Швецов очутился в карцере, в Метехском подземелье, откуда вышел через неделю с гнойным плевритом.

Рассказывая эти истории, Короленко подводил к тому, что у каждого поколения свои представления о чести и нравственности. Многие аристократы декабристы высказывались с преступной откровенностью, нисколько не щадя товарищей, и униженно молили Николая о пощаде. Ничуть не лучше держались и многие петрашевцы. И дело тут не в подлости человеческой, а в гипнотическом обаянии, какого еще не потеряла государственная власть и сама фигура самодержца, как бы олицетворяющая родину. Как это ни дико теперь кажется, но именно патриотическое чувство требовало от человека говорить всю правду, не щадя никого. Позже, в шестидесятых, этого уже не было, но даже Писарев, клеймивший самодержавный строй и его главу в статье о Шедо-Ферроти, считал сообразным со своим достоинством подать прошение о помиловании, объясняя статью своим легкомыслием и молодостью.

Иное дело семидесятые и восьмидесятые годы. Иные времена, иные нравы, иное понимание патриотизма. Наступила пора, когда не только откровенность с властями, но и просьбы о помиловании считались великим унижением.

Помнится, Владимир Галактионович так попытожил рассуждения:

— И мне кажется лучшим предвестником гибели строя именно это отношение к нему побежденных.

Так почему же надо считать, что Оболенцев шел на терзание следствием, на смертную казнь, замененную двадцатилетней каторгой, ради кого-то другого, а не ради своих нравственных представлений? По таким принципам жили десятки его единомышленников и сверстников...

Постыдное утешение! Ведь приговор-то, по сути, вынесен убийце Мезенцева, некоему Кравчинскому-Кравченскому, скрывающемуся под псевдонимом Сабурова. И жестокость его определена самодурством Александра Второго, желающего считать преступника пойманным. (От



вины не уйдешь. Если числишь себя виноватым перед всеми погибшими и томящимися в застенках, то какова же вина перед тем, кто хотел заслонить тебя собой?

И ничего нельзя изменить. Остается одно — работать, работать, работать...

Роясь в бумагах в поисках записи со слов Короленко о Мышкине, где он говорил об искренности его необычайной, Степняк наткнулся на обрывок письма к Анне Эпштейн, к Анке. Письма давности чуть ли не двадцатилетней. Со всем пылом писал он тогда: «Одно есть счастье в мире и одно несчастье. Это — мир со своей совестью и отсутствие мира с совестью. Все, все остальное — вздор и пустяки. Все можно перенести, не поморщившись, не сморгнувши глазом, все, кроме этого».

Что же, и сейчас двумя руками можно расписаться под этим юношеским кредо. Но так ли ты жил, как обещал, как считал должным?

Когда это началось? Недавно Шишко, товарищ по артиллерийскому училищу, выразился несколько высокопарно, будто в училище Кравчинский отличался «сосредоточенно-революционным настроением». А если попросту — рос на дрожжах Чернышевского и Добролюбова. А еще кружила голову история французской революции, ее герои, каким можно уподобиться.

После училища год в окружной фейерверкской школе под Харьковом — стиснутые зубы, лямка армейская, ни друга, ни единомышленника. Только и было, что гордился своим одиночеством. Не держал в комнате ровно никакой мебели, кроме одной табуретки, на которой сам и сидел. Гостю там не засидеться.

Через год — в отставку. И в Питер, в Лесной институт. О, каким педантом, ригористом он был по первому году в институте! Вставал и ложился спать минута в минуту, занимался по часам, даже чая не пил и других поучал, что чай приучает к разгильдяйству, благодущию, распу-

щенности, что, выпив несколько стаканов, поневоле распояшешься, а распоясанный уже не годишься для дела. Строгий юноша. Забавно вспомнить. Был ли он тогда в разладе со своей совестью?

Вот наконец и запись о Мышкине. Помнится, сам передал Короленко слова Тургенева о Мышкине: «Вот человек!.. Ни малейшего следа гамлетовщины...» Короленко с этим не согласился. Считал, что Мышкин человек обреченный: не было у него самообладания и спокойствия, необходимых для борьбы. Тут же рассказал, как в пересыльной тюрьме на похоронах умершего от тифа Дмоховского Мышкин в церкви подскочил к гробу покойного, произнес пламенную речь и закончил ее словами: «На почве, удобренной нашей кровью, расцветет могучее дерево русской свободы». Все были настолько ошеломлены властным потоком его красноречия, что никто из начальства не решился остановить его. И только когда он кончил, тюремный поп, испуганный и негодующий, закричал: «Врешь, не вырастет, врешь, не вырастет!»

Он представил себе эту трагикомическую сцену — убогую тюремную церковь, скудный свет от высоких, от веку немытых окон, понурую толпу в арестантских халатах, чистенькие мундиры тюремных надзирателей, долговязую патетическую фигуру Мышкина и наскაკивающего на него, почему-то представлявшегося маленьким, попика. Он горько улыбнулся.

Работа началась.

Среди ночи он отвалился от стола, потер кулаками слипающиеся глаза, рухнул на диван и, не раздевшись, уснул.

С утра отправился к Волховскому, чтобы вместе набросать план первого номера «Земского собора».

Шли вместе с Фанни, она должна была забрать к себе дочку Волховского Верочку, без нее мужчинам спокойнее работать. Волховский жил неподалеку, и путь к его дому

лежал через рельсы одноколейки, делавшей крутой поворот у перехода.

— Противное место, — сказала Фанни, — поезд вылетает из-за угла, надо всегда быть настороже.

— А мне нравится, — возразил Степняк. — Особенно ночью, когда впереди горит огненный глаз. В этом маленьком чудовище есть что-то апокалиптическое, отзвук давних, давних лет... Смотри-ка! Вот и сейчас загорелся...

— Опомнись, Сережа! Сейчас светлый день и ничего не загорелось.

— Верно. Ничего не загорелось. Это я просто недоспал сегодня.

Волховский, влюбленный в Короленко, первым делом поинтересовался, примет ли тот участие в новом журнале.

И пока он составлял список авторов, Степняк с каким-то унылым сердцебиением заново оглядывал его аскетическую комнату. Слишком похожа на тюремную камеру. Хорошо ли ребенку расти в этом царстве необходимости, в засушенной функциональности человеческого существования? Стол, стул, койка...

Вдруг спросил:

— Ты знал Оболенева?

— Нет, не пришлось. Но мне о нем много рассказывал Веймар в Томске.

— Он хорошо его знал?

— Они же судились по одному процессу. «Процессу 17-ти». И никто не мог понять причину суровости приговора. Ходили какие-то темные слухи, что он был осужден на основании анонимного доноса. Но какой криминал приписывался — тайна.

— А что говорил Веймар?

— Так и он его толком не знал. После суда оба были запрятаны в Трубецкой бастион и подвергнуты каторжному режиму. Перестукивались. Камеры-то рядом...

Степняк вскочил, заходил по комнате.

— Почему ты мне об этом никогда не рассказывал? С удивлением глядя на него, Волховский встал, обнял за плечи, стал ходить рядом по узкой темноватой комнате.

— Сказать по совести?

— А то как же!

— Не говорил потому, что ты никогда мне не рассказывал об убийстве Мезенцева. Ни мне и никому из тех, кого я знаю.

— О чем рассказывать? Это не самое светлое воспоминание моей жизни,— пробормотал Степняк и как-то неуклюже вывернулся из-под руки Феликса.

— Я догадывался. Спрашивается: зачем лезть в калошах в чужую душу? Ведь и Веймар и Обошешев судились по делу об убийстве Мезенцева!

— Ценю твою деликатность. Но что же все-таки Веймар говорил об Обошешеве?

— Он был слабогрудым и на воле. Во время предварительного заключения здоровье его сильно пошатнулось, а десятидневный процесс доконал. В доме предварительного заключения по тюремному расписанию прекращали топить в начале мая. Арестанты мерзли в сыром, холодном полуподвале, и кашель Обошешева принял, как выразался опытный врач Веймар, зловещий характер. Прибавь к этому рацион — два фунта непропеченного ржаного хлеба, щи из серой кислой капусты, два микроскопических кусочка мяса на обед. Каша-размазня и кипяток на ужин. А на несчастном чахоточном серые штаны и куртка арестантского сукна, светящиеся, насквозь выношенные еще предыдущими обитателями. Прибавь душевное состояние в ожидании приговора и никакой возможности отвлечься. В предварилке даже книги не положены.

— Понятно, но я же прошу об Обошешеве!

Волховский удивленно посмотрел на Степняка, но не решился расспрашивать и продолжал:

— Сначала он довольно бодро поддерживал застенную беседу с ближайшим соседом Веймаром. К весне стал жаловаться, что устает от перестукивания, потом все реже и реже стал отзываться на вызовы соседа, и по ночам слышался только его непрерывный кашель. И однажды вечером в конце июля или в начале августа кашель в камере Оболенцева прекратился. Началась суевливая беготня в его камеру. Шаги смотрителя, топот жандармских сапог, шарканье надзирателей, слышался жирный голос тюремного доктора Вильямса, потом шуршанье по полу коридора чего-то тяжкого. Видно, волокли тело на мате. Уносили труп Оболенцева. В этом Веймар был убежден.

— И это все?

— А что же еще? Умер. Сволокли на тюремный погост. Ни за что. По анонимному доносу. По верховному произволу. Обычная судьба русского революционера.

— Сильно он изменился в тюрьме? Поседел, как ты?

— Откуда мне знать! Веймар описывал, что он был маленький, тщедушный, незаметный... Да, помнится, еще говорил, что на суде он молчал. Ни звука. И только глаза блестели аж красным светом. Огненный взгляд у такого маленького, слабенького. Это поразило Веймара. А почему ты интересуешься? Хочешь писать о нем? Не получится, пожалуй. Мало материала. Тут в Лондоне его никто не знает.

Степняк, не отвечая, ходил по комнате, ерошил волосы. Помолчав, вскинулся:

— Что же мы время теряем? Давай писать письма.

— А план первого номера?

— План через три дня. Люди откликнутся, забросают нас идеями, замыслами. У многих есть, верно, уже готовые статьи.

Целый день он работал с Волховским, а вечером рванулся было к столу, чтобы продолжать уже свою личную работу, и почувствовал себя непривычно усталым, опу-

стошенным. К счастью, пришел Георг Брандес. Знакомство состоялось недавно, но что-то неожиданно родственное, привычное сразу сблизило Степняка с вдумчивым, неторопливым датчанином. Слова «усталость» не было в словаре Сергея Михайловича, но, по-видимому, усталость незаметно подкрадывалась к его организму, и ему доставлял необъяснимое удовольствие разговор о предметах далеких от сегодняшнего дня. К Великой французской революции у него был непреходящий интерес. Брандес в ту пору занимался эпохой французской революции, рассказывал о своих исследованиях, о взрыве ненависти французского простонародья, без разбора влекущего на гильотину своих бывших угнетателей.

— Я читал об одном ремесленнике, жившем в те времена, — сказал он, — с ним делались нервные припадки, когда он слышал слово «кюре» или «аббат». Чуть ли не эпилептические приступы. — Он несколько смущенно посмотрел на Степняка и спросил: — Скажите, а вашими товарищами, русскими революционерами, двигала та же сила ненависти, когда они совершали свои... покушения?

Как ему трудно было найти подходящее слово! Он мог бы сказать — «преступления», «убийства», «нападения», бесцветное казенное выражение «террористические акты». Степняк оценил его деликатность и, улыбаясь, ответил:

— О нет! Ими двигала только любовь и чувство долга.

— Любовь?

— Да, любовь к своему поработанному народу и ошибочный метод борьбы с угнетателями.

— Вы называете его ошибочным? Вы, который...

— Который вонзил кинжал? — все так же улыбаясь, живо откликнулся Степняк. — Террор тогда казался единственной возможностью борьбы. На все другие, бескровные способы правительство отвечало виселицами и ка-

торгой. Но мы были слишком торопливы. Дело же не в том, кто — кого. Крестьяне могут только всколыхнуть Россию, менять ее будут городские. А тогда рабочих на нашей отсталой родине было слишком мало.

Брандес слушал его с какой-то молитвенной серьезностью. Помолчав, сказал:

— Рассуждая о России, мы все забываем, что она избавилась от тягот рабства лет тридцать с небольшим. Какая же пропасть между народом и теми, кто хочет его освободить! Как вы думаете ее преодолеть? Каким методом? Что сделать, чтобы вас поняли? Может, и в самом деле — террор?

— Ну нет! Недавно я толковал с одним умным анархистом, который доказывал, что смертную казнь надо отменить на веки вечные. Я не совсем согласен. Почему нельзя отнять жизнь у того, кто отнял жизнь у десятков людей. Это не возмездие — общественная гигиена. Но палачи... Что же это за люди, профессиональные палачи? Надо думать не о тех, кого убивают, а о тех, кто убивает.

— Значит, вы полностью отрицаете террор?

— На исторической сцене вторых представлений не играют.

— И какие же будут новые методы борьбы?

— Вот об этом надо спрашивать не меня. Я не теоретик. В этих вещах у нас разбираются Плеханов, Засулич. И, мне кажется, они близки к истине.

В кабинет вошла Фанни, разговор зашел об ибсенских «Привидениях», Степняк вздохнул облегченно. Вот ведь и на этот раз дело не обошлось без интервью.

Брандес стал прощаться и попросил Степняка написать что-нибудь его дочери. Она собирала автографы писателей.

Степняк взял альбом и, не задумываясь, написал: «Будь верна себе, и ты никогда не познаешь угрызений

совести, которые составляют единственное истинное несчастье в жизни».

Степняк вызвался проводить гостя до станции Тэрхем-Грин, где проходила узкоколейка. Декабрьский вечер был не по-лондонски тих и ясен, бледные звезды светили в бледном сером небе. Ни ветерка, ни шума, ни прохожих на пустынной Вудсток-род. Расчувствовавшись в этом покое и безмятежности, Брандес спросил:

— А все-таки хорошо вам дышать английским воздухом и свободно разговаривать, не боясь, что полицейский шпиик гонится за вами по пятам. Не правда ли?

— Чего бы я не дал, чтобы глотнуть хоть раз русского воздуха!

Из-за поворота показалось черное туловище паровоза, сверкнул огненный глаз. Вспомнилось, как утром Волховский рассказывал, что на суде у безмолвного Оболенева глаза горели зловещим красным светом. Брандес прощался, крепко пожимал руку и потом, стоя на пороге тамбура, еще долго махал шляпой, будто расставался надолго.

Утро было туманное. За окном не светлело, хотя он проснулся поздно. И не хотелось вставать, а надо было торопиться к Феликсу, где, наверное, уже давно ждал Шишко, чтобы окончательно составить план первого номера «Земского собора». Он потянулся, глянул в окно. Сплошная муть. А ведь кто-то любит этот лондонский воздух, пропитанный копотью, эту желтую, грязную Темзу с той же кровной преданностью, как итальянец — берега Адриатики, как сам любишь питерские белые ночи, разведенные мосты над Невой.

Пил наскоро чай стоя, одной рукой уже влезая в рукав пальто, подбадривая Фанни, огорченную счетом, присланным от мясника, напоминавшим о долге.



— Пустяки, все пустяки! Покончим с долгами. И, сдастся мне, в ближайшее время.

— В ближайшее время ты лучше бы подумал о своем здоровье. Нельзя работать и днем и ночью. Мешки под глазами.

— Подумаю, подумаю... Всю дорогу буду думать.

Он выскочил на улицу. Туман немного рассеялся, но в десяти шагах трудно было различить фигуры прохожих. Ах, да, он обещал Фанни подумать о своем здоровье. Она любит назидать его, как младенца. К чему? Пора бы понять за столько лет, что это ни к чему. Тем более беспокоиться о здоровье. Друзья говорят: «С таким здоровьем ты проживешь сто лет». А у него дежурная фраза: «Сто лет без лекарств и еще пятьдесят с лекарствами». Если кому и надо подумать о своем здоровье, так это Феликсу. Издержался по казематам и ссылкам. Казематы... Как он мог вчера посоветовать этой девушке, дочери Брандеса, жить в ладу со своей совестью? В этом оттенок самодовольства, будто он такой пайнык, комар носа не подточит. Разве может она догадаться, что сейчас, после всего, что узнал об Оболезеве, он в самом жесточайшем, отчаянном разладе с самим собой?..

— Доброе утро! — крикнул кто-то, обогнавший его в тумане.

— Привет, Джонни! С хорошей погодой вас!

По клеенчатой куртке с капюшоном и сутуловатой спине он узнал одного из рабочих, ремонтирующих узкоколейку. Забегая к Волховскому, он частенько останавливался и болтал с ними. Кажется, это нравилось молодым ребятам. Почему-то принято думать, что англичане всех сословий чопорны и немногословны. Чепуха. Неточно, как всякое обобщение. Простой народ во всем мире общителен. Книг не читают. Разговор — единственный способ удовлетворить свою любознательность, черпать новые сведения... А денек-то, в общем, хорош.

Он все убыстрял шаги. В это утро он чувствовал себя сильным и счастливым. Счастливый Кит! Может, они и правы, те, кто так думает. Может, и нет. Неточно, как всякое обобщение. Но сейчас он счастлив. Не мучают воспоминания. Да разве же они всегда мучают? «К чему будить воспоминанья, когда в душе горит надежды чудный свет?» Нет, еще лучше: «И радость, и горе — все к цели одной — хвала жизнедавцу Зевесу».

Он остановился. Мальчишка в белой рубашонке, выбившейся из-под пояса, кидал палку на мостовую, а огромный черный ньюфаундленд стремглав кидался, приносил ее и требовательным взглядом просил повторения. Игра. Как они оба довольны, радуются. Последнее время что-то слишком часто стал заглядываться на детей и щенят. Видно, дело к старости. Но что может быть лучше созерцания простой, необременительной радости существования?

Однако что же это он залюбовался? Шишко, верно, прокликает его. Приехал к Волховскому издалека...

Он зашагал еще быстрее, почти бежал, и мысли прыгали в такт шагам. Непонятно, почему так резко меняется настроение. Еще вчера твердил «Ощёрых дней сухая меледá, сухая меледá» и хотелось убежать от самого себя, работалось через силу. А сегодня впору горы своротить, ничто не тревожит, призрак Обошешева испарился, растаял... Может, потому, что выспался, поздно встал? Может, Фанни права — пора перестать работать по ночам? А откуда время взять? Спать по ночам — расточительство. Как это пел какой-то куплетист-балалаечник в трактире на Лиговке в пору рабочих кружков: «Ведь время это самое — явление упрямое...» Нет, брат Фанни, шалишь, не уложишь с петухами. Вот и сейчас с утра дыхнуть некогда. И нечего делать крюк к переходу через пути. Напрямик!

Он шагнул на шпалы, и из-за крутого поворота, ослепляя оранжевым светом, вылетел огненный глаз черного чудовища. Огненный взгляд Оболенева сбил его с ног. Адская боль. Дикий скрежет железа, лязг, вой. Бесконечное мгновение. Темнота. Мрак.

Мокрый снег медленно падал, таял на окаменелом лице Фанни, заплаканных глазах Засулич. Дул сильный ветер, морщил лужи на плитах площади перед вокзалом Ватерлоо, но скоро плит не стало видно — тысячные толпы рабочих с венками и красными знаменами заполнили все пространство. Митинг над гробом русского революционера и писателя вот-вот должен был начаться.

— Неужели все, кто сюда пришел, знали его? — сказала Элеонора Маркс. — Это поразительно!

— Может, и не знали, то есть не были знакомы, но слышали, читали, — ответил Волховский.

Они стояли у трибуны, где собрались друзья и почитатели Степняка. Некоторые из них явились издалека. Элизе Реклю из Швейцарии, Кейр Гарди из Шотландии, Малатеста...

Юркий журналист протиснулся к Элеоноре, держа наготове блокнот и карандаш, спросил:

— А кто будет выступать?

— Я от женщин, а остальные... — и она вопросительно посмотрела на Волховского.

— Спенс Ватсон — от Общества друзей русской свободы, Эдуард Бернштейн — от Германской социал-демократической партии, Петр Кропоткин — от всех русских, Малатеста — от итальянцев, Герберт Берроуз — от Социал-демократической федерации Великобритании, Коган — от евреев, Вержбицкий — от поляков, Назарбек — от армян. А еще Вильям Моррис, Джон Бёрнс... да у вас места не хватит записывать.

Мальчуган с ветками остролистника под мышкой тронул за рукав Волховского:

— Скажите, а где он сам? Где гроб покойного?

— В зале ожидания.— И, поморщившись, пробормотал: — Как нехорошо сказал — в зале ожидания. Чего теперь ждать?

— Что ж тут плохого? — тупо удивился журналист.— В зале ожидания перед отправкой в крематорий Уокинг.

Не слушая его, Волховский остановил мальчика:

— Ты знал Степняка? Твои родители были с ним знакомы?

— Я знал. Мы вместе пели.

— Бог мой! В каком-нибудь хоре?

— Прямо на улице. В доках.

Волховский укоризненно поглядел на Элеонору:

— А вы еще удивлялись...

Он не договорил. Медлительные звуки траурного марша раздались над площадью. Толпа замерла. Впервые Волховский ощутил музыку как тишину. Звуки ее будто сковали всю житейскую суету, инстинктивное трусливое желание погрузиться в мелочные заботы, праздное любопытство, пустые разговоры, лишь бы не думать о том, что случилось.

Постепенно звуки стали затихать, удаляться. Оркестр уходил к залу ожидания.

И снова в толпе мельтешение.

У трибуны Бернштейн, приехавший выступать от Социал-демократической партии Германии, говорил Бернаруду Шоу:

— Все уходят. Какой-то страшный девяносто пятый год. В августе умер Энгельс, в декабре Степняк. Я часто видел его за столом у Энгельса. Он был тихий гость, говорил, только когда к нему обращались, но было заметно, что он любит бывать в доме у старика.— И, посмотрев вокруг невидящим взглядом, повторил: — Уходят. В семь-

десять пять или в сорок четыре — все равно рано. Все уходят.

Шоу сердито жевал бороду.

— Уходят! — выкрикнул он. — Те, кто уходит навсегда, присоединяются к большинству. Но здесь... Здесь меня обокрали! Отняли частицу кислорода. Встречаясь со Степняком, глядя на его лицо, я всегда испытывал чувство радости. Самое имя его вызывало светлые ассоциации. Мы всегда говорили о чем попало, но больше о книгах, и я, никогда ничего не читавший, поражался тем, что он читал все. Когда он успевал?

В самом конце площади на углу переулка стоял грязный, будто весь заросший белесо-бурой шерстью, Гуденко. Он потерял последнее — мундир зуава и бравую гусарскую выправку и, понурившись, беспокойно косясь по сторонам, стыдливо запахивал на себе дырявый парусиновый балахон. Такой же обтрепанный старик, товарищ по ночлежке, тянул его за руку, уговаривая пробиваться вперед:

— Тут не получишь ни пенни. Одни рабочие. А у гроба, глядишь, разжалобятся, все-таки родня...

Гуденко мотал головой:

— Не пойду. Я убил его.

Старик поглядел на него удивленно-презрительным взглядом:

— Бреши больше. Он под поезд попал. В газетах писали.

Но Гуденко мотал головой и не двигался с места. Еще вчера, в тяжелом хмелю прочтя на обрывке газеты о смерти Степняка, в каком-то пьяном озарении он вдруг понял, что это самоубийство, что Степняка доконала мысль о судьбе Оболенева. Рука Рачковского дотянулась-таки до него.

Старик все-таки потащил Гуденку в толпу, запрудившую площадь.

С трибуны слышался, то пропадая, то возникая, чей-то голос:

— ...Он был человек действия, он жаждал действия... Вокруг него самые инертные становились деятельными... Само английское общество, в особенности его малосознательные слои, выиграло от знакомства с таким человеком... Он расширил политические горизонты, озарил романтическим светом представление о братстве народов...

Народ все прибывал на площадь, снег теперь уже валил крупными мокрыми хлопьями и тут же таял.

К Волховскому, по-прежнему стоявшему у самой трибуны, снова пробрался юркий журналист и представил своего долговязого коллегу с некрасивым умным лицом.

— Тут возникло одно предположение. Может, вы прольете свет?

Долговязый пристально поглядел на Волховского и сказал:

— Степняк был такой сильный, здоровый человек. Уравновешенный. Я встречал его в редакциях. Он не мог... Я не могу себе представить... Как это могло случиться? Еще совсем молодой...

— Жить вообще опасно,— заметил Шоу,— в любом возрасте.

— Нет, я как раз исключаю случайность. Вы меня не поняли. Он же бельмо на глазу у царского правительства! И может, чья-то рука... рука наемного убийцы толкнула?..

Волховский грустно поглядел на журналиста:

— Это очень правдоподобная версия, но вы ошиблись. Были очевидцы. Он переходил пути один. Просто, как всегда, торопился.

**Д15** Дальцева М. З.  
Счастливый Кит: Повесть о Сергее Степняке-Кравчинском.— 2-е изд.— М.: Политиздат, 1989.— 335 с.: ил.— (Пламенные революционеры).

ISBN 5—250—01034—2

Д  $\frac{0503020000-247}{079(02)-89}$  КБ—1—3—89 ББК 84 P7+63.3(2)51

МАГДАЛИНА ЗИНОВЬЕВНА  
ДАЛЬЦЕВА

## СЧАСТЛИВЫЙ КИТ

ПОВЕСТЬ О СЕРГЕЕ СТЕПНЯКЕ-КРАВЧИНСКОМ

Заведующий редакцией *В. Е. Вучетич*

Редактор *Г. Е. Щербакова*

Художник *Г. Ш. Басыров*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 8405

Сдано в набор 20.03.89. Подписано в печать 05.07.89

Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1.

Гарнитура «Обыкновенная новая» Печать высокая.

Усл. печ. л. 15,31. Усл. кр.-отт. 18,44. Уч. изд. л. 15,37

Тираж 200 тыс. экз. Заказ № 199. Цена 1 р 20 к

Политиздат 125811, ГСП

Москва, А-47, Миусская пл., 7

Типография изд-ва «Уральский рабочий»

620151, г Свердловск, пр Ленина, 49







